

COMERCET
MOGM

COMERCET
MOGM

2

COMERCET
МОЭМ



СОМЕРСЕТ МОЭМ

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ДЕВЯТИ
ТОМАХ



ТЕРРА

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
1999

СОМЕРСЕТ МОЭМ



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

Том 2

ВРЕМЯ СТРАСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

Главы 60—122

ТЕРРА

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
1999

УДК 82/89
ББК 84 (4 Вл)
М87

Перевод с английского
Е. ГОЛЫШЕВОЙ, Б. ИЗАКОВА

Разработка оформления художника
И. МАРЕВА

Художник
Б. ЛАВРОВ

Моэм С.

М87 Собрание сочинений: В 9 т. Т. 2: Бремя страстей человеческих: Гл. 60—122 / Пер. с англ. Е. Голышевой, Б. Изакова. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1999. — 352 с.

ISBN 5-300-02730-8 (т. 2)

ISBN 5-300-02728-6

Уильям Сомерсет Моэм (1874—1965) — один из самых проницательных писателей в английской литературе XX века. Его называют «английским Мопассаном». Ведущая тема произведений Моэма — столкновение незаурядной творческой личности с обществом.

Во второй том Собрания сочинений вошли заключительные главы романа «Бремя страстей человеческих» (1915).

УДК 82/89
ББК 84 (4 Вл)

ISBN 5-300-02730-8 (т. 2)
ISBN 5-300-02728-6

© Е. Голышева, перевод, наследники, 1999
© Б. Изаков, перевод, 1999
© ТЕРРА—Книжный клуб, 1999

БРЕМЯ СТРАСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

Главы 60—122



ГЛАВА 60

Они поужинали в одном из ресторанчиков в Сохо. Филип трепетал от радости. Это не был один из тех вечно переполненных ресторанов, куда ходит как почтенная публика, так и небогатый люд — первые в расчете поглядеть на то, как живет богема, вторые, потому что здесь кормят дешево. Это скромное заведение содержали некий уроженец города Руана и его жена; Филип открыл его по чистой случайности. Его привлекло французское убранство витрины, где посредине красовалось блюдо с куском сырой вырезки, а по бокам — груды сырых овощей. Прислуживал всего один невзрачный француз, пытавшийся научиться английскому языку в доме, где с утра до вечера слышалась только французская речь, а постоянными посетителями были несколько дам легкого поведения, две-три *menages*¹, которым сохраняли их салфетки, и несколько чудаков, забежавших сюда, чтобы наспех проглотить свой скромный обед.

Филипу и Милдред удалось получить отдельный столик. Филип послал официанта в соседний кабачок за бутылкой бургундского; он заказал *potage aux herbes*², бифштекс *aux pommes*³ и *omelette au kirsch*⁴. И в обстановке и в самом обеде было что-то романтическое. Милдред сперва огляделась с неодобрением — «не верю я этим иностранцам: Бог его знает, чего только не намешано в их блюдах», — но в конце концов и она не устояла.

— Мне здесь нравится, — заявила она. — Чувствуешь себя как дома.

¹ Семейные пары (*фр.*).

² Овощной суп (*фр.*).

³ С картофелем (*фр.*).

⁴ Омлет с вишнежкой (*фр.*).

Вошел высокий человек с гривой седых волос и рас-трепанной бородкой, в поношенном плаще и выдавшей виды шляпе. Он кивнул Филипу, с которым уже встречался.

— Он похож на анархиста, — сказала Милдред.

— Это и есть один из самых опасных анархистов в Европе. Он сидел во всех европейских тюрьмах и убил больше людей, чем любой бандит. У него всегда бомба в кармане, поэтому с ним лучше держать ухо востро: чуть что не так скажешь — выкладывает бомбу на стол.

Она посмотрела на высокого старика со страхом, а потом недоверчиво взглянула на Филипа. Заметив, что глаза его смеются, она нахмурилась.

— Вы меня разыгрываете.

Он даже захохотал от удовольствия — так он был счастлив. Но Милдред не нравилось, когда над ней смеются.

— Не вижу ничего смешного, когда врут.

— Не сердитесь.

Он взял ее руку, лежавшую на столе, и нежно пожал.

— Господи, как вы прелестны, — сказал он, — я готов целовать землю, по которой вы ходите.

У него кружилась голова, когда он смотрел на это бледное, чуть-чуть оливковое лицо, а в ее тонких бескровных губах таилось какое-то противоестественное очарование.

У нее была небольшая одышка от малокровия, и рот ее всегда был полуоткрыт. В его глазах это делало ее еще привлекательнее.

— Ну а я вам хоть немножечко нравлюсь, а? — спросил он.

— Если бы не нравились, будьте спокойны, я бы здесь не сидела. Вы джентльмен в полном смысле слова, этого у вас не отнимешь.

Они кончили обедать и стали пить кофе. Махнув рукой на бережливость, Филип выкурил дешевую сигару.

— Вы и представить себе не можете, — сказал он, — какое для меня счастье вот так сидеть с вами и на вас смотреть. Я так по вас скучал. Мне вас ужасно не доставало.

Милдред улыбнулась и чуть-чуть покраснела. Сегодня ее не мучила боль в животе, которая всегда начиналась, как только она поест. Она относилась к Филипу ласковее, чем когда бы то ни было, и непривычная мягкость ее взгляда наполняла его сердце радостью. В глубине души он понимал, что отдаться на ее милость было сумасшествием, куда разумнее было бы сделать вид, что он к ней безразличен, и всячески скрывать ту страсть, которая кипела у него в груди; она только воспользуется его слабостью. Но он уже поте-

рял всякую осторожность: он рассказал ей о муках, которые испытал во время их разлуки; о борьбе с самим собой — как он старался победить свое влечение, думал, что ему это удалось, но понял, что оно стало только сильнее прежнего. Он знал теперь, что вовсе и не хотел подавить свое чувство. Он так ее любит, что готов вынести какие угодно страдания. Он открыл перед ней свое сердце. Он с гордостью показал ей свою слабость.

Охотнее всего он так бы и остался сидеть в этом убогом, но уютном ресторанчике, но он знал, что Милдред любит развлечения. Она была женщина суетная и не могла долго усидеть на одном месте. Он боялся, что она соскучится.

— А не пойти ли нам в мюзик-холл? — сказал он.

У него мелькнула мысль, что, если он ей хоть сколько-нибудь дорог, она предпочтет остаться здесь.

— Я как раз думала, что нам пора двигаться, если мы хотим куда-нибудь попасть, — ответила она.

— Тогда пойдем.

Филип с нетерпением ожидал конца представления. Он задумал план и, как только они сели в пролетку, словно ненароком обнял ее за талию. Но тут же вскрикнул и отдернул руку: он укололся. Милдред расхохоталась.

— Ага, вот что бывает, когда суют руки не туда, куда надо, — сказала она. — Я всегда знаю, когда мужчина пробует меня облапить. Сразу накалывается на булавку.

— Я буду осторожнее.

Он снова обхватил ее за талию. Она не противилась.

— Господи, как хорошо, — блаженно вздохнул он.

— Пожалуйста, если вам уж так нравится, — заметила она.

Они поехали в Гайд-парк, и Филип торопливо ее поцеловал. Он как-то странно робел перед ней, и сейчас ему пришлось собрать все свое мужество. Она безмолвно подставила губы. Казалось, поцелуй не доставил ей удовольствия, но и не вызвал в ней никакого протеста.

— Если бы вы знали, как долго я этого ждал, — прошептал он.

Он попытался поцеловать ее снова, но она отвернулась.

— Хватит с вас одного раза, — сказала она.

Он проводил ее до Херн-хилла и на углу улицы все-таки попросил:

— Можно мне вас поцеловать?

Она равнодушно на него посмотрела, потом, окинув взглядом улицу и убедившись, что кругом никого нет, сказала:

— Ну что ж, пожалуй.

Он схватил ее и стал горячо целовать, но она его оттолкнула.

— Не сомни мою шляпку, дурачок. Какой ты нескладный.

ГЛАВА 61

Они стали видеться каждый день. Он начал было ходить в кафе и в полдень, но Милдред ему запретила, сказав, что это даст девушкам повод для разговоров; пришлось довольствоваться чаепитием, но он каждый день поджидал ее, чтобы проводить после работы до вокзала; раз или два в неделю они вместе обедали. Он делал ей небольшие подарки: браслет, перчатки, носовые платки и другие мелочи. Он тратил больше, чем мог, но ничего не подделает: она проявляла к нему нежность, только если он ей что-нибудь дарил. Она знала точную цену каждой вещи, и ее благодарность была строго соразмерна стоимости подарка.

Филип не обращал на это внимания. Он был так счастлив, когда она сама вызывалась его поцеловать, что даже не огорчался, если за ласку эту надо было сперва заплатить.

Узнав, что она скучает по воскресным дням дома в Хернхилле, он стал ездить туда по утрам, встречать ее на углу и ходить с ней в церковь.

— Люблю раз в неделю сходить в церковь, — говорила она. — Ведь это так прилично, правда?

Пока она ходила домой обедать, он наспех проглатывал что-нибудь в местной гостинице; потом они отправлялись гулять в парк. Им почти не о чем было говорить, и Филип, отчаянно боявшийся ей наскучить (а это было очень легко), лихорадочно придумывал тему для разговора. И, хоть такие прогулки явно не забавляли их обоих, он никак не мог с ней расстаться и делал все, чтобы их продлить, пока ей это не надоедало и она не начинала сердиться. Он знал, что она к нему равнодушна, и все же пытался заставить ее полюбить, хотя рассудок подсказывал ему, что Милдред не способна любить; для этого она была чересчур холодна. Не имея на нее прав, он, помимо своей воли, бывал слишком требователен. Теперь, когда они немного сблизились, ему труднее было сдерживаться, он нередко становился раздражительным и, сам того не желая, говорил резкости. Они часто ссорились, и она переставала с ним разговаривать; это всегда кончалось его покаянием — он униженно молил его

простить. Он злился на себя за то, что не может сохранить хоть каплю достоинства. Его мучила бешеная ревность, когда она заговаривала в кафе с другим мужчиной, а ревнуя, он совсем терял голову. Тогда он оскорблял ее, убегал из кафе, а потом проводил бессонную ночь, ворочаясь в постели и испытывая попеременно то гнев, то раскаяние. На следующий день он снова появлялся в кафе и молил о прощении.

— Не сердись на меня, — говорил он, — я так тебя люблю, что ничего не могу с собой поделать.

— Кончится тем, что терпение у меня лопнет.

Он хотел, чтобы она пригласила его домой, надеясь, что более тесные отношения дадут ему преимущество перед случайными знакомыми в кафе; однако она его к себе не пускала.

— Тетя еще подумает невесть что! — говорила она.

Он подозревал, что она просто не хочет показать ему свою тетку. Милдред говорила, что тетка — вдова джентльмена (слово, которое у нее обозначало высокое положение в обществе), сама понимая, что добрая женщина вряд ли способна оправдать эту репутацию. Филип полагал, что она просто вдова мелкого лавочника. Он знал, что Милдред благовоет перед «высшим обществом». Но не мог ей объяснить, что его нисколько не смущает скромное положение ее тетки.

Самая большая ссора произошла у них в один из вечеров за обедом, когда она сказала ему, что какой-то господин пригласил ее в театр. Филип побледнел, лицо его застыло.

— Ты, надеюсь, не пойдешь? — сказал он.

— А почему бы и нет? Он очень приятный, воспитанный господин.

— Я могу пойти с тобой, куда ты захочешь.

— Но это совсем не одно и то же. Не могу я всегда бывать только с тобой. Кроме того, он предложил мне самой назначить день. Я пойду с ним в один из тех вечеров, когда мы с тобой не встречаемся, так что ты ничего не теряешь.

— Если бы ты имела хоть какое-то представление о порядочности и не была бы такой неблагодарной, тебе бы и в голову не пришло с ним пойти.

— Не знаю, чем это я такая уж неблагодарная! Если ты имеешь в виду свои подарки, пожалуйста, бери их обратно. Очень они мне нужны!

В ее голосе появились сварливые нотки, которые он не раз у нее слышал.

— Думаешь, весело всегда ходить с тобой? Вечно одно и то же: «Ты меня любишь?», «Ты меня любишь?». Прямо тошно становится...

Он знал, что безумие ее об этом спрашивать, но никак не мог удержаться от этого вопроса.

— Да-да, ты мне нравишься, — отвечала она.

— Только и всего? А я люблю тебя больше жизни...

— Ну, я не из таковских, чтобы об этом трепать языком.

— Если бы ты знала, как я был бы счастлив от одного твоего слова!

— Что ж, я так всем и говорю: берите меня такой, какая я есть, не нравится — всего вам с кисточкой!

Но иногда она выражалась еще откровеннее и на его вопрос отвечала:

— Ах, да не нуди ты все про одно и то же!

Тогда он мрачнел и замолкал. Он ее ненавидел.

...Вот и сейчас он ей сказал:

— Знаешь, если тебе со мной тошно, не пойму, зачем ты вообще со мной встречаешься?

— А ты думаешь, мне это очень надо? Ты же сам меня насильно заставляешь.

Жестоко задетый, он ответил ей в бешенстве:

— Ну да, я гожусь только на то, чтобы кормить тебя обедами и водить в театр, когда рядом нет никого более подходящего, а чуть кто-нибудь подвернется, я могу убираться к черту? Нет, спасибо, надоело.

— Я никому не позволю так с собой разговаривать. Вот я тебе покажу! Больно мне нужен твой дрянной обед!

Она встала, надела жакет и быстро вышла из ресторана. Филип остался сидеть. Он решил, что не тронется с места, но не прошло и десяти минут, как он вскочил в пролетку и погнался за ней, сообразив, что она поедет на вокзал на конке и они попадут туда одновременно.

Филип заметил ее на перроне, постарался, чтобы она его не увидела, и поехал в Херн-хилл тем же поездом. Он не хотел заговаривать с ней до тех пор, пока она не пойдет домой и ей некуда будет от него сбежать.

Как только она свернула с ярко освещенной, шумной улицы, он ее нагнал.

— Милдред! — позвал он.

Она продолжала идти, не глядя на него и не отвечая. Он окликнул ее снова. Тогда она остановилась и повернулась к нему.

— Чего тебе надо? Думаешь, я не видела, как ты торчал на вокзале? Оставь меня наконец в покое!

— Прости меня, пожалуйста. Давай помиримся.

— Нет. Мне надоели твои выходки и твоя ревность. Я тебя не люблю, никогда не любила и никогда не полюблю. И больше я не желаю иметь с тобой ничего общего.

Она быстро пошла вперед, и ему пришлось чуть ли не бежать за ней вдогонку.

— Ну пойми же меня и прости, — говорил он. — Легко быть приятным с теми, кто тебе безразличен. И если бы ты знала, как трудно, когда любишь так сильно, как я. Ты хотя бы меня пожалела. Ведь я тебя не упрекаю, что ты меня не любишь. В конце концов, что ты можешь с собой поделаться? Я только хочу, чтобы ты позволила мне любить тебя.

Она продолжала молча идти, и Филип в ужасе увидел, что они совсем уже близко от ее дома. Он стал униженно и бессвязно бормотать ей о своей любви и раскаянии.

— Если ты на этот раз меня простишь, обещаю: тебе больше не придется на меня сердиться. Можешь встречаться с кем тебе угодно. Я буду счастлив, если ты пойдешь со мной, когда у тебя не будет никого более интересного.

Она остановилась. Они дошли до угла, где всегда прощались.

— Можешь убираться. Вовсе не желаю, чтобы ты тащилась за мной до самой двери.

— Я не уйду, пока ты меня не простишь.

— Господи, как мне все это осточертело!

Он медлил, инстинктивно чувствуя, что все-таки может ее разжалобить. Как ему ни было противно, он решился сказать:

— Какая ты злая, мне ведь и так несладко живется. Ты не понимаешь, что значит быть калекой. Конечно, я не могу тебе нравиться. Разве я не знаю, что не вправе от тебя этого требовать?

— Да я вовсе не то хотела сказать! — поспешно отозвалась она, и в голосе ее звучала жалость. — Ты же знаешь, что это не так!

Теперь он вошел в роль и продолжал тихим, сдавленным голосом:

— Нет, я это всегда чувствовал.

Она взяла его руку и посмотрела на него. На глазах у нее навернулись слезы.

— Даю тебе слово, вот на это я никогда не обращала внимания. Не прошло и двух дней, как мы познакомились, а я уже перестала это замечать.

Он хранил угрюмое, трагическое молчание. Ему хотелось, чтобы она думала, будто он не может побороть свое волнение.

— Ты же знаешь, что ты мне очень нравишься, Филип. Но иногда ты меня так злишь! Давай помиримся.

Она протянула ему губы, и со вздохом облегчения он ее поцеловал.

— Ну как, доволен? — спросила она.

— Ужасно.

Она пожелала ему спокойной ночи и убежала домой. На следующий день он подарил ей маленькие часики с брошкой, которые можно было приколоть к платью. Она уже давно мечтала о таких часах.

Но через несколько дней, подавая чай, Милдред сказала:

— Помнишь, что ты мне обещал в тот вечер? Ты сдержишь слово?

— Да.

Он заранее знал, что она сейчас скажет.

— Дело в том, что меня пригласил тот господин, о котором я тебе говорила.

— Хорошо, желаю тебе повеселиться.

— Ты не возражаешь?

Он теперь научился собой владеть.

— Меня это не очень радует, — улыбнулся он, — но я не хочу отравлять тебе жизнь.

Она с волнением ждала предстоящего свидания и не могла досыта о нем наговориться. Филип не понимал, делает она это потому, что хочет заставить его страдать, или просто лишена всякой чуткости. Он уже привык извинять ее злые выходки тем, что она глупа. У нее не хватало ума понять, какую боль она причиняет.

«Да, не очень-то весело влюбиться в женщину, у которой нет ни воображения, ни чувства юмора», — думал он, прислушиваясь к тому, что она говорит.

Но этот недостаток многое оправдывал. Не то он никогда бы не смог простить ей своих страданий.

— Он взял билеты в «Тиволи», — говорила она, — попросил, чтобы я сама выбрала, и я решила пойти туда. А обедать мы будем в кафе «Ройал». Он уверяет, что это самый дорогой ресторан в Лондоне.

«Еще бы, ведь он джентльмен в полном смысле слова», — мысленно добавил Филип, сжав зубы, чтобы у него это не вырвалось вслух.

Филип пошел в «Тиволи», чтобы поглядеть на Милдред с ее спутником; это был смазливый молодой человек с прилизанными волосами и щеголеватым видом коммивояжера; они сидели во втором ряду партера. На голове у Милдред была большая черная шляпа со страусовыми перьями, которая очень ей шла. Она слушала своего спутника со спокойной улыбкой, которую Филип так хорошо знал; бурное проявление чувств было не в ее характере, и только пошлая шутка могла вызвать у нее смех; но Филип видел, что ей очень весело. Он с горечью подумал, что ее спутник с его дешевым крикливым лоском — ей настоящая пара. При ее вялом характере ей должны нравиться шумные люди. Филип любил споры, но не владел даром занимать собеседника пустой болтовней. Он завидовал непринужденному шутковству некоторых своих приятелей, вроде Лоусона; чувство неполноценности делало его робким и неуклюжим. Она считала, что мужчины должны разговаривать о футболе и скачках, а он понятия не имел ни о том, ни о другом. Он не знал и ходячих острот, которые всегда вызывают в обществе смех.

Филип всю жизнь уважал печатное слово и теперь, чтобы забавлять Милдред, стал прилежно читать «Спортинг таймс».

ГЛАВА 62

Филип скрепя сердце покорялся пожиравшей его страсти. Он знал, что все человеческое преходяще и потому рано или поздно всему должен настать конец. На это он возлагал все свои надежды. Любовь точила его, как червь, высасывала все его жизненные соки; она поглощала все его существо целиком, не оставляя ему ни других радостей, ни других интересов. Прежде его восхищала изящная гармония Сент-Джеймского парка — он часто сидел там, глядя на ветви какого-нибудь дерева, тонко вычерченные в небе, словно на японской гравюре; он находил неизъяснимое очарование в прекрасной Темзе с ее баржами и причалами; изменчивое небо Лондона рождало в его душе светлое настроение. Но теперь красота потеряла для него всякий смысл. Когда с ним не было Милдред, он становился утробным и беспокойным. Иногда он пытался утолить свою тоску, глядя на картины, но бродил по Национальной галерее как случайный турист; ни одна из картин не вызывала в нем душевного волнения. Он спрашивал себя, сможет ли

когда-нибудь опять наслаждаться тем, что прежде так любил. Чтение всегда было его самой большой радостью, но теперь он утратил к книгам всякий интерес и вяло просиживал свободные часы в институтской курилке, перелистывая один журнал за другим. Любовь была для него мукой, он ненавидел свою кабалу, чувствовал себя пленником и жаждал свободы.

Иногда, проснувшись утром, он ощущал в душе непривычный покой и ему казалось, что избавление пришло, что он уже свободен от этой позорной любви. Но стоило ему стряхнуть с себя сон, как сердце снова начинало надсадно ныть — тогда он понимал, что до исцеления ему далеко. Безумно тоскуя по Милдред, он ее презирал. Теперь он понимал, что нет на свете худшей пытки, чем любить и презирать в одно и то же время.

Копаясь, по обыкновению, в своей душе и без конца думая о своем положении, Филип решил, что вылечится от унижительной страсти, если сделает Милдред своей любовницей. Он испытывал к ней физическое влечение, и, если его удовлетворить, он освободится от своих невыносимых цепей. Он знал, что Милдред к нему совершенно равнодушна. Его страстные поцелуи вызывали у нее безотчетное отвращение. Она была лишена чувственности. Не раз он пытался пробудить ее ревность рассказами о своих парижских приключениях, но ее это вовсе не интересовало; в кафе он иногда подсаживался к столикам других официанток и делал вид, будто с ними заигрывает, но она оставалась совершенно безучастной. Он видел, что она нисколько не притворяется.

— Ничего, что я сел сегодня за чужой столик? — спросил он однажды, провожая ее на вокзал. — Все твои, кажется, были заняты.

Это была неправда, но она не стала спорить. Даже если ее и не огорчила его маленькая измена, он был бы ей благодарен, сделай она вид, что ревнует. Самый легкий упрек был бы бальзамом для его души.

— По-моему, глупо, что ты садишься каждый день за один и тот же столик, — ответила она. — Надо время от времени быть вежливым и с другими девушками.

Но чем больше он об этом думал, тем тверже верил, что, только если она ему отдастся, он почувствует себя свободным. Он был точно рыцарь из старой сказки, превращенный колдуном в чудовище, который едет на поиски волшебного напитка, чтобы вернуть себе природную красоту и стать. Филип мог надеяться только на одно. Милдред

очень хотелось побывать в Париже. Как и для большинства англичан, Париж был для нее царством веселья и мод; она слышала о магазине «Лувр», где можно было купить самую модную вещь вдвое дешевле, чем в Лондоне. Одна из ее подруг провела медовый месяц в Париже и пробыла в этом магазине целый день; хотите верьте, хотите нет, но, пока они с мужем жили в Париже, они не ложились в постель раньше шести утра; они были даже в «Мулен Руж» и еще невесть где. Филипу не хотелось думать о том, что, если в Париже она и уступит его домогательствам, это будет только вынужденной расплатой за полученное удовольствие. Не все ли равно, какой ценой он удовлетворит свою страсть. У него даже появилась безумная, мелодраматическая мысль ее опоить. Он заставлял ее пить, но она не любила вина; ей нравилось, когда он заказывал шампанское — это было шикарно, но никогда не выпивала больше половины бокала. Она любила оставлять нетронутым полный до краев бокал.

— Пусть официанты видят, с кем они имеют дело.

Филип воспользовался минутой, когда она казалась ласковее, чем обычно. В конце марта ему предстояли экзамены по анатомии. Неделей позже, на Пасху, Милдред должна была получить три выходных дня.

— Послушай, — предложил он, — почему бы нам не съездить в Париж? Мы бы так чудесно провели время.

— Что ты, это будет стоить уйму денег.

Об этом Филип уже не думал. Поездка обошлась бы ему по меньшей мере в двадцать пять фунтов. Для него это была большая сумма. Но на Милдред он готов был истратить все, до последнего гроша.

— Ерунда! Скажи, родная, что ты поедешь!

— Еще что! Я и не подумаю ехать с холостым мужчиной, раз он мне не муж. Как ты смеешь даже заикаться об этом?

— Какая разница?

Он стал распространяться о великолепии рю де ла Пэ и блеске «Фоли Бержер». Он описал магазины «Лувр» и «Бон Марше». Он рассказал ей о различных кабаре, посещаемых иностранными туристами. Он расписал ярчайшими красками те стороны Парижа, которые сам ненавидел. Он умолял ее с ним поехать.

— Послушай, — сказала она, — ты говоришь, что меня любишь, но, если бы ты действительно меня любил, ты бы на мне женился. А ведь ты даже ни разу не сделал мне предложения.

— Ты же знаешь, что мне еще не по средствам жениться. В конце концов я только на первом курсе и целых шесть лет не буду зарабатывать ни гроша.

— А я тебя и не упрекаю. Я бы все равно за тебя не пошла, хоть ты тут ползай передо мной на коленях.

Он не раз уже думал, не жениться ли ему на ней, но эта мысль приводила его в ужас. В Париже он пришел к убеждению, что брак — смешной мещанский пережиток. К тому же он знал, что постоянная связь с этой женщиной будет его гибелью. Он был полон предрассудков своего класса, и его ужасала мысль о женитьбе на официантке. Жена из простонародья помешает ему получить приличную практику. Наконец, денег у него в обрез, он едва дотянет до получения диплома; он не мог бы содержать жену, даже если бы они условились не иметь детей. Он вспомнил Кроншоу, привязанного к вульгарной девке, и содрогнулся. Он представлял себе, во что превратится Милдред с жеманными манерами и пошленькой душой; нет, жениться на ней просто невозможно. Но все это он решал рассудком; чувство же подсказывало ему, что он должен получить ее любой ценой, и, если не сможет этого добиться без брака, он женится на ней, будь что будет. Пусть дело кончится катастрофой — ему все равно. Когда у него появлялась какая-нибудь мысль, она завладевала им целиком, ни о чем другом он не мог думать; к тому же он отлично умел убеждать себя в правильности того, чего ему хотелось. Один за другим он отбрасывал все разумные аргументы против этого брака. С каждым днем он все больше привязывался к ней; неудовлетворенное чувство делало его злым и раздражительным.

«Ну, если я на ней женюсь, тут уж я заставлю ее заплатить за все мучения, которые от нее терплю», — говорил он себе. Наконец он почувствовал, что не может больше этого вынести. Однажды вечером после обеда в маленьком ресторанчике в Сохо, где они теперь часто бывали, он сказал:

— Послушай, ты серьезно сказала на днях, что не выйдешь за меня замуж, даже если я попрошу?

— Ну да, а что?

— Я не могу жить без тебя. Я хочу, чтобы ты была со мной все время. Я старался в себе это подавить, но не смог. Теперь уж я и бороться перестал: видно, это на всю жизнь. Я хочу, чтобы ты стала моей женой.

Она начиталась достаточно романов, чтобы знать, как подобает отвечать в таких случаях.

— Я, конечно, очень благодарна тебе, Филип. Твое предложение для меня — большая честь.

— Не болтай чепухи. Ты выйдешь за меня замуж?

— А ты уверен, что мы будем счастливы?

— Нет. Ну и что из этого?

Слова вырвались у него против воли. Они ее удивили.

— Вот чудак! Зачем тогда ты хочешь на мне жениться? К тому же ты сказал, что тебе это не по карману.

— У меня еще осталось около тысячи четырехсот фунтов. Вдвоем жить не дороже, чем одному. Нам хватит моих денег, пока я не получу диплома и не пройду практики в госпитале, а потом я наймусь к кому-нибудь ассистентом.

— Значит, ты еще целых шесть лет ничего не будешь зарабатывать? И пока что нам придется жить на четыре фунта в неделю?

— Нет, на три, не больше. Мне надо платить за учение.

— А сколько ты будешь получать, работая ассистентом?

— Три фунта в неделю.

— Да неужели тебе надо зубрить все эти годы да еще и потратить весь свой капитал на то, чтобы в конце концов зарабатывать три фунта в неделю? Мне ведь будет житья не лучше, чем сейчас.

Он помолчал.

— Другими словами, ты за меня не пойдешь? — спросил он хриплым голосом. — А вся моя любовь, стало быть, для тебя ровно ничего не значит?

— В таких делах надо думать раньше всего о себе. Я, конечно, не прочь выйти замуж, но зачем мне это делать, если я буду жить не лучше, чем сейчас? На кой мне это нужно?

— Ты бы так не рассуждала, если бы я тебе нравился.

— Может быть.

Филип замолчал. Он выпил залпом стакан вина, чтобы проглотить комок, подступивший к горлу.

— Посмотри на ту девушку, которая идет к выходу, — сказала Милдред. — Она купила горжетку в магазине «Бон Марше» в Брикстоне. Я видела ее на витрине, когда проходила мимо.

Филип мрачно улыбнулся.

— Чего ты смеешься? — сказала она. — Ей-Богу, правда. Я еще тогда сказала тете, что ни за что не куплю чего-нибудь с витрины: охота, чтобы каждый знал, сколько ты заплатила.

— Я тебя понять не могу. Ты разбиваешь мне сердце и тут же порешь всякую чушь, которая не имеет никакого отношения к нашему разговору.

— Как тебе не стыдно, — отвечала она обиженно. — Разве я могла не обратить внимания на эту горжетку, если я еще тогда сказала тете...

— Наплевать мне, что ты сказала тете!.. — нетерпеливо прервал ее Филип.

— Не смей выражаться! Ты же знаешь, как я этого не люблю.

Филип усмехнулся, но в глазах у него было бешенство. Он помолчал. Он посмотрел на нее насупившись. Он ненавидел, презирал и любил ее.

— Если бы у меня была хоть капля здравого смысла, я бы никогда с тобой больше не встречался, — сказал он наконец. — Знала бы ты, как я себя проклиная за то, что полюбил тебя.

— С твоей стороны не очень-то красиво мне это говорить, — ответила она, надув губы.

— Да, красоты тут мало, — рассмеялся он. — Пойдем в театр.

— Ну и чудак же ты, смеешься всегда не к месту. Я тебя потому и понять не могу. А если тебе со мной плохо, зачем идти в театр? Я могу поехать домой.

— Затем, что с тобой мне не так плохо, как без тебя.

— Интересно все-таки, что ты обо мне думаешь на самом деле?

Он громко рассмеялся.

— Милая, если бы ты знала это, ты бы со мной больше никогда и разговаривать не стала.

ГЛАВА 63

В конце марта Филип провалился на экзамене по анатомии. Они готовились к нему вместе с Дансфордом по скелету, который купил Филип, задавая друг другу вопросы до тех пор, пока оба не выучили каждую связку, каждое утолщение и каждую впадину в человеческих костях. Но в экзаменационном зале Филипа вдруг охватила паника, и он не смог ответить на заданные вопросы, боясь, что ответит неверно. Он сразу понял, что провалился, и даже не дал себе труда пойти на следующий день в институт, чтобы это проверить. Вторичный провал окончательно зачислил Филипа в группу тупиц и лентяев его курса.

Но это его мало трогало. Он думал о другом. Он говорил себе, что Милдред — все-таки женщина, надо только ее разбудить; у него была своя теория, он считал, что жен-

щина распутна по самой своей природе и что настойчивость в конце концов всегда победит. Весь вопрос заключался в том, чтобы дожидаться своего часа, сдерживать раздражение, обезоружить ее мелкими знаками внимания, воспользоваться минутой физической усталости, которая всегда размягчает волю, превратить себя в прибежище от мелких огорчений, связанных с ее работой. Он рассказывал Милдред о связях своих парижских друзей с веселыми подружками. Жизнь, которую он описывал, была полна очарования, озорства, в ней не было и тени скотской грубости. Вплетая в свои воспоминания приключения Мими, Родольфа, Мюзетты и остальных героев Мюрже, он поведал Милдред повесть о беззаботной нищете, которую скрашивали песни и смех, о не признанной законом любви, которую возвышала красота и молодость. Он никогда не нападал на ее предрассудки, но попытался их победить, убеждая ее, что все это нравы глухой провинции. Он не позволял себе принимать близко к сердцу ее невнимание или сердиться на ее равнодушие. Он знал, что она с ним скучает; сделав над собой усилие, старался ей во всем угодить и всячески ее развлекал; не позволял себе раздражаться, никогда ни о чем не просил, не жаловался, никогда ее не бранил. Когда она не приходила на свидание, он встречал ее на следующий день с улыбкой; если же она начинала извиняться, он отвечал, что все это не имеет никакого значения. Теперь он никогда не показывал виду, что она заставляет его страдать. Он понимал, что его болезненная страсть ей в тягость, и стал тщательно скрывать малейшее проявление чувства, которое могло быть ей неприятно. Он вел себя героически.

Хотя Милдред никогда не упоминала о происшедшей в нем перемене — она, видно, и не очень-то ее сознавала, — эта перемена все же на нее подействовала: Милдред стала с ним доверчивее, рассказывала ему о своих маленьких обидах — а она постоянно была обижена — то на заведующую кафе, то на одну из официанток, то на свою тетку.

Она стала разговорчивее, и, хотя ее болтовня не касалась ничего, кроме мелких повседневных дел, Филипу не надоедало ее слушать.

— Когда ты ко мне не пристаешь со своей любовью, ты мне нравишься, — сказала она ему как-то раз.

— Ну, это ты мне польстила, — рассмеялся он.

Милдред было невдомек, как опечалили Филипа ее слова и каких усилий стоил ему этот беспечный ответ.

— Если тебе так уж хочется меня поцеловать, что ж, пожалуйста, — сказала она в другой раз. — Меня от этого не убудет, а тебе — удовольствие.

Порой она даже сама просила его пойти с ней поужинать, и это приводило его в умиление.

— Я бы ни с кем другим себе этого не позволила, — говорила она извиняющимся тоном. — Но с тобой можно.

— Вот спасибо, — улыбался он.

Однажды вечером, в конце апреля, она попросила его пойти с ней куда-нибудь поесть.

— Хорошо, — сказал он. — А куда бы тебе хотелось сходить потом?

— Давай никуда не пойдем. Посидим, поболтаем. Ты не возражаешь?

— Конечно, нет.

Ему показалось, что она понемножку начинает к нему привязываться. Три месяца назад мысль о вечере, проведенном с ним наедине, нагнала бы на нее смертельную тоску. День был ясный, и весна вселяла в Филипа бодрость. Он уже привык довольствоваться малым.

— Послушай, — сказал он, когда они ехали на имперiale конки (она сама настояла, что надо быть поэкономнее и не брать извозчика), — вот будет чудесно, когда настанет лето! Мы каждое воскресенье сможем проводить на Темзе. Возьмем с собою завтрак и устроим пикник.

Она слегка улыбнулась, и, осмелев, он взял ее за руку. Она ее не отняла.

— Мне кажется, что ты ко мне и в самом деле немножко привыкла, — улыбнулся он.

— Глупый, сам знаешь, что ты мне нравишься. А не то стала бы я с тобой ходить.

В маленьком ресторане в Сохо их уже знали как завсегдатаев, и, когда они вошли, *patronne*¹ встретила их с улыбкой. Официант подобострастно поклонился.

— Давай сегодня закажу обед я, — предложила Милдред.

Филипу казалось, что сегодня она еще прелестнее, чем обычно, он протянул ей меню, и она заказала свои любимые блюда. Выбор был невелик, и они уже по многу раз перепробовали все, что мог предложить ресторан. Филипу было весело. Он глядел ей в глаза и любовался нежным

¹ Хозяйка (фр.).

овалом ее бледного лица. После обеда Милдред взяла сигарету. Курила она очень редко. «Неприлично, когда дама курит», — постоянно твердила она.

Слегка запнувшись, Милдред спросила:

— Ты удивился, когда я сегодня напросилась с тобой поужинать?

— Сама знаешь, какое это для меня удовольствие.

— Мне надо тебе что-то сказать, Филип.

Он посмотрел на нее, сердце его упало, но он прошел хорошую школу.

— Валяй, — сказал он улыбаясь.

— А ты обещаешь быть умницей? Дело в том, что я выхожу замуж.

— Да ну! — сказал Филип.

Это единственное, что он смог вымолвить. Он не раз думал о такой возможности и о том, как он тогда поступит и что скажет. Он смертельно страдал, представляя себе свое отчаяние, ярость, которая его охватит, мысли о самоубийстве; но, может быть, он слишком ясно предвидел все это — во всяком случае, теперь он чувствовал просто слабость, как во время тяжелой болезни, когда жизненная энергия уходит и больному становится безразличен исход его недуга: ему хочется только одного — покоя.

— Понимаешь, годы идут, — сказала она. — Мне уже двадцать четыре, пора устраивать свою жизнь.

Он молча и машинально поглядел на хозяйку за стойкой, потом перевел глаза на красное перо на шляпке одной из обедавших дам. Милдред даже обиделась.

— Ты бы мог меня поздравить, — сказала она.

— Поздравить? Мне все еще не верится, что это правда. Я так часто об этом думал. Вот смешно, что я так обрадовался, когда ты позвала меня обедать. За кого же ты выходишь замуж?

— За Миллера, — ответила она, порозовев.

— За Миллера? — закричал пораженный Филип. — Но ты же не видела его несколько месяцев!

— Он завтракал у нас на прошлой неделе и сделал мне предложение. Он очень хорошо зарабатывает. Семь фунтов в неделю, и у него прекрасные виды на будущее.

Филип снова замолчал. Он вспомнил, что ей всегда нравился Миллер; он умел ее развлечь, а то, что он был иностранцем, окружало его каким-то экзотическим ореолом.

— Видимо, этого надо было ожидать, — сказал он наконец. — Ты должна принять предложение самого выгодного покупателя. Когда свадьба?

— В будущую субботу. Я уже заявила в кафе об уходе.

У Филипа сжалось сердце.

— Так скоро?

— Мы поженимся гражданским браком. Эмиль считает, что так лучше.

Филип почувствовал страшную усталость. Ему захотелось поскорее от нее уйти и сразу же лечь в постель. Он попросил счет.

— Я посажу тебя на извозчика и отправлю на вокзал. Тебе вряд ли придется долго ждать поезда.

— А разве ты со мной не поедешь?

— Пожалуй нет, если ты не возражаешь.

— Как хочешь, — ответила она надменно. — Значит, увидимся завтра, ты ведь придешь пить чай?

— Нет, лучше сразу поставишь точку. Зачем мне зря себя мучить? Кучеру я заплатил.

Он кивнул ей и заставил себя улыбнуться, потом сел на конку и поехал домой. Прежде чем лечь в постель, он выкурил трубку, но глаза его слипались. Он не чувствовал боли. Он заснул тяжелым сном, как только голова его коснулась подушки.

ГЛАВА 64

Но около трех часов ночи Филип проснулся и больше не мог заснуть. Его не оставляла мысль о Милдред. Как ни старался он о ней не думать, пересилить себя он не мог. Он все твердил и твердил себе, пока голова не пошла кругом: она должна была выйти замуж; девушкам, зарабатывающим себе на жизнь, нелегко живется, нашелся человек, который берется создать ей домашний уют, нечего порицать ее за то, что она согласилась. Он признавал, что с ее точки зрения было бы безумием выйти замуж за него, Филипа: только любовь может скрасить бедность, а ведь она его не любит. Это не ее вина; это просто факт, с которым надо считаться, как со всяким фактом. Филип пытался рассуждать хладнокровно. Он объяснял себе, что, по сути дела, чувство его родилось из раненого тщеславия и тщеславие же было главной причиной его мучений. Он презирал себя не меньше, чем ее. Потом он стал строить планы на будущее, все те же всегдашние свои планы, которые перемежались

с воспоминаниями о том, как он целовал ее нежные бледные щеки и как певуче звучал ее голос. Впереди у него было много работы — летом предстоял экзамен по химии, не считая двух переэкзаменовок. Он отдалился от своих товарищей по институту, но сейчас ему нужно было их общество. По счастливому стечению обстоятельств неделю назад ему написал Хейуорд — он сообщал, что будет проездом в Лондоне, и пригласил его пообедать; но Филип, боясь, что это помешает его встрече с Милдред, ответил отказом. Хейуорд собирался провести здесь весну, и Филип решил написать ему сам.

Он обрадовался, когда пробило восемь часов и можно было встать с постели. Он был бледен и чувствовал себя разбитым. Но он принял ванну, оделся, позавтракал, и у него стало легче на душе — боль несколько утихла. Ему не хотелось идти в это утро на лекции; вместо этого он отправился в универсальный магазин, чтобы купить Милдред свадебный подарок. После долгих колебаний он остановился на дорожном несессере. Он стоил двадцать фунтов, и это было больше того, что он мог себе позволить, зато подарок был кричащий и безвкусный. Филип знал, что она тут же позаботится выяснить, сколько он стоит, и находил горькое удовлетворение в том, что выбрал подарок, который ей понравится и в то же время будет выражать его презрение.

Филип с тревогой ждал дня свадьбы Милдред; он боялся, что ему предстоит пережить нечеловеческие муки, и обрадовался, получив в субботу утром письмо от Хейуорда, в котором тот писал, что сегодня приезжает и зайдет за Филипом, чтобы тот помог ему найти квартиру. Желая отвлечься от своих мыслей, Филип взял расписание, выяснил, когда приходит поезд Хейуорда, и отправился на вокзал. Встреча приятелей была восторженной. Оставив багаж в камере хранения, они весело отправились в путь. Хейуорд предложил — это было так на него похоже — прежде всего провести часок в Национальной галерее; он уже давно не видел картин, и ему нужно на них поглядеть, чтобы вернуть себе вкус к жизни. Филип долгое время не встречался с людьми, с которыми можно было поговорить об искусстве или книгах. Со времени их парижской встречи Хейуорд увлекся новейшей французской поэзией, а во Франции такое изобилие поэтов, что он без труда мог рассказать Филипу о нескольких новых гениях. Они бродили по Национальной галерее, показывая друг другу свои любимые

картины; от одной темы они перескакивали к другой; беседа становилась все более оживленной. Солнце сияло, и воздух дышал приятным теплом.

— Давай посидим в Гайд-парке, — предложил Хейуорд. — Квартиру поищем после завтрака.

В парке царила весна. День был удивительный, неволь-но сердце радовалось тому, что живешь на свете. Молодая зелень деревьев нежно вырисовывалась на фоне неба, а по небу — бледному, прозрачно-голубому — были раскиданы легкие пушистые облачка. За зеркальной гладью пруда вы-силась серая громада казарм конной гвардии. Чинное изя-щество раскинувшегося перед ними пейзажа дышало прелестью картин восемнадцатого века. Впрочем, парк на-поминал не Ватто, чьи ландшафты полны такой идиллии, какую увидишь разве только во сне, а скорее более про-заического Жана-Батиста Патера. На душе Филипа было легко. Он понял то, о чем прежде только читал: искусство (а он воспринимал природу, как художник) способно уто-лять душевные муки.

Они зашли позавтракать в итальянский ресторан и за-казали *flascchetto*¹ кьянти. Увлеченные беседой, они заси-делись за столом. Они вспоминали своих гейдельбергских знакомых, говорили о парижских друзьях Филипа, о книгах, картинах, о нравах и о жизни; вдруг Филип услышал, как часы пробили три, и вспомнил, что Милдред уже замужем. Он почувствовал, как его, словно ножом, резануло по сер-дцу, и с минуту не слышал, что говорил ему Хейуорд. Фи-лип налил себе еще кьянти. Он не привык к вину, и хмель ударил ему в голову. Зато сейчас у него было легко на ду-ше. Его ум так долго бездействовал, что беседа привела его в возбуждение. Филип был рад поговорить с человеком, который жил теми же интересами, что и он сам.

— Послушай, — сказал он, — не будем тратить этот великолепный день на поиски квартиры. Переночуешь у меня. А квартиру найдешь завтра или в понедельник.

— Хорошо. Что же мы будем делать? — откликнулся Хейуорд.

— Давай сядем на пароход и поедем в Гринвич.

Эта мысль понравилась Хейуорду, и они, взяв извозчика, отправились к Вестминстерскому мосту. Там они как раз успели на отходивший пароходик.

¹ Бутылочку (*ит.*).

— Помню, — сказал Филип с улыбкой, — когда я приехал в Париж, кто-то, кажется, Клаттон, произнес длинную речь о том, что красотой наделяют действительность художники и поэты. Они творят красоту. По существу, между колокольной Джотто и фабричной трубой нет никакой разницы. Но прекрасные произведения обогащаются тем чувством, которое они вызывают в последующих поколениях. Вот почему старые вещи прекраснее современных. «Ода о греческой урне»¹ сегодня прелестнее, чем тогда, когда ее сочинили, потому что целое столетие ее читали несчастные влюбленные и находили утешение в ее строках.

Филип предоставил Хейуорду самому догадываться, какой из проплывавших мимо парохода пейзажей навел на него эти мысли, — ему было так приятно, что собеседнику ничего не нужно разжевывать. Его глубоко волновало, что он вырвался из той жизни, которую так долго вел. Висевшее над Лондоном нежное марево окрашивало серые камни зданий в мягкие оттенки пастели; очертания верфей и складов могли по четкости и изяществу линий поспорить с японской гравюрой. Они плыли вниз по течению: великолепная река — символ обширной империи, — полная движения и жизни, все шире расступалась перед ними; Филип с благодарностью думал о художниках и поэтах, открывших столько красоты в том, что его окружало. Перед ними раскинулся лондонский порт; кто может описать его величие? При виде его загорается воображение — столько образов населяют эту широкую протоку: доктор Джонсон и рядом с ним Босуелл¹, вот старик Пепис² вступает на борт военного корабля; тут оживает пышный карнавал английской истории с ее романтикой и дерзаниями. Филип повернулся к Хейуорду, глаза его блестели.

— Милый Чарлз Диккенс, — прошептал он, смеясь над собственным волнением.

— А ты не жалеешь, что бросил живопись? — спросил Хейуорд.

— Нет.

— Значит, тебе нравится медицина?

¹ Стихотворение английского поэта Джона Китса (1795—1821).

² Джеймс Босуелл (1740—1795) — биограф английского писателя Сэмюэла Джонсона.

³ Сэмюэл Пепис (1633—1703) — чиновник адмиралтейства, автор знаменитых мемуаров.

— Ничуть, но ничего другого мне не подвернулось. Нудная зубрежка в первые два года учения ужасно меня угнетает, и, к несчастью, у меня, по-видимому, нет особой склонности к наукам.

— Но не можешь же ты снова менять профессию!

— Конечно, нет. Я доведу это дело до конца. Наверно, медицина станет интереснее, когда я перейду в больницу на практику. Меня, кажется, больше всего на свете интересуют люди. И пожалуй, медицина — единственная профессия, которая дает тебе независимость. Ты носишь знания у себя в голове; с ящиком инструментов и небольшим запасом лекарств можно найти работу повсюду.

— Разве ты не собираешься обзавестись частной практикой?

— Во всяком случае, не скоро, — ответил Филип. — Как только я пройду практику в больнице, поступлю на судно; мне хочется повидать Восток — Малайский архипелаг, Сиам, Китай и прочие страны, — а потом возьмусь за любую работу, какая попадется. Что-нибудь всегда подвернется — ну, например, холерная эпидемия в Индии. Мне не хочется сидеть на одном месте. Я мечтаю повидать мир. Для бедняка единственный способ увидеть мир — это сделаться врачом.

Пароход подошел к Гринвичу. Над рекой величественно высилось благородное здание, построенное Иниго Джонсом.

— Погляди, вот, должно быть, то место, где бедный Джек нырял в реку за медяками, — сказал Филип.

Они стали бродить по парку. Там играли оборванные дети, и воздух звенел от их крика; на солнышке грелись старые моряки. Казалось, все здесь было, как сто лет назад.

— Жаль, что ты потерял два года в Париже, — сказал Хейуорд.

— Потерял? Погляди на движения этого ребенка, на узоры, которые чертит на земле солнце, пробиваясь сквозь листву, на небо... Знаешь, я никогда бы по-настоящему не увидел этого неба, если бы не два года в Париже.

Хейуорду показалось, что голос у Филипа дрогнул, и он поглядел на него с изумлением.

— Что с тобой?

— Ничего. Извини мою дурацкую чувствительность, за последние полгода я так изголодался по красоте.

— Ну, ты меня удивил. Ведь раньше ты был таким сухарем...

— Черт побери, я вовсе не хотел тебя удивлять, — рассмеялся Филип. — Пойдем-ка пить самый что ни на есть прозаический чай.

ГЛАВА 65

Приезд Хейуорда был для Филипа спасением. С каждым днем он все меньше думал о Милдред. Прошрое он вспоминал с брезгливостью. Ему было непонятно, как мог он поддаться такому позорному чувству; он думал о Милдред со жгучей ненавистью; из-за нее он перенес столько унижений. Теперь он помнил только недостатки ее характера и внешности; его пробирала дрожь при одной мысли о былых отношениях с ней.

«Все это из-за моего проклятого слабодушия», — говорил он себе. Его любовная история напоминала неприличную выходку, учиненную при всем честном народе; она уже непоправима, и единственное средство — поскорее о ней забыть. А в этом ему помогала ненависть к пережитому позору. Он был как змея, сбросившая кожу, и с гадливостью озирался на старую оболочку. Его радовало, что он снова стал самим собой; он видел, сколько радости упустил в жизни, пока был погружен в безумие, именуемое любовью. Нет, с него хватит; если любовь такова, он больше не желает любить. Он поделился с Хейуордом кое-чем из того, что ему пришлось пережить.

— Помнишь, это, кажется, Софокл молился о том, чтобы поскорее настал час, когда он освободится от хищного зверя — страсти, пожирающей его сердце?

В самом деле, Филип словно родился заново. Он вдыхал весенний воздух, будто никогда им раньше не дышал, получал ребяческое удовольствие от всего, что происходит на свете. Пору своих безумств он называл полугодом каторги.

Не прошло и нескольких дней после приезда Хейуорда в Лондон, как Филип получил приглашение из Блэкстебла на выставку картин из одной частной коллекции. Он взял с собой Хейуорда и, просматривая каталог, заметил, что на выставке есть картина Лоусона.

— Наверно, это он прислал приглашение, — сказал Филип. — Давай поищем его, он, должно быть, стоит возле своей картины.

Картина — портрет Рут Чэлис в профиль — была повешена в дальнем углу, и Лоусон действительно оказался

неподалеку от нее. В светской толпе, собравшейся на вернисаж, художник в своей широкополой мягкой шляпе и просторном светлом костюме выглядел немножко растерянным. Он радостно поздоровался с Филипом и, как всегда словоохотливо, сообщил, что переселился в Лондон, что Рут Чэлис — потаскушка, что он снял мастерскую (с Парижем покончено), что ему заказали портрет, а им нужно пообедать вместе и наговориться всласть, как в былые дни. Филип напомнил ему, что он уже знаком с Хейуордом, и его позабавило впечатление, которое тот произвел на Лоусона своим элегантным костюмом и изысканными манерами. Хейуорд был здесь в своей стихии — не то что в убогой маленькой мастерской Лоусона и Филипа в Париже.

За обедом Лоусон продолжал рассказывать новости. Фланнаган вернулся в Америку. Клаттон исчез. Он пришел к убеждению, что нельзя ничего создать, пока живешь в атмосфере искусства, среди художников, — надо спасаться бегством. Чтобы облегчить себе этот шаг, он перессорился в Париже со всеми. У него развилась страсть резать всем в глаза правду-матку, и это помогло его друзьям стойко перенести известие о том, что Клаттон намерен отрясти прах французской столицы от ног своих и переселиться в маленький городок на севере Испании, приглянувшийся ему из окна поезда по пути в Барселону. Он живет сейчас в этом городке отшельником.

— Интересно, выйдет ли из него толк, — сказал Филип.

Судорожные попытки Клаттона выразить нечто самому ему неясное, дремлющее в его сознании, сделали художника упрямым и раздражительным; Филипа занимала психологическая сторона вопроса. Он смутно чувствовал, что и сам находится в таком же положении, только ищет смысл не в искусстве, а в собственной жизни. Ему приходится выражать свое «я» поступками, образом действия, и он не знает, как ему быть.

Впрочем, Филипу некогда было додумать эту мысль до конца — Лоусон пространно поведал ему повесть о своих отношениях с Рут Чэлис. Она бросила его ради юного студента, только что приехавшего в Париж из Англии, и вела себя непристойно. Лоусон полагал, что кому-нибудь следовало бы вмешаться и спасти этого молодого человека. Она его погубит. Насколько понимал Филип, Лоусон был огорчен главным образом тем, что разрыв произошел в разгар его работы над ее очередным портретом.

— Женщинам не дано понимать искусство, — сказал он. — Они только прикидываются, будто его понимают. — Но он рассудительно добавил: — Как бы то ни было, я выжал из нее четыре портрета, и еще неизвестно, как получился бы пятый.

Филип позавидовал легкости, с какой художник относился к своим романам. Он не без приятности провел полтора года, бесплатно получил превосходную натурщицу и расстался с ней в конце концов без особой горечи.

— А что слышно о Кроншоу? — спросил Филип.

— Ну, он человек конченый, — с жестоким легкомыслием молодости ответил Лоусон. — Протянет не больше шести месяцев. Прошлой зимой он схватил воспаление легких и провалялся семь недель в английской больнице. Когда он оттуда вышел, врачи сказали, что его единственное спасение — бросить пить.

— Бедняга, — улыбнулся трезвенник Филип.

— Некоторое время Кроншоу крепился. Он все-таки продолжал посещать «Клозери де лила» — без этого он не мог обойтись, — но пил он там горячее молоко *avec de la fleur d'oranger*¹ и стал чертовски скучен.

— Ты, наверное, так ему и сказал?

— Ну, он сам это знает. Недавно снова запил. Говорит, что слишком стар и не может начинать все сначала. Не хочет прозябать пять лет, предпочитает счастливо прожить полгода и умереть. К тому же он последнее время, кажется, очень нуждается. Понимаешь, пока он был болен, он ни гроша не зарабатывал и его девка отравляла ему существование.

— Помню, как он меня поразил, когда я с ним познакомился, — сказал Филип. — Мне он показался человеком необыкновенным. Противно, что в жизни преуспевает только пошлая мещанская добродетель.

— Да нет, Кроншоу — подонок. Ему на роду было написано умереть под забором, — изрек Лоусон.

Филипа огорчило, что Лоусон сказал это без всякого сожаления. В жизни что посеешь, то и пожнешь, но ведь вся ее трагедия заключается в неумолимости, с какой следствие вытекает из причины.

— Ах, я совсем забыл, — сказал Лоусон. — Сразу после твоего отъезда Кроншоу прислал тебе подарок. Я думал, что ты вернешься, и не стал его пересылать, да к тому же он, по-моему, и не стоил того, чтобы отправлять его по

¹ С апельсиновым цветом (фр.).

почте; но я получу его вместе с моими вещами, и, если хочешь, зайди за ним ко мне в мастерскую.

— А что это такое?

— Да какой-то ветхий коврик. Ему, наверное, грош цена. Я даже спросил Кроншоу, какого черта он прислал тебе такую рвань. По его словам, он увидел его в какой-то лавчонке на рю де Рейн и купил за пятнадцать франков. Это как будто персидский ковер. Он сказал, что ты спрашивал его о смысле жизни и вот его ответ. Но он был пьян в стельку.

Филип рассмеялся.

— Ах да, понял. Я его возьму. Это была одна из любимых загадок Кроншоу. Он говорил, что я сам должен найти разгадку, не то ответ будет бессмысленным.

ГЛАВА 66

Занятия шли у Филипа легко. Дел у него было по горло: в июле ему предстояло держать экзамен по трем предметам — два из них он раньше провалил, — но он был доволен жизнью. У него появился новый друг. В поисках натурщицы Лоусон нашел актрису, игравшую маленькие роли в каком-то театре; собираясь уговорить ее позировать, он пригласил ее в одно из воскресений пообедать. Для приличия она привела с собой приятельницу, и Филипу, которого пригласили четвертым, было поручено эту подругу занимать. Задача была нетрудная — приятельница оказалась забавной болтушкой с острым язычком. Миссис Несбит пригласила Филипа к ней зайти. Ее квартира находилась на Винсент-стрит, она всегда бывала часов в пять дома. Он пошел, остался доволен приемом и зачастил к ней. Миссис Несбит была миниатюрная женщина лет двадцати пяти, с привлекательным, хоть и некрасивым, скуластым личиком — на нем живо блестели глаза и весело улыбался большой рот. Лицо было ярким и напоминало портреты современных французских художников: кожа была необычайно белая, щеки — очень румяные, густые брови и иссиня-черные волосы. Все это создавало странное, но скорее приятное впечатление некоторой неестественности. Она развелась с мужем и зарабатывала на жизнь себе и ребенку сочинением бульварных романов. Несколько издателей специализировались на выпуске такого рода макулатуры, заказов у нее было хоть отбавляй. Оплачивалась работа плохо, миссис Несбит получала

пятнадцать фунтов за повесть в тридцать тысяч слов, но была довольна.

— В конце концов, — говорила она, — читателю это стоит всего два пенса, а он любит перечитывать одно и то же. Я просто меняю имена, вот и все. Когда мне это надоедает, я вспоминаю про счет из прачечной, квартирную плату или о том, что нужно купить ботиночки ребенку, и снова берусь за перо.

Кроме того, она подрабатывала в разных театрах на выходах, когда там нужны были статистики, — это давало ей от шестнадцати шиллингов до гиней в неделю. К концу дня она валилась с ног от усталости и засыпала мертвым сном. Она никогда не унывала. У нее было острое чувство юмора, и она умела посмеяться даже над неприятностями. Иногда ее дела принимали совсем плохой оборот, у нее не было ни гроша в кармане; тогда ее скудные пожитки переключивались в ломбард, а сама она сидела на хлебе с маслом, пока не возвращалось благоденствие. Хорошее настроение никогда ее не покидало.

Филипу была незнакома такая беззаботная, необеспеченная жизнь, и миссис Несбит очень его смешила, забавно описывая свою борьбу за существование. Он спросил ее, почему она не пытается заняться настоящей литературой, но она знала, что у нее нет таланта, а то чтиво, которое она мастерила, не покладая рук, сносно оплачивалось, к тому же ни на что другое она не была способна. Никаких надежд на лучшее будущее она не питала. Не было у нее и родственников, а все друзья нуждались не меньше ее самой.

— Я не задумываюсь о будущем, — говорила она. — Если у меня хватает денег на квартирную плату и сверх того остается немножко на еду, значит, мне не о чем беспокоиться. Стоит ли жить на свете, если будешь думать не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне? Когда дела идут из рук вон плохо, всегда что-нибудь подвернется.

Вскоре Филип привык заходить к ней пить чай каждый день, а для того, чтобы его посещения ее не обременяли, всякий раз приносил с собой либо пирог, либо фунт масла, либо пакетик чаю. Они стали называть друг друга по именам. Он не был избалован женским сочувствием и охотно рассказывал ей о своих злоключениях. Когда Филип бывал у нее, он не замечал, как бежит время. Он не скрывал, что восхищается ею. Она была отличным товарищем. Помимо воли он сравнивал ее с Милдред; упрямство и тупость одной, не проявлявшей ни малейшего интереса к чему бы то

ни было, выходящему за пределы узкого круга ее представлений, были так не похожи на отзывчивость и живой ум другой. Ему становилось страшно при одной мысли, что он мог связать себя на всю жизнь с такой женщиной, как Милдред. Однажды вечером он рассказал Норе всю историю своей любви. Нельзя сказать, чтобы эта история его украшала, — и тем приятнее ему было встретить трогательное сочувствие.

— Кажется, вам повезло, что вы от всего этого избавились, — сказала она, когда он кончил.

У нее была смешная привычка склонять голову набок, как это делают маленькие лохматые щенки. Она сидела на стуле и шила — ей некогда было бездельничать, — а Филип уютно примостился у ее ног.

— Я даже сказать вам не могу, как я рад, что все это позади, — вздохнул он.

— Бедняжка, вам, видно, здорово досталось, — прошептала она и сочувственно положила ему руку на плечо. Он поцеловал ее руку, но она ее отдернула.

— Зачем это? — спросила она, покраснев.

— А вы возражаете?

Она смотрела на него искрящимися от смеха глазами, потом улыбнулась.

— Нет, — сказала она.

Он привстал на колени и приблизил к ней свое лицо. Она твердо посмотрела ему прямо в глаза, и ее крупный рот дрогнул в улыбке.

— Ну и что? — спросила она.

— А знаете, вы молодец. Я вам так благодарен за ваше отношение ко мне. Вы мне ужасно нравитесь.

— Не будьте идиотом, — сказала она.

Филип взял ее за локти и привлек к себе. Не сопротивляясь, она чуть наклонилась вперед, и он поцеловал ее яркие губы.

— Зачем это? — снова спросила она.

— Потому, что это приятно.

Она не ответила, но в ее глазах мелькнула нежность и она ласково провела рукой по его волосам.

— Понимаете, ужасно глупо, что вы так себя ведете. Мы были такими хорошими друзьями. Почему бы нам не остаться ими по-прежнему.

— Если вы действительно хотите воззвать к моему лучшему «я», — возразил Филип, — вам не следовало бы меня гладить.

Она тихонько засмеялась, но продолжала его гладить.

— Я себя очень плохо веду, да? — сказала она.

Филип удивился, ему стало немножко смешно, он заглянул ей в глаза и вдруг увидел там нежность и предательскую влагу; их выражение его тронуло. Он почувствовал волнение, и у него тоже навернулись слезы.

— Нора, неужели вы меня любите? — спросил он, сам себе не веря.

— Такой умный мальчик, а задает такие глупые вопросы.

— Хорошая вы моя, мне ведь и в голову не приходило, что вы можете меня полюбить.

Он прижал ее к себе и поцеловал, а она смеялась, краснела и плакала.

Выпустив ее, он отодвинулся, сел на корточки и посмотрел на нее с удивлением.

— Ах, будь я проклят! — сказал он.

— За что?

— Опомниться не могу.

— От удивления или от радости?

— От счастья! — вскрикнул он чистосердечно. — И от гордости, и от восторга, и от благодарности.

Он взял ее руки и покрыл поцелуями. Для Филипа начались счастливые дни, которым, казалось, не будет конца. Они стали любовниками, но остались друзьями. В чувстве Норы к Филипу было немало материнского: ей нужно было кого-нибудь баловать, бранить, с кем-нибудь нянчиться; она была человек семейственный и получала удовольствие от того, что заботилась о его здоровье и о его белье. Его хромота, доставлявшая ему столько огорчений, вызывала у нее жалость, и эта жалость проявлялась в нежности. Она была молода, сильна и здорова, и отдавать свою любовь ей казалось вполне естественным. У нее был веселый и жизнерадостный нрав.

Филип ей нравился, потому что он смеялся вместе с нею над всем, что казалось ей смешным, а больше всего он нравился ей потому, что он был он.

Когда она ему это сказала, Филип весело ответил:

— Глупости. Я нравлюсь тебе потому, что я человек молчаливый и никогда не мешаю тебе болтать.

Филип совсем не был в нее влюблен. Она ему очень нравилась, ему приятно было проводить с ней время, его развлекали и занимали ее разговоры. Она вернула ему веру в себя и залечила раны его души. Ему необычайно льстило, что она его любит. Его восхищали ее мужество, ее оптимизм, дерзкий вызов, который она бросала судьбе; у нее

была своя маленькая философия, бесхитростная и практическая.

— Знаешь, я не верю в церковь, священников и все такое прочее, — говорила она. — Но я верю в Бога и думаю, что он на многое посмотрит сквозь пальцы, если только ты не ноешь и по мере сил помогаешь слабому. И еще я думаю, что люди, как правило, — очень хорошие, и мне жаль тех, про кого этого не скажешь.

— А как насчет загробной жизни? — спросил Филип.

— Я, конечно, ничего про нее не знаю наверняка, — улыбалась она, — но надеюсь на лучшее. Во всяком случае, там не придется платить за квартиру и писать бульварные романы.

Она обладала чисто женским умением тонко польстить. По ее словам, Филип совершил мужественный поступок, бросив Париж, когда убедился, что великий художник из него не получится. Сам он так и не мог решить до конца, был ли этот поступок продиктован мужеством или слабодушием, и ему было приятно сознавать, что она считала его героическим. Нора рискнула заговорить с ним и о том, что обходили молчанием все его друзья.

— Очень глупо с твоей стороны так переживать свою хромоту, — сказала она. Увидев, что он густо покраснел, она все-таки продолжала: — Знаешь, люди куда меньше это замечают, чем тебе кажется. Они обращают на это внимание только при первом знакомстве.

Он молчал.

— Ты на меня сердишься?

— Нет.

Она обняла его за шею.

— Пойми, я говорю об этом только потому, что люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты из-за этого себя мучил.

— Ты можешь говорить мне все, что тебе вздумается, — ответил он с улыбкой. — Эх, если бы я мог хоть как-нибудь показать, до чего я тебе благодарен!

Ей удалось прибрать его к рукам и в других отношениях. Она не давала ему ворчать и смеялась над ним, когда он сердился. Благодаря ей он стал куда приветливее.

— Ты умеешь заставить меня делать все, что ты хочешь, — сказал он ей как-то раз.

— А тебе это неприятно?

— Ничуть, я и хочу делать то, что тебе нравится.

У него хватало здравого смысла, чтобы понимать, как ему повезло. Он считал, что она дает ему все, что может

дать жена, и в то же время не лишает его свободы; она была самым очаровательным другом, какого можно пожелать, и понимала его лучше любого мужчины. Их любовные отношения были крепким звеном в их дружбе, не больше. Они ее дополняли, но отнюдь не были самым для них главным. И потому, что желание Филипа было удовлетворено, он сделался уравновешеннее, уступчивее. Он чувствовал себя в ладу с самим собой. Иногда он вспоминал ту пору, когда был одержим безобразной, унижительной страстью, и сердце его наполнялось ненавистью к Милдред и отвращением к себе.

Приближались экзамены — они волновали Нору не меньше, чем его самого. Он был польщен и растроган ее вниманием. Она взяла с него слово, что он сразу же явится к ней и сообщит результаты. На этот раз он благополучно сдал все три экзамена, и, когда пришел ей об этом сказать, она вдруг расплакалась.

— Ах, как я рада, я так беспокоилась!

— Дурочка, — рассмеялся он, но и его самого душили слезы. Таким отношением дорожил бы кто угодно.

— А что ты станешь делать теперь? — спросила она.

— Теперь я с чистой совестью могу отдохнуть. Я свободен до начала зимней сессии в октябре.

— Наверное, поедешь к дяде в Блэкстебл?

— И не подумаю. Останусь в Лондоне и буду тебя развлекать.

— Я бы предпочла, чтобы ты уехал.

— Почему? Я тебе надоел?

Она рассмеялась и положила руки ему на плечи.

— Потому, что тебе много пришлось поработать. Посмотри на себя — ты совсем извелся. Тебе нужны свежий воздух и покой. Пожалуйста, поезжай.

Он помедлил, глядя на нее с нежностью.

— Знаешь, я не поверил бы, что это искренне, если бы это была не ты. Ты думаешь только обо мне. Не пойму, что ты во мне нашла.

— Ты, видно, решил дать мне хорошую рекомендацию и деньги за месяц вперед, — весело рассмеялась она.

— Я напишу в рекомендации, что ты внимательна, добра, нетребовательна, никогда не волнуешься из-за пустяков, ненавязчива и тебе легко угодить.

— Все это чепуха, — сказала она, — но я тебе открою тайну: я одна из тех редких женщин, для кого жизненный опыт не проходит даром.

ГЛАВА 67

Филип с нетерпением ожидал возвращения в Лондон. За два месяца, которые он провел в Блэкстебле, он часто получал письма от Норы. Это были длинные послания, написанные размашистым, крупным почерком, в которых она с юмором описывала маленькие события повседневной жизни: семейные неприятности домохозяйки, дававшие ей богатую пищу для насмешек; комические происшествия на репетициях — она была статисткой в одном из популярных спектаклей сезона; наконец, забавные приключения с издателями ее романов. Филип много читал, купался, играл в теннис, катался на парусной лодке. В начале октября он вернулся в Лондон и стал готовиться к очередным экзаменам. Ему хотелось поскорее их сдать — ими кончалась самая скучная часть учебной программы, и студент переходил на практику в больницу, имел дело уже не только с учебниками, но и с живыми людьми. С Норой Филип встречался ежедневно.

Лоусон провел лето в Пуле — он привез целую папку эскизов пристани и пляжа. Он получил несколько заказов на портреты и собирался пожить в Лондоне, пока его не выгонит из города плохое освещение. Хейуорд тоже был в Лондоне: он рассчитывал провести зиму за границей, но из лени с недели на неделю откладывал отъезд.

За последние годы Хейуорд оброс жирком — прошло пять лет с тех пор, как Филип познакомился с ним в Гейдельберге, — и преждевременно облысел. Он это очень переживал и отрастил длинные волосы, чтобы прикрывать просвет на макушке. Единственное его утешение было в том, что лоб у него теперь стал, как у мыслителя. Голубые глаза выцвели, веки стали дряблыми, а рот, потеряв сочность, — бледным и слабавольным. Он все еще, хоть и с меньшей уверенностью, разглагольствовал о том, что собирается совершить в туманном будущем, но понимал, что друзья уже в него не верят. Выпив две-три рюмки виски, он впадал в меланхолию.

— Я неудачник, — бормотал он, — и не гожусь для жестокой борьбы за существование. Все, что я могу сделать, — это отойти в сторону и предоставить грубой толпе топтать друг друга из-за благ мирских.

Он давал понять, что быть неудачником — куда более возвышенная и благородная позиция, чем преуспевать.

Он намекал, что его отчужденность от жизни вызвана отращиванием ко всему пошлому и низменному. Особенно красиво говорил он о Платоне.

— А я думал, что ты уже перерос увлечение Платоном, — нетерпеливо сказал ему как-то Филип.

— Почему? — спросил Хейуорд, подняв кверху брови.

Он не склонен был об этом рассуждать. Хейуорд обнаружил, что куда выгоднее порой просто промолчать.

— Не вижу смысла в том, чтобы снова и снова перечитывать одно и то же, — говорил Филип. — Это только один из видов безделья, и притом утомительный.

— Неужели ты так убежден в своей гениальности, что при первом же чтении постигаешь глубочайшие мысли философа?

— А я и не желаю их постигать, я не критик. Я интересуюсь философией не ради него, а ради себя.

— Зачем же ты тогда читаешь вообще?

— Отчасти для удовольствия — это вошло у меня в привычку, и мне так же не по себе, когда я ничего не читаю, как и когда я не курю, — отчасти же, чтобы лучше узнать самого себя. Когда я читаю книгу, я обычно всего лишь пробегаю ее глазами, но иногда мне попадается какое-нибудь место, может быть, одна только фраза, которая приобретает особый смысл для меня лично и становится словно частью меня самого; и вот я извлек из книги все, что мне было полезно, а ничего больше я не мог бы от нее получить, даже если перечел бы ее раз десять. Видишь ли, мне кажется, что каждый человек — точно нераскрывшийся бутон: то, что он читает или делает, по большей части не оказывает на него никакого воздействия; но кое-что приобретает для каждого из нас особое значение и словно развертывает в тебе лепесток; вот так один за другим раскрываются лепестки бутона и в конце концов расцветает цветок.

Филипу самому не нравилась эта метафора, но он не знал, как иначе объяснить то, что чувствует, но пока еще смутно себе представляет.

— Ты хочешь что-то совершить, ты хочешь кем-то стать, — пожал плечами Хейуорд. — Ах, как это вульгарно!

Теперь Филип хорошо знал цену Хейуорду. Он был безволен, кокетлив и так тщеславен, что надо было все время следить за собой, как бы не задеть его самолюбия; в его сознании лень безнадежно перепуталась с идеализмом, и он сам не мог их разделить. Однажды в мастерской Лоусона

он встретил журналиста, которого очаровала беседа с ним; неделю спустя редактор одной газеты прислал ему письмо, предлагая написать критическую статью. Целых двое суток Хейуорда раздирали сомнения. Он так долго говорил о том, что намерен заняться журналистикой, что у него не хватало духу сразу же ответить отказом, но мысль о какой бы то ни было работе приводила его в ужас. В конце концов он отклонил предложение и вздохнул свободно.

— Это помешало бы моим основным занятиям, — сказал он Филипу.

— Каким занятиям? — безжалостно спросил Филип.

— Моей духовной жизни, — гласил ответ.

Потом он принялся с пафосом разглагольствовать о жевневском профессоре Амизле, чьи таланты сулили блестящее будущее, но так никогда и не проявились; только после его смерти была обнаружена причина и в то же время оправдание его неудач: гениальный дневник, который нашли в его бумагах. При этом Хейуорд загадочно улыбался.

Впрочем, Хейуорд все еще мог увлекательно рассказывать о книгах; он обладал изысканным вкусом и тонко судил о литературе; он питал также неиссякаемый интерес к чужим мыслям, что делало его занимательным собеседником. По существу, мысли эти были ему глубоко безразличны — они никогда не оказывали на него ни малейшего воздействия; он обращался с ними, как с фарфоровыми безделушками, выставленными в аукционном зале: он вертел их в руках, любясь формой и покрывавшей их глазурью, прикидывал в уме, сколько они должны стоить, потом, положив на место, тут же о них забывал.

Но именно Хейуорду суждено было сделать важнейшее открытие. Как-то вечером после соответствующей подготовки он повел Филипа и Лоусона в некий кабачок на Бик-стрит, примечательный не только сам по себе и своей историей (он был овеян воспоминаниями о знаменитостях восемнадцатого века и будоражил романтическое воображение), но и лучшим в Лондоне нюхательным табаком, а самое главное — своим пуншем. Хейуорд ввел приятелей в большую длинную комнату с остатками былой роскоши и огромными изображениями обнаженных женщин на стенах: это были монументальные аллегории, написанные учениками Гейдона, но табачный дым, газ и лондонские туманы углубили их тона, и они стали похожи на картины старых мастеров. Темные панели, потускневшая массивная позолота карниза, столы красного дерева — все это создавало атмо-

сферу роскоши и комфорта, и обитые кожей сиденья вдоль стен были мягкими и удобными. Прямо против входной двери красовалась на столе голова барана — в ней-то и держали знаменитый нюхательный табак.

Приятели заказали пунш. Они стали его пить. Это был горячий ромовый пунш. Перо дрогнуло бы перед попыткой описать его совершенство; такая задача не под силу трезвому словарю и скупым эпитетам повести — возбужденное воображение ищет возвышенных слов, цветистых, диких оборотов. Пунш зажигал кровь и прояснял голову; он наполнял душу блаженством, настраивал мысли на остроумный лад и учил ценить остроумие собеседника; в нем была неизъяснимая гармония музыки и отточенность математики. Только одно из его качеств можно было выразить сравнением: он согревал, как теплота доброго сердца; но его вкус и его запах невозможно описать словами. Если бы за это взялся Чарлз Лэм, он бы со своим безупречным тактом мог нарисовать очаровательные картины нравов своего времени; или лорд Байрон, посвятив ему станс в «Дон Жуане» и добиваясь недостижимого, мог и достиг бы подлинного величия; Оскар Уайльд, рассыпая самоцветы Исфахана по византийской парче, наверно, сумел бы создать образы, полные чувственной красоты. В поисках сравнений ум бродил между видениями пиров Элагабала, утонченными мелодиями Дебюсси и пряным ароматом сундуков, где хранятся старинные наряды, кружевные брыжи, короткие панталоны, камзолы давно минувших дней; сюда надо добавить едва уловимое дыхание ландышей и запах острого сыра...

Хейуорд открыл кабачок с этим бесценным напитком, встретив на улице человека по фамилии Макалистер, с которым он учился в Кембридже; тот был биржевой маклер и философ. Он посещал этот кабачок раз в неделю; вскоре Филип, Лоусон и Хейуорд стали встречаться здесь в вечерние часы каждый вторник. Мода изменчива, и в кабачке теперь бывало немного посетителей, что оказалось на руку любителям застольной беседы. У Макалистера, широкого в кости и приземистого для своей комплекции, были крупное мясистое лицо и мягкий голос. Последователь Канта, он судил обо всем с точки зрения чистого разума и страстно любил развивать свои теории. Филип слушал его с живым интересом. Он давно пришел к убеждению, что ничто не занимает его так, как метафизика, но не был

уверен в ее пользе для житейских дел. Скромная философская система, которую он выработал, размышляя в Блэкстебле, не очень-то помогла ему во время его увлечения Милдред. Он сомневался, что рассудок может быть хорошим пособником в жизни. Похоже было на то, что жизнь течет сама по себе. Он ясно помнил, как властно владело им чувство и как он был бессилен против него, словно привязан к земле канатом. В книгах можно было вычитать много мудрых мыслей, но судить он умел только по собственному опыту (и не знал, отличается ли он в этом отношении от других). Решаясь на какой-нибудь шаг, но не взвешивал «за» и «против», не подсчитывал будущей выгоды или убытка — его неудержимо влекло куда-то, и все. Он жил не отдельной частицей своего «я», а всем своим существом в целом. Сила, во власти которой он находился, не имела, казалось, ничего общего с рассудком; рассудок его только указывал ему способ добиться того, к чему стремилась его душа.

Макалистер напомнил ему о категорическом императиве.

— Действуй так, чтобы каждый твой шаг был достоин стать правилом для поведения всех людей.

— По-моему, это полнейшая чепуха, — сказал Филип.

— Вы смельчак, если стязываетесь так об одном из тезисов Иммануила Канта, — возразил Макалистер.

— Почему? Слепое преклонение перед чужим авторитетом сводит человека на нет; на свете и так слишком много идолопоклонства. Кант выводил свои законы не потому, что они были непреложной истиной, а потому, что он был Кантом.

— Ну, а почему вы возражаете против категорического императива?

(Они спорили с такой горячностью, словно на весы была брошена судьба целых империй.)

— Закон этот предполагает, что человек может избрать свой жизненный путь усилием воли. И что лучший путеводитель — человеческий разум. Но чем веления разума лучше приказа наших страстей? Просто власть их различна, вот и все.

— Вам, кажется, нравится быть рабом своих страстей.

— Я раб своих страстей поневоле, мне это вовсе не нравится, — рассмеялся Филип.

Говоря это, он вспомнил горячее безумие, которое толкало его к Милдред. Он вспомнил, как бунтовал против своей одержимости и как болезненно ощущал свое падение.

«Слава Богу, теперь я от этого освободился», — подумал он.

Но даже теперь он не был уверен, что не обманывает себя. Когда он находился во власти страстей, он чувствовал в себе необыкновенную силу, мозг его работал с удивительной ясностью. Он жил куда полнее в напряжении всех душевных сил, а это делало его нынешнее существование чуть-чуть бесцветным. Бурное, всепоглощающее ощущение жизни вознаграждало его за непереносимые страдания.

Впрочем, неосторожное заявление Филипа повлекло его в спор о свободе воли, и Макалистер, обладавший обширными познаниями, приводил один аргумент за другим.

У него была врожденная любовь к диалектике, и он вынуждал Филипа противоречить самому себе; он загонял его в угол, откуда тому удавалось спастись только ценой тяжелых уступок; Макалистер опрокидывал его логикой и добивал авторитетами.

Наконец Филип признал:

— Я ничего не знаю о других людях. Могу сказать только о себе. Иллюзия, что воля моя свободна, так сильно во мне укоренилась, что я не в состоянии от нее избавиться, хотя и подозреваю, что это только иллюзия. Однако эта иллюзия является одним из сильнейших стимулов всех моих поступков. Прежде чем что-нибудь совершить, я чувствую, что у меня есть выбор, и это влияет на каждый мой шаг; но потом, когда поступок уже совершен, я прихожу к убеждению, что он был неизбежен с самого начала.

— Какой же ты отсюда делаешь вывод? — спросил Хей-урд.

— А только тот, что всякие сожаления бесполезны. Снявши голову, по волосам не плачут, ибо все силы мироздания были обращены на то, чтобы эту голову снять.

ГЛАВА 68

Как-то утром, вставая с постели, Филип почувствовал головокружение; он снова лег и понял, что заболел. Руки и ноги ныли, его знобило. Когда хозяйка принесла ему завтрак, он крикнул ей в открытую дверь, что ему нехорошо, и попросил чашку чая с гренкой. Через несколько минут кто-то постучал в дверь и вошел Гриффитс. Они жили в одном доме уже больше года, но знакомство их ограничивалось тем, что они кивали друг другу, встречаясь на лестнице.

— Я слышал, вам нездоровится, — сказал Гриффитс. — Вот и решил зайти взглянуть, что с вами.

Филип, сам не зная почему, покраснел и стал уверять, что все это пустяки. Через часок-другой он будет на ногах.

— Лучше дайте мне измерить вам температуру, — сказал Гриффитс.

— Ей-Богу же, это ни к чему, — с раздражением ответил Филип.

— Не упрямитесь.

Филип сунул градусник в рот. Весело болтая, Гриффитс присел на край постели, потом вынул градусник и поглядел на него.

— Послушайте, дружище, вам надо полежать в кровати, а я приведу старика Дикона, пусть он вас осмотрит.

— Чепуха, — сказал Филип. — Ничего со мной не делается. Не беспокойтесь обо мне.

— Какое тут беспокойство? У вас температура, и вам надо полежать. Верно?

У него была какая-то подкупающая манера говорить — озабоченный и в то же время мягкий тон. Филипу сосед показался чрезвычайно милым.

— Вы умеете найти подход к больному, — пробормотал Филип с улыбкой, закрывая глаза.

Гриффитс взбил его подушку, ловко расправил простыни и подоткнул одеяло. Он вышел в гостиную, поискал сифон с содовой водой и, не найдя его, принес сифон из своей квартиры. Затем он опустил штору.

— Теперь засните, а я приведу старика, как только он кончит обход.

Филипу показалось, что прошло несколько часов, прежде чем Гриффитс появился снова. Голова у Филипа раскалывалась, отчаянно ныли руки и ноги, он готов был расплакаться. Наконец в дверь постучали и явился Гриффитс — здоровый, сильный и веселый.

— Вот и доктор Дикон, — сказал он.

Врач подошел к постели — это был немолодой спокойный человек. Филип видел его в больнице. Он задал несколько вопросов, быстро осмотрел больного и поставил диагноз.

— Ну а вы что скажете? — с улыбкой спросил он Гриффитса.

— Грипп.

— Совершенно верно.

Доктор Дикон оглядел убогую меблированную комнату.

— А вы не хотите лечь в больницу? Вас поместят в отдельную палату, и за вами будет лучший уход, чем тут.

— Я предпочитаю полежать дома, — сказал Филипп.

Ему не хотелось трогаться с места, к тому же он всегда чувствовал себя стесненно в новой обстановке. Ему неприятно было, что вокруг него станут хлопотать сестры, и его пугала унылая чистота больницы.

— Я за ним поухаживаю, — сразу же вызвался Гриффитс.

— Что ж, хорошо.

Он выписал рецепт, сказал, как принимать лекарство, и ушел.

— Ну, теперь извольте слушаться, — сказал Гриффитс. — Я ваша дневная и ночная сиделка.

— Это очень мило с вашей стороны, но мне, право же, ничего не нужно, — сказал Филипп.

Гриффитс положил руку ему на лоб. Это была крупная прохладная сухая рука, Филиппу было приятно ее прикосновение.

— Я только схожу в нашу больничную аптеку и сразу же вернусь.

Немного спустя он принес лекарство и дал Филиппу. Потом поднялся наверх за своими книгами.

— Вам не помешает, если я буду заниматься у вас в гостиной? — спросил он, вернувшись. — Я оставлю дверь открытой, и вы сможете меня позвать, если вам что-нибудь понадобится.

В сумерки, очнувшись от тяжелого забытья, Филипп услышал в гостиной голоса. Какой-то приятель Гриффитса зашел его поведать.

— Послушай, ты ко мне сегодня вечером не приходи, — услышал он голос соседа.

Через несколько минут еще кто-то появился в гостиной и выразил удивление, застав Гриффитса в чужой квартире. Филипп расслышал, как тот объясняет:

— Присматриваю тут за одним студентом второго курса, это его комната. Бедняга заболел гриппом. Вечером, старина, в карты играть не будем.

Когда Гриффитс остался один, Филипп его окликнул.

— Послушайте, вы, кажется, откладываете из-за меня вашу вечеринку? — спросил он.

— Да вовсе не из-за вас. Мне надо подучить кое-что по хирургии.

— Не надо откладывать вечеринку. Ничего со мной не сделается. Вы обо мне не беспокойтесь.

— Ладно, ладно.

Филипу стало хуже. К ночи он начал бредить. Очнувшись под утро от беспокойного сна, он увидел, как Гриффитс встал с кресла, опустился на колени и рукой подкладывает в огонь уголь. Он был в халате, надетом поверх пижамы.

— Что вы здесь делаете? — спросил Филип.

— Я вас разбудил? А ведь старался протопить камин как можно тише.

— Почему вы не спите? Который час?

— Около пяти. Решил возле вас подежурить. Перенес сюда кресло, побоялся лечь на матраце: вы бы меня и пушками не разбудили, если бы вам что-нибудь понадобилось.

— Зря вы так обо мне хлопчете, — простонал Филип. — А что, если вы заразитесь?

— Тогда вы поухаживаете за мной, старина, — сказал Гриффитс, заливаясь смехом.

Утром Гриффитс поднял штору. После ночного дежурства он выглядел бледным и утомленным, но настроение у него было отличное.

— Теперь я вас умою, — весело сказал он Филипу.

— Я могу умыться сам, — сказал сконфуженный Филип.

— Чепуха. Если бы вы лежали в больнице, вас умывала бы сиделка, а чем я хуже сиделки?

Филип был слишком слаб, чтобы сопротивляться, — он позволил Гриффитсу обтереть ему лицо, руки, ноги, грудь и спину. Тот делал это с милой заботливостью, не переставая добродушно болтать; потом он переменял ему простыню — совсем как это делают в больнице, — взбил подушку и поправил одеяло.

— Видела бы меня сейчас сестра Артур! — сказал он. — Вот бы ахнула... Дикон придет проводить вас утром.

— Не понимаю, отчего вы со мной так возитесь, — сказал Филип.

— Для меня это хорошая практика. Так интересно иметь своего пациента.

Гриффитс подал ему завтрак, а потом пошел одеться и поесть. Около десяти часов он вернулся с гроздьем винограда и букетиком цветов.

— Вы необычайно добры, — сказал ему Филип.

Он провалялся в постели пять дней.

Нора и Гриффитс ухаживали за ним поочередно. Хотя Гриффитс был ровесником Филипа, он усвоил по отношению к нему шутиливый отеческий тон. Он был заботлив, ласков и умел ободрить больного; но самым большим его достоинством было здоровье, которым, казалось, он наделял каждого, кто с ним соприкасался. Филип не помнил материнской ласки, и у него не было сестер, его никто не баловал в детстве, поэтому его особенно трогала женственная мягкость этого большого и сильного парня. Он стал поправляться. Теперь Гриффитс сидел праздно в его комнате и занимал его забавными рассказами о своих любовных похождениях. Гриффитс любил поволочиться, у него бывало по три, по четыре любовных приключения сразу, и его повесть об уловках, к которым приходилось прибегать во избежание скандала, можно было слушать, не уставая. У него был дар окружать все, что с ним происходило, романтическим ореолом. Обремененный долгами, заложив все свои хоть сколько-нибудь ценные пожитки, он умел оставаться веселым, щедрым и расточительным. Он был по натуре искателем приключений. Ему нравились люди сомнительных профессий, с темным прошлым, а его знакомства с подонками общества — завсегдатаями лондонских кабачков — были необычайно обширны. Женщины легкого поведения относились к нему по-дружески, делились с ним своими горестями, радостями и невзгодами; шулера, зная о его безденежье, угощали его обедом и одалживали пятифунтовые ассигнации. Он не раз проваливался на экзаменах, но бодро переносил свои неудачи и так мило умел выслушивать родительские назидания, что его отец — врач, практиковавший в Лидсе, — не мог рассердиться на сына всерьез.

— В науках я ни бум-бум, — весело признавался он, — да и сидеть за книгами — для меня мука.

Жизнь казалась ему сплошным праздником. И все-таки было видно, что, перебесившись и получив наконец диплом, он будет преуспевающим врачом с большой частной практикой. Одно его обаяние само по себе могло излечивать больных.

Филип боготворил его, как боготворил когда-то в школе своих стройных, рослых и веселых одноклассников. Когда он поправился, они с Гриффитсом уже были закадычными друзьями; Филип радовался, что Гриффитс, по-видимому, любит бездельничать у него в комнате, весело болтая, отрывая его от занятий и куря одну за другой бесчисленные сигареты. Иногда Филип брал его с собой в кабачок на

Бик-стрит. Хейуорд считал Гриффитса болваном, но Лоусон признавал его обаяние и рвался писать с него портрет: синие глаза, белая кожа и вьющиеся волосы делали его необычайно живописным. Часто приятели спорили о вещах, о которых Гриффитс не имел представления, и тогда он спокойно сидел с добродушной усмешкой на своем привлекательном лице, справедливо полагая, что его присутствие может украсить любое общество.

Когда он узнал, что Макалистер — биржевой маклер, он стал выспрашивать у него, как заработать деньги, и тот со своей тихой улыбкой рассказал, каким бы он стал богачом, купи он в такое-то время такие-то акции. У Филипа текли слюнки — он так или иначе тратил больше, чем хотел, и ему было бы очень кстати подзаработать хоть немного денег тем легким способом, о котором говорил Макалистер.

— Как только услышу о каком-нибудь выгодном дельце, тут же вам скажу, — говорил маклер. — Порой деньги сами плывут в руки. Надо только дожидаться своей фортуны.

Филип думал, как было бы здорово разбогатеть фунтов на пятьдесят и подарить Норе меховые вещи, без которых она так мерзла зимой. Он заглядывал в витрины на Риджент-стрит и выбирал ей то, что можно было купить на эти деньги. Она заслужила самого дорогого подарка. С ней он чувствовал себя таким счастливым!

ГЛАВА 69

Как-то днем он забежал из больницы домой, чтобы умыться и привести себя в порядок, прежде чем пойти, как всегда, пить с Норой чай. Он сунул ключ в скважину, но хозяйка открыла ему сама.

— Вас ожидает какая-то дама, — сообщила она.

— Дама? — воскликнул Филип.

Он был очень удивлен. Это могла быть только Нора, и он не понимал, что ее сюда привело.

— Я, конечно, не должна была ее пускать, да только она приходила раза три уже и так расстраивалась, что вас не застала; я разрешила ей у вас посидеть.

Хозяйка продолжала еще что-то объяснять, но он пробежал мимо нее к себе в комнату. Сердце его замерло: это была Милдред. Она сидела, но сразу же поднялась, как только он вошел. Однако она не двинулась ему навстречу и не произнесла ни слова. Филип был поражен; он едва сознавал, что говорит.

— Какого черта тебе здесь надо? — спросил он.

Милдред ничего не ответила, но из глаз у нее сразу покатались слезы. Она даже не закрыла лица руками, они были вяло опущены вдоль тела. Вид у нее был, словно у пришедшей наниматься горничной. Выражение лица было униженное. Филип сам не понимал, какие в нем борются чувства. Ему хотелось повернуться и выбежать из дома.

— Вот не думал, что снова тебя увижу, — произнес он наконец.

— Лучше бы я умерла, — захныкала она.

Филип не предложил ей сесть. В ту минуту он думал только о том, как бы взять себя в руки. Колени его дрожали. Он поглядел на нее и застонал от отчаяния.

— Что случилось?

— Он меня бросил — Эмиль...

Сердце Филипа отчаянно забилося. Он понял, что любит ее по-прежнему. Он и не переставал ее любить. Милдред стояла перед ним униженная, беспомощная; ему так хотелось обнять ее и покрыть поцелуями мокрое от слез лицо. Господи, какой бесконечной была разлука! Как только он мог ее вынести!

— Да ты садись. А ну-ка, я дам тебе чего-нибудь выпить.

Филип пододвинул ей кресло поближе к огню, и она села. Он разбавил виски содовой, и, все еще всхлипывая, Милдред выпила. Она смотрела на него огромными грустными глазами. Под ними залегли большие черные тени. Она побледнела и похудела с тех пор, как он в последний раз ее видел.

— Зря я не вышла за тебя замуж, когда ты мне предлагал, — сказала она.

Филип не понимал, почему его словно обдало жаром от этих слов, он не мог к ней не подойти. Он положил ей руку на плечо.

— Какая обида, что тебе так не повезло.

Она прислонила голову к его груди и разразилась истерическим плачем. Шляпа ей мешала, и она ее сняла. Ему и в голову не приходило, что она может так плакать. Он целовал ее без конца. Казалось, что ей от этого становится чуточку легче.

— Ты ко мне всегда хорошо относился, Филип, поэтому я решила прийти к тебе.

— Расскажи, что случилось.

— Ох, не могу, не могу! — зарыдала она, вырываясь.

Он упал возле нее на колени и прижался щекой к ее щеке.

— Ты же знаешь, что можешь сказать мне все на свете! Разве я стану тебя осуждать?

Мало-помалу она рассказала ему всю историю. Временами она так всхлипывала, что он с трудом разбирал слова.

— В прошлый понедельник он поехал в Бирмингем и пообещал, что вернется в четверг, но так и не приехал; не было его и в пятницу; я ему тогда написала письмо, чтобы узнать, в чем дело, но он не ответил. Тогда я написала ему опять, что, если он тут же не пришлет ответ, я поеду к нему в Бирмингем, но сегодня утром я получила письмо от его поверенного, что не имею на него никаких прав и что, если я вздумаю его преследовать, он будет вынужден подать на меня в суд.

— Какая ерунда! — воскликнул Филип. — Разве можно так обращаться с женой? Вы что, поссорились?

— Ох да, мы поругались в то воскресенье, и он сказал, что я ему осточертела, но он и раньше это говорил и все-таки возвращался. Я не думала, что он всерьез. Он так перепугался, когда я ему сказала, что у меня будет ребенок. Я ведь скрывала это от него, пока было можно. А потом уж пришлось сказать, ничего не поделаешь. Он говорит, что это моя вина и надо было вовремя принять меры. Если бы ты только слышал, чего он мне наговорил! Но я давно поняла, что он совсем не джентльмен. Бросил меня без гроша. И за комнату не заплатил, а чем же мне было платить, раз у меня нет денег? Хозяйка так ругалась, можно было подумать, что я ее обокрала.

— Вы же хотели снять квартиру.

— Он мне вначале это обещал, но кончилось дело тем, что мы сняли меблированные комнаты в Хайбэри. Уж такой сквалыга! Говорил, что я сорю деньгами, а сорить-то было нечем!

У нее была удивительная способность путать главное со всякой ерундой. Филип ничего не понимал. Во всей этой истории было что-то странное.

— Да разве может человек вести себя так подло!

— Ты его не знаешь. Я теперь к нему не вернусь, даже если он станет ползать передо мной на коленях! Дура, зачем только я с ним связалась. И денег он куда меньше зарабатывал, чем хвастал. Врал как сивый мерин!

Надо было что-то предпринять. Его так глубоко тронуло ее горе, что о себе он не думал.

— Хочешь, я съезжу в Бирмингем? Постараюсь его найти и вас помирить.

— Ну, на это нечего рассчитывать. Я его теперь знаю, он ни за что не вернется.

— Но он должен о тебе позаботиться. От этого ему не увильнуть. Правда, я в таких делах плохо разбираюсь, лучше тебе посоветоваться с адвокатом.

— А как я это сделаю, у меня же нет денег.

— Я тебе дам. Нет, лучше напишу записку знакомому адвокату — помнишь, тому спортсмену, который был душеприказчиком у моего отца. Хочешь, сходим вместе хоть сейчас? Он, наверное, у себя в конторе.

— Нет, лучше дай мне к нему письмо. Я схожу сама.

Она немножко успокоилась. Филип написал записку. Но тут он вспомнил, что у нее не было денег. На счастье, он только вчера взял деньги в банке и мог дать ей пять фунтов.

— Спасибо, Филип, это очень мило с твоей стороны.

— Я рад, что могу хоть чем-нибудь тебе помочь.

— Ты до сих пор меня любишь?

— Так же, как раньше.

Она подставила ему губы, и он их поцеловал. В ее движении была покорность, которой он никогда прежде не замечал. За это стоило заплатить любыми муками.

Она ушла, и тут только Филип увидел, что Милдред пробыла у него два часа. Он был так счастлив, что не заметил, как пролетело время.

— Бедняжка, бедняжка, — шептал он, и сердце его было переполнено такой невыразимой нежностью, какой он еще никогда не чувствовал.

Он не вспомнил о Норе до восьми часов, пока от нее не пришла телеграмма. Еще не распечатав ее, он уже понял, от кого эта телеграмма.

«Что-нибудь случилось? Нора».

Филип не знал, что ему ответить, что ему делать вообще. Он мог бы зайти за ней после спектакля, где у нее была выходная роль, и проводить домой, как это часто делал, но вся душа его против этого восставала: он не в силах встретиться с ней сегодня вечером. Он подумал было написать ей, но ему трудно было заставить себя обратиться к ней с обычным «дорогая моя Нора». Наконец он решил дать телеграмму:

«Прости, не смог прийти. Филип».

Он представил себе ее лицо. Какая у нее некрасивая мордочка с этими широкими скулами и слишком ярким румянцем! И кожа ужасно шершавая, бр-р! Филип понимал, что после телеграммы ему придется что-то придумать, но торопиться с этим ему не хотелось.

На следующий день он протелеграфировал опять:

«Сожалею. Прийти не смогу. Напишу».

Милдред сказала, что будет в четыре, а ему не хотелось говорить, что в это время он занят. В конце концов важнее всего она. Он ждал ее с нетерпением. Он не отходил от окна и сам отворил ей входную дверь.

— Ну как? Была у Никсона?

— Да. Он сказал, что ничего не выйдет. Помочь тут ничем нельзя. Придется мне с этим смириться.

— Но это невозможно! — воскликнул Филип.

Она устало опустила на стул.

— Никсон тебе объяснил, почему ничего не выйдет?

Милдред протянула ему измятое письмо.

— Вот твое письмо. Я его никуда не носила. Вчера я не решилась тебе сказать, не могла. Эмиль на мне так и не женился. Он не мог. У него уже есть жена и трое детей.

Филип вдруг почувствовал мучительную ревность. Боль была почти нестерпимой.

— Вот почему я не могла вернуться к тетке. Мне не к кому идти, кроме тебя.

— Но почему ты к нему пошла? — тихо спросил Филип стараясь, чтобы голос у него не дрогнул.

— Почем я знаю? Сначала я и не подозревала, что он женатый, а когда он мне сказал, тут я ему выложила все, что о нем думаю. Потом я его не видела несколько месяцев. Но стоило ему прийти в кафе и попросить меня — уж я и не знаю, что со мною стряслось. Я вдруг почувствовала, что все равно ничего не подделаешь. Я должна была к нему пойти.

— Ты его любила?

— Не знаю. Мне с ним всегда было весело. И что-то в нем есть такое... он сказал, что я не пожалею, пообещал давать мне семь фунтов в неделю, рассказывал, будто сам зарабатывает пятнадцать, но все это было вранье, вовсе он столько не зарабатывал! А мне так осточертело каждое утро ходить на работу, да и с теткой мы не очень-то ладили; она все норовила обращаться со мной как с прислугой, говорила, что я сама должна убирать свою комнату, никто-де за меня убирать не станет! Но, когда он пришел в кафе и

позвал меня, я почувствовала, что ничего не могу с собой поделать.

Филип отошел от нее, сел у стола и опустил голову на руки. Он чувствовал себя страшно униженным.

— Ты на меня сердишься? — спросила она жалобно.

— Нет, — сказал он, подняв голову, но глядя мимо нее. — Мне только очень больно.

— Почему?

— Ну как же, ведь я был так безумно в тебя влюблен. Я делал все, чтобы и ты хоть немножко меня полюбила. Мне казалось, что ты просто не способна любить кого бы то ни было. И страшно подумать, что ты готова была пожертвовать всем ради этого хама. Не понимаю, что ты в нем нашла.

— Мне самой обидно, что так получилось. Если бы ты знал, как я потом каялась, ей-Богу же, правда!

Он подумал об Эмиле Миллере с его одутловатым землистым лицом, светлыми бегающими глазами, о всей его вульгарной фатоватой внешности — он всегда носил ярко-красные вязаные жилеты. Филип вздохнул. Милдред встала и подошла к нему. Она обвила рукой его шею.

— Я никогда не забуду, что ты предложил мне выйти за тебя замуж, Филип.

Он взял ее руки и поглядел ей в лицо. Она нагнулась и поцеловала его.

— Филип, если ты все еще хочешь, я теперь на все согласна. Я ведь знаю, что ты настоящий джентльмен в полном смысле этого слова.

Сердце его замерло. Ему стало почему-то противно.

— Спасибо, но теперь я не могу.

— Ты меня больше не любишь?

— Нет, люблю всей душой.

— Так почему же нам не пожить в свое удовольствие, раз есть возможность? Теперь-то уж все равно.

Он высвободился из ее рук.

— Ты ничего не понимаешь. Я умирал от любви к тебе, с первого раза, как тебя увидел, но теперь... этот тип... К несчастью, у меня есть воображение. От мысли о том, что между вами было, меня начинает мутить.

— Вот дурачок, — сказала она.

Он снова взял ее руки и улыбнулся.

— Ты только не думай, что я не хочу. Ты и представить себе не можешь, как я тебе благодарен, но, понимаешь, тут я с собой совладать не могу.

— Да, ты мне настоящий друг.

Они продолжали свой разговор, и незаметно между ними возникла та близость, которой он так дорожил в прежние времена. Наступил вечер. Филип предложил ей вместе пообедать и сходить в мюзик-холл. Ее пришлось уговаривать: ей ведь казалось, что положение обязывает, а в таком бедственном состоянии, как у нее, женщине неприлично развлекаться. Наконец Филип упросил ее пойти, чтобы доставить ему удовольствие, а коль скоро она могла рассматривать свой поступок как акт самопожертвования, она быстро согласилась. В ней появилась какая-то непривычная, трогавшая Филипа чуткость. Она попросила его свести ее в тот маленький ресторанчик в Сохо, где они так часто бывали; он был бесконечно ей признателен — ведь ее просьба говорила о том, что с этим местом и у нее связаны счастливые воспоминания. Во время обеда она развеселилась. Бургундское из кабачка на углу согрело ее, и она забыла, что ей полагается сохранять постный вид. Филип решил, что теперь самое время поговорить о будущем.

— У тебя, наверное, нет ни гроша за душой? — спросил он, выбрав подходящую минуту.

— Только то, что ты вчера дал, но мне пришлось заплатить три фунта хозяйке.

— Ну что ж, тогда я, пожалуй, дам тебе хотя бы еще десять фунтов. Я схожу к моему адвокату и попрошу его написать Миллеру. Раскошелиться мы его заставим. В этом я уверен. Если мы получим от него хотя бы сто фунтов, ты сможешь протянуть, пока родится ребенок.

— Не возьму я от него ни гроша! Лучше с голоду помру...

— Но ведь это чудовищно — он довел тебя до такой беды и бросил!

— У меня тоже есть самолюбие.

Филип чувствовал себя немножко неловко. Для того чтобы ему хватило денег до получения диплома, ему надо было соблюдать строгую экономию. К тому же следовало оставить хоть небольшую сумму на тот год, который он собирался проработать в отделении терапии и хирургии — либо у себя, либо в какой-нибудь другой больнице. Но Милдред столько рассказывала ему о скупости Эмиля, что он не хотел спорить с ней из-за денег, боясь, что она и его обвинит в недостатке щедрости.

— От него не возьму ни единого гроша. Лучше пойду с протянутой рукой. Я бы уже давно подыскала себе работу, да только боюсь, как бы мне это не повредило в моем по-

ложении. Ничего не поделаешь, приходится думать о своем здоровье, правда?

— Ну, теперь тебе тревожиться нечего, — сказал Филип. — Я обеспечу тебя всем необходимым, пока ты не сможешь работать снова.

— Я так и знала, что могу на тебя положиться. И Эмилю сказала, пусть не думает, что мне не к кому пойти! Я ему всегда говорила, что ты — настоящий джентльмен в полном смысле слова.

Постепенно Филип узнал, как произошел разрыв. Жена этого типа, видимо, провела об интрижке, которую тот завел во время своих наездов в Лондон, и пошла к хозяину фирмы, в которой служил Эмиль. Она грозила разводом, и фирма заявила, что Миллер будет уволен, если жена выполнит свою угрозу. Он был страстно привязан к детям и не мог допустить мысли о том, что его с ними разлучат. Когда перед ним встал выбор между женой и любовницей, он выбрал жену. Боясь связать себя еще сильнее, Миллер настаивал, чтобы у них ни под каким видом не было детей, и, когда Милдред уже больше не могла скрывать, что у нее будет ребенок, и сообщила ему об этом, Миллера охватил ужас. Воспользовавшись какой-то размолвкой, он ее бросил без всяких церемоний.

— Когда, по-твоему, ты должна родить? — спросил Филип.

— В начале марта.

— Через три месяца.

Надо было решить, что делать дальше. Милдред заявила, что ни за что не останется в своих комнатах в Хайбэри, и Филипу тоже казалось удобным, чтобы она жила к нему поближе. Он пообещал присмотреть завтра что-нибудь подходящее. Она заявила, что ей хотелось бы поселиться на Воксхолл-Бридж-роуд.

— И недалеко будет ехать.

— Куда?

— Да ведь я проживу на квартире месяца два, не больше, а потом мне надо лечь в родильный приют. Я знаю одно очень приличное заведение, куда не пускают всякую шушереу и берут всего четыре гинеи без всяких накидок. Ну, конечно, за врача платишь отдельно, но это все. Там лежала одна моя приятельница, а хозяйка лечебницы — леди с головы до ног. Я ей скажу, что мой муж — офицер, служит в Индии, а я по состоянию здоровья приехала рожать в Лондон.

Филип с трудом верил своим ушам. Тонкие черты лица и нежная кожа придавали ей такой бесстрастный, такой девственный вид. Когда он думал о пылавших в ней страстях, сердце его невольно сжималось. Кровь молоточками была в виски.

ГЛАВА 70

Вернувшись к себе, Филип рассчитывал получить письмо от Норы, но его не было; он ничего не получил и на другое утро. Ее молчание раздражало и в то же время пугало его. Когда он был в Лондоне, они виделись ежедневно; ей должно показаться странным, что он пропустил целых два дня и никак не объяснил своего отсутствия; неужели она случайно встретила его где-нибудь с Милдред? Ему было неприятно думать, что она обижена или огорчена, и он решил зайти к ней после обеда. Он уже чуть ли не был готов обвинить ее в том, что связался с нею. Мысль, что отношения эти могут продолжаться, была ему теперь противна.

Он нашел для Милдред две комнаты во втором этаже дома на Воксхолл-Бридж-роуд. Там было шумно, но он знал, что она любит уличный грохот.

— Терпеть не могу, когда улица похожа на кладбище: целый день живой души за окном не увидишь, — говорила она. — То ли дело, когда все кругом кипит!

Потом Филип вынудил себя пойти на Винсент-сквер. Он с трепетом позвонил, зная, что его ожидает. Ему было не по себе из-за того, что он так обошелся с Норой; его страшили ее упреки; он знал, что характер у нее вспыльчивый, а он не выносил скандалов; может быть, самое лучшее — это сказать ей откровенно, что вернулась Милдред и он ее по-прежнему любит; ему страшно жаль, что так получилось, но увы! С Норой его больше ничего не связывает, однако он тут же представил себе, как ей будет горько, — она ведь его любит; прежде ему это льстило, он ей был так благодарен, а теперь он не мог подумать без ужаса о том, чтобы продолжать с ней связь. Но она не заслуживает того, чтобы он заставлял ее страдать. Филип спрашивал себя, как она его встретит, и, подымаясь по лестнице, гадал, что она ему сейчас скажет. Он постучал в дверь. Чувствуя, что он очень бледен, Филип не знал, как ему скрыть волнение.

Нора что-то усердно писала, но поспешно вскочила, как только он вошел.

— Я узнала твои шаги! — воскликнула она. — Где ж это ты пропадал, негодный мальчишка?

Нора весело подбежала и обняла его за шею. Она была очень рада его видеть. Он тоже поцеловал ее, а потом, желая выиграть время, заявил, что до смерти хочет чаю. Нора помешала огонь в камине, чтобы чайник поскорее вскипел.

— Я был ужасно занят, — не очень уверенно промямлил Филип.

Она принялась болтать с обычной своей живостью; рассказала о заказе на повестушку, полученном от издательства, для которого еще ни разу не писала. Ей было обещано за нее целых пятнадцать гиней!

— Деньги эти все равно что с неба упали. Знаешь, что мы на них сделаем? Устроим маленькую прогулку. Давай проведем день в Оксфорде. Мне так хочется поглядеть университет.

Он всматривался в ее лицо, нет ли в глазах хотя бы тени упрека, но взгляд у нее был такой же открытый и веселый, как всегда; она была счастлива, что его видит.

Сердце у него упало. Он не решался сказать ей все наистоту.

Она поджарила хлеб, нарезала маленькими кусочками и стала кормить его, как ребенка.

— Ну как, звереныш, сыт? — спросила она.

Он, улыбаясь, кивнул, и она зажгла ему сигарету. Потом по своей привычке уселась к нему на колени. Она была очень маленькая и совсем ничего не весила. Прижавшись к его плечу, Нора сладко вздохнула.

— Ну, скажи что-нибудь хорошее, — шепнула она.

— Что тебе сказать?

— Сделай усилие и выдумай, будто я тебе нравлюсь.

— Ты же знаешь, что этого мне не надо выдумывать.

У него не хватило духу сказать ей в эту минуту правду. Он не станет ее расстраивать хотя бы сегодня; лучше, пожалуй, написать. Так будет легче. Он не сможет вынести ее слез. Она заставила его себя поцеловать, и, целуя ее, он думал о Милдред, о бледном рте Милдред, о ее тонких губах. Воспоминание о Милдред было неотступным и куда более осязаемым, чем простое воспоминание; ее образ поглощал все его мысли.

— Ты сегодня какой-то тихий, — сказала Нора.

Ее любовь поболтать была у них предметом постоянных шуток; он ответил:

— Ты никогда не даешь мне вставить словечко, вот я и разучился разговаривать.

— Но ты и не слушаешь, а это уже некрасиво.

Он слегка покраснел, испугавшись, не догадывается ли она о его тайне, и смущенно отвел глаза. Сегодня ее легкое тело казалось ему тяжким грузом; ему было неприятно даже ее прикосновение.

— У меня затекла нога, — сказал он.

— Прости ради Бога! — воскликнула она и вскочила. — Если я не отучусь от привычки сидеть у мужчин на коленях, мне придется подумать о том, как сбавить вес.

Он старательно притоптывал, делая вид, будто разминает замлевшую ногу. Потом подошел к огню, чтобы она не смогла опять сесть к нему на колени. Слушая ее веселый щебет, он думал, что Милдред не стоит ее подметки. Нора умела его развеселить, с ней занятно разговаривать, она умнее и куда лучше как человек. Нора — хорошая, смелая и честная женщина, а Милдред, как ни горько в этом признаться, не заслуживает ни одного доброго слова. Если у него есть хоть капля здравого смысла, он останется с Норой, с ней ему будет куда лучше. К тому же она его любит, а Милдред только признательна ему за помощь. Но, что ни говори, главное — это любить самому, а не быть любимым, и его всем существом тянуло к Милдред. Десять минут, проведенных с нею, ему куда дороже целого дня с Норой; поцелуй холодных губ Милдред ему нужнее, чем все, что может дать ему Нора.

«Ничего не могу с собой поделать, — думал он. — Она меня просто приворожила».

Ему было все равно, что она бессердечна, развратна и глупа; его не пугали ни ее жадность, ни ее пошлость — он ее любил. Лучше какие угодно мучения с ней, чем счастье с другой.

Когда он собрался уходить, Нора спросила, словно незначай:

— Ну, а как же завтра, я тебя увижу?

— Да, — ответил он.

Он знал, что не сможет прийти, потому что должен помочь Милдред перебраться на новую квартиру, но у него не хватало мужества сказать «нет». Он решил, что пошлет телеграмму.

Милдред утром посмотрела комнаты, осталась ими довольна, и после обеда Филип поехал с ней в Хайбэри. У нее были сундук для платьев, другой сундук для всякой всячи-

ны: подушечек, платков, которыми она покрывала абажуры, рамок — это, по ее мнению, придавало комнатам уют — и, кроме того, две или три большие коробки, но весь ее багаж в общем поместился на крыше кареты. Когда они проезжали по Виктория-стрит, Филип забился в самую глубь экипажа, чтобы его не заметила Нора, если бы она случайно попала им навстречу. Он не успел дать телеграмму и не мог ее послать из почтовой конторы на Воксхолл-Бридж-роуд, потому что ее удивило бы, как он попал в этот район, а если уж он туда попал, то почему не зашел на соседнюю площадь, где она жила. Он решил, что лучше, пожалуй, все-таки зайти к ней хоть на полчаса, однако эта необходимость раздражала его; он злился на Нору за то, что она вынуждала его идти на пошлые и унижительные увертки. Зато он был счастлив, что рядом с ним Милдред. Ему нравилось разбирать вместе с ней вещи, и он испытывал пленительное чувство обладания, устраивая ее на этой квартире, — ведь это он выбрал ее и за нее платил. Он не разрешал Милдред утомляться. Помогать ей доставляло ему удовольствие, а она отнюдь не стремилась делать сама то, что за нее соглашались делать другие. Он распаковал и развесил ее платья. Так как она, видимо, не собиралась никуда выходить, Филип подал ей комнатные туфли и снял с нее ботинки. Услуживать ей было для него наслаждением.

— Ты меня портишь, — сказала она, ласково ероша его волосы, когда он стоял перед ней на коленях и расстегивал ботинки.

Он схватил ее руки и стал целовать.

— Какое счастье, что ты здесь, со мной!

Он разложил по местам подушечки и расставил фотографии. У нее было несколько ваз из зеленой глины.

— Я тебе принесу цветов, — сказал Филип.

Он с гордостью оглядел комнату.

— Раз я больше никуда сегодня не выйду, я надену пеньюар, — сказала она, — ну-ка, расстегни мне сзади платье.

Она спокойно повернулась к нему спиной, словно он был женщиной. Да как мужчина он для нее и не существовал. А его сердце переполнилось благодарностью — ведь такая просьба была признанием близости. Он расстегнул крючки неловкими пальцами.

— Первый раз, когда я увидел тебя в кафе, мне и в голову не могло прийти, что я когда-нибудь стану расстегивать тебе платье, — сказал он с деланным смехом.

— Да ведь кому-нибудь надо же его расстегнуть.

Она вышла в спальню и накинула бледно-голубой пеньюар, отделанный массой дешевых кружев. Тогда Филип усадил ее на диван и приготовил чай.

— К великому сожалению, я не смогу выпить с тобой чаю, — сказал он огорченно. — У меня тут неподалеку одно ужасно противное дело. Но через полчаса я вернусь.

Он боялся, что она вдруг спросит, какое у него дело, но Милдред не проявила ни малейшего интереса. Когда Филип платил за комнаты, он заказал обед на двоих и намеревался спокойно провести с ней вечер. Ему так не терпелось поскорее вернуться, что он сел в трамвай, который шел по Воксхолл-Бридж-роуд. Он решил сразу же сообщить Норе, что не сможет пробыть у нее больше чем несколько минут.

— Знаешь, я ведь зашел только на тебя взглянуть, — сказал он, войдя в комнату. — Я ужасно занят.

Лицо у нее вытянулось.

— А что случилось?

Его злило, что она вынуждает его лгать, и он почувствовал, как краснеет, рассказывая ей, что у них в больнице практические занятия, которые он не может пропустить. Ему показалось, что она смотрит на него с недоверием, и это еще больше вывело его из себя.

— Ну что ж, ладно, — сказала она. — Зато мы пробуем вместе весь завтрашний день.

Он растерянно на нее поглядел. На другой день было воскресенье, и Филип мечтал провести его с Милдред. Этого, уверял он, требует простая порядочность: не может ведь он бросить ее одну в чужом доме!

— Ты меня, пожалуйста, прости, но завтра я тоже занят.

Он понимал, что сейчас разыграется сцена, которой ему больше всего на свете хотелось избежать. Щеки Норы запылали.

— Но я ведь пригласила Гордонов на обед. (Это были актеры, муж и жена, которые играли в провинции и на воскресный день приезжали в Лондон.) Я тебя предупредила об этом неделю назад.

— Ты меня, пожалуйста, прости, но я совсем забыл. — Он запнулся. — Боюсь, что никак не смогу прийти. Ты никого не можешь позвать вместо меня?

— А что же ты завтра делаешь?

— Мне не нравится этот допрос.

— Ты мне не хочешь сказать?

— Пожалуйста, я скажу, но, ей-Богу же, противно, когда тебя заставляют отчитываться в каждом твоём шаге!

Нора вдруг переменяла тон. Сделав над собой усилие, она сдержалась и, подойдя, взяла его за руки.

— Ну, прошу тебя, не огорчай меня, Филип. Я так мечтала провести завтрашний день с тобой. И Гордоны очень хотят тебя видеть, мы чудесно проведем время!

— Да я бы с радостью пришел, если бы мог.

— Я ведь человек нетребовательный, правда? Я не часто тебе надоедаю с просьбами. Неужели ты не можешь отменить свое гадкое свидание — ну хотя бы в этот раз?

— Ты меня, пожалуйста, прости, но я, право же, не знаю, как это сделать, — ответил он ей сердито.

— Ну скажи мне, куда ты должен идти? — спросила она его очень ласково.

Теперь она уже не смогла поймать его врасплох.

— Приехали сестры Гриффитса, и мы должны их куда-нибудь сводить.

— И это все? — обрадовалась Нора. — Ну, Гриффитсу нетрудно будет найти кого-нибудь другого.

Он пожалел, что не придумал отговорки посерьезнее. Ложь была глупая.

— Нет, ты меня, пожалуйста, прости, никак не могу. Я обещал, и мне нельзя не сдержать слово.

— Но ты же обещал и мне. Ведь я-то как-никак важнее.

— Ты зря настаиваешь, — сказал он.

Она разозлилась.

— А ты так и скажи, что не придешь потому, что не хочешь? Не знаю, что ты делал последние дни, но тебя словно подменили.

Он взглянул на часы.

— Пожалуй, мне пора.

— Значит, ты завтра не придешь!

— Нет.

— Тогда не трудись приходить вообще! — закричала она, совсем потеряв самообладание.

— Как тебе будет угодно.

— Не смею вас больше задерживать, — произнесла она с иронией.

Пожав плечами, он вышел. Его радовало, что он отделался так легко. Слез, во всяком случае, не было. По дороге к Милдред он поздравлял себя, что удачно выпутался из этой истории. Он зашел на Виктория-стрит и купил Милдред цветов.

Их маленькое новоселье прошло очень удачно. Филип принес небольшую баночку икры — он знал, что Милдред очень ее любит, а хозяйка подала отбивные с овощным гарниром и сладкое. Филип заказал бургундское — вино, которое Милдред всегда предпочитала другим напиткам. Когда опустили занавески, затопили камин и повесили лампы одним из привезенных Милдред платков, в комнате стало очень уютно.

— Ей-Богу, я чувствую себя здесь совсем как дома, — улыбнулся Филип.

— Да, мне могло быть хуже, — ответила Милдред.

Когда они поели, Филип пододвинул два кресла к огню. Он устроился поудобнее и закурил трубку. Ему было хорошо и радостно.

— Куда бы ты хотела завтра пойти? — спросил он.

— Завтра я поеду в Талс-хилл. Помнишь нашу заведующую? Она вышла замуж. Пригласила меня провести у нее денек; небось думает, что и я тоже замужем.

У Филипа сжалось сердце.

— А я отказался от приглашения на обед, чтобы провести воскресенье с тобой.

Он подумал: если Милдред его любит, она скажет, что в таком случае останется с ним. Он знал, что Нора бы так поступила не задумываясь.

— Ну и дурачок, что отказался. Я уже чуть не три недели назад пообещала к ней приехать.

— Но как же ты сможешь поехать одна?

— Да скажу, что Эмиль уехал по делам. Ее муж служит в перчаточном деле, очень шикарный господин.

Филип молчал, сердце его было переполнено горечью. Она искоса на него поглядела.

— Неужели тебе жалко, что я чуточку развлекусь? Сам знаешь, это в последний раз. Я ведь долго не смогу куда-нибудь выйти. Да и потом, я обещала!

Он взял ее руку и улыбнулся.

— Нет, дорогая, я буду очень рад, если ты повеселишься. Единственное, чего я хочу — это чтобы тебе было хорошо.

На диване обложкой кверху лежала открытая книга; Филип рассеянно поднял ее и прочел заглавие. Это был выпуск грошовой серии романов. Имя автора — Кортней Пэйджет. Под этим псевдонимом писала Нора.

— Ох, до чего же я люблю его книги, — сказала Милдред. — Я их все прочла, все до единой. Он все так благо-родно описывает!

Филип вспомнил, что Нора ему как-то сказала: «Я пользуюсь редким успехом у судомоек. Они считают меня ужасно светской!»

ГЛАВА 71

В ответ на излияния Гриффитса Филип поведал ему о своих любовных невзгодах, и в воскресенье после завтрака, когда они курили, сидя в халатах у камина, он описал товарищу вчерашнее происшествие. Гриффитс поздравил его с тем, что он так ловко выпутался из своих затруднений.

— Нет ничего проще, чем завести роман с женщиной, — заметил он наставительно, — но как дьявольски трудно от нее отвязаться.

Филипу так и хотелось погладить себя по головке за ту ловкость, с какой он разделался с Норой. Он чувствовал безмерное облегчение. Думая о том, как Милдред развлекается в Талс-хилле, он искренне за нее радовался. С его стороны это было жертвой — ведь он заплатил за ее удовольствие отказом от своего собственного, и душу его согревало сознание, что он поступил по-рыцарски.

Но в понедельник утром он нашел у себя на столе письмо от Норы. Она писала:

«Мой самый дорогой на свете!

Мне очень тяжело, что я в субботу на тебя рассердилась. Прости меня и приходи, как всегда, после обеда пить чай. Я тебя люблю.

Твоя Нора»

На душе у него стало тяжело; он не знал, что делать. Взяв записку, он понес ее Гриффитсу.

— Лучше ничего не отвечай, — посоветовал тот.

— Не могу! — воскликнул Филип. — Мне больно будет думать, что она меня ждет... Ты не знаешь, что такое прислушиваться с замирающим сердцем, не постучит ли почтальон. А я знаю и не могу подвергать таким мучениям другого.

— Дорогой друг, нельзя покончить с романом, не заставляя кого-нибудь страдать. Крепись, решайся. Единственное утешение в том, что все это скоро проходит.

Филип знал, что Нора ничем не заслужила того, чтобы ее заставлять страдать. И разве Гриффитсу понять переживания Норы? Он вспомнил, как мучительно больно ему было, когда Милдред сказала, что выходит замуж. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь испытал то, что он сам испытал в те дни.

— Если тебе неприятно, что ты причиняешь ей боль, вернись к ней, и баста! — сказал Гриффитс.

— Не могу!

Он встал и нервно заходил по комнате. Он злился на Нору за то, что она не понимает неизбежности конца. Ведь должна же она видеть, что у него не осталось к ней больше никакого чувства. А говорят, что женщины сразу замечают такие вещи.

— Ты мог бы мне помочь, — сказал он Гриффитсу.

— Милый мой, перестань ты, Бога ради, делать из мухи слона. Никто, поверь мне, от этого не умирает. Да она совсем не так тебя боготворит, как ты думаешь. Человеку свойственно преувеличивать страсть, которую он пробуждает в других.

Он помолчал и насмешливо поглядел на Филипа.

— Послушай, я могу тебе посоветовать только одно. Напиши ей, что между вами все кончено. И напиши прямо, чтобы у нее не оставалось никаких сомнений. Ей будет неприятно, но это куда лучше, чем тянуть волюнку.

Филип сел и написал Норе:

«Дорогая!

Мне очень тяжело тебя огорчать, но, по-моему, будет лучше, если в наших отношениях все останется так, как это было решено в субботу. Мне кажется бессмысленным продолжать дальше то, что перестало радовать нас обоих. Ты предложила мне уйти, и я ушел. И не собираюсь возвращаться обратно. Прощай.

Филип Кэри»

Он показал письмо Гриффитсу и спросил его мнение. Гриффитс пробежал листок, поглядел на Филипа смеющимися глазами и сказал:

— Думаю, что этого будет достаточно.

Филип отправил письмо. Утро у него прошло тревожно — он непрерывно думал о том, что переживает Нора, получив его послание. Он терзался, представляя себе, как она плачет. Но в то же время чувствовал и облегчение. Воображаемое горе куда легче сносить, чем горе, которое видишь воочию, зато он теперь был свободен и мог целиком отдаться своей любви к Милдред. Сердце его трепетало при мысли, что он ее сегодня увидит, как только кончит работу в больнице.

Он, как всегда, зашел домой привести себя в порядок после занятий, но не успел еще вставить ключ в дверь, как услышал за спиной голос.

— Можно войти? Я тебя жду уже полчаса.

Это была Нора. Филип почувствовал, что краснеет до корней волос. Голос у нее был веселый, в нем не звучало ни тени недовольства, а по ее поведению никто бы не догадался, что между ними произошел разрыв. Филип почувствовал себя загнанным в тупик. Его мутило от страха, но он силился улыбнуться.

— Входи, — сказал он.

Он отпер дверь, и она прошла в гостиную. Филип очень нервничал и, чтобы овладеть собой, предложил ей сигарету и закурил сам. Глаза ее смотрели открыто и ясно.

— Ну зачем ты, негодный, написал мне такое гадкое письмо? Хорошо, что я не приняла его всерьез, не то я страшно бы расстроилась.

— Но писал я его всерьез, — ответил он без улыбки.

— Не говори глупостей. Я, правда, в субботу погорячилась и вышла из себя, но потом я же первая попросила прощения! Тебе, видно, этого было мало, вот я и пришла, чтобы извиниться еще раз. Ты в конце концов сам себе хозяин, я не имею на тебя никаких прав. И не хочу насиловать твою волю...

Она вскочила с кресла и порывисто подбежала к нему.

— Давай помиримся! Прости, если я тебя обидела!

Он не успел помешать ей взять себя за руки, но сразу же отвел глаза.

— Боюсь, что теперь уже поздно, — сказал он.

Она опустила руку возле его кресла на пол и обняла его колени.

— Филип, не дури. Я ведь тоже вспыльчивая и понимаю, что ты мог на меня обидеться, но смешно же столько времени дуться! Зачем тебе портить жизнь нам обоим? Нам так хорошо вместе. — Она ласково погладила его руку. — Я тебя люблю, Филип.

Он встал, разжал ее пальцы и отошел в другой конец комнаты.

— Мне самому тяжело, но я ничего не могу с собой поделать. Между нами все кончено.

— Значит, ты меня больше не любишь?

— К несчастью, нет.

— Ты просто искал повода, чтобы меня бросить, и вот наконец нашел, верно?

Он ничего не ответил. Нора долго не сводила с него глаз. Она так и осталась сидеть на полу, прижавшись к креслу. Потом она тихонько заплакала, не пряча лица, и крупные

слезы, одна за другой, покатались у нее по щекам. Она не всхлипывала. Смотреть на нее было очень тяжело. Филипп отвернулся.

— Мне ужасно грустно, что я заставляю тебя страдать. Но я не виноват, я тебя не люблю.

Она ничего не ответила. Она продолжала сидеть неподвижно, и слезы ручьем текли у нее по лицу. Ему было бы куда легче, если бы она стала его упрекать. Он ждал, что она вспылит, и готов был встретить ее гнев. В глубине души он надеялся, что его поведение будет оправдано настоящей ссорой и обидными словами, которые они скажут друг другу. Время шло. Наконец ее молчаливые слезы стали не на шутку его пугать, он пошел в спальню и принес ей стакан воды.

— Может, выпьешь глоточек? Тебе станет легче.

Она покорно потянулась к стакану и отпила несколько глотков. Потом еле слышно попросила у него носовой платок и вытерла глаза.

— Конечно, я всегда знала, что ты не любишь меня так, как я тебя, — прошептала она.

— Увы, так всегда и бывает, — сказал Филипп. — Один любит, а другой разрешает, чтобы его любили...

Он подумал о Милдред, и в груди у него больно заныло. Нора долго ничего не отвечала.

— Я была очень несчастна, моя жизнь была просто невыносима... — сказала она наконец.

Говорила она не ему, а себе самой. Он никогда прежде не слышал от нее жалоб на жизнь с мужем или на бедность. Его всегда изумляла ее стойкость.

— А потом я встретила тебя, и мне было с тобой так хорошо. Я восхищалась тем, что ты такой умный, и потом, разве не счастье найти человека, в которого можно верить! Я тебя полюбила. Мне казалось, что у нас с тобой это навсегда. И я ведь ни в чем перед тобой не виновата.

У нее снова закапали слезы, но теперь она уже овладела собой и прикрыла лицо носовым платком Филиппа. Она старалась держать себя в руках.

— Дай мне еще воды, — попросила она.

Она вытерла глаза.

— Прости, я так глупо себя веду. Но все это было для меня неожиданно.

— Прости ты меня, ради Бога, что так получилось. Но ты знай: я тебе бесконечно благодарен за то, что ты для меня сделала.

Он не понимал, что она в нем нашла.

— О Господи, — вздохнула она, — всегда одно и то же! Если хочешь, чтобы мужчина хорошо к тебе относился, веди себя с ним как последняя дрянь; а если ты с ним обращаешься по-человечески, он из тебя вымотает всю душу.

Она поднялась с пола и сказала, что ей пора. Кинув на Филипа долгий пристальный взгляд, она тяжело вздохнула.

— Непонятно. Что же все это значит?

Филип внезапно решил.

— Пожалуй, лучше, если я скажу тебе правду. Мне не хочется, чтобы ты слишком дурно обо мне думала. Пойми, я ничего не могу с собой поделать. Милдред вернулась.

Кровь бросилась ей в лицо.

— Почему же ты мне сразу не сказал? Неужели я не за-служила хотя бы этого?

— Не решался.

Она поглядела на себя в зеркало и поправила шляпку.

— Позови мне, пожалуйста, извозчика, — сказала она. — Что-то мне трудно идти.

Он вышел и остановил проезжавшую мимо пролетку, но, когда Нора пошла за ним к двери, его испугала ее бледность. В походке ее появилась какая-то усталость, словно она вдруг постарела. Вид у нее был совсем больной; у него не хватило духа отпустить ее одну.

— Если ты не возражаешь, я тебя провожу.

Она ничего не ответила, и Филип сел с ней на извозчика. Они молча переехали через мост и покатали по убогим улицам, где на мостовой с шумом возились дети. Когда они подъехали к ее дому, она вышла не сразу. Казалось, ей трудно собраться с силами и встать.

— Надеюсь, ты простишь меня, Нора?

Она поглядела на него, и Филип увидел, что глаза ее снова блестят от слез, но она силится улынуться.

— Бедняжка, ты очень за меня встревожился. Не волнуйся. Я тебя не виню. И как-нибудь все это переживу, будь спокоен.

Быстрым, легким движением она погладила его по лицу, показывая, что не сердится на него; прикосновение было еле приметным; потом она выскочила из пролетки и вбежала в дом.

Филип расплатился с извозчиком и пешком дошел до квартиры Милдред. На сердце его была непонятная тяжесть. Он чувствовал за собой какую-то вину. Но в чем? Что он мог поделать? Проходя мимо фруктовой лавки, он вспомнил,

что Милдред с удовольствием ест виноград. Как хорошо, что он может доказать свою любовь, потакая каждой ее прихоти!

ГЛАВА 72

В течение трех месяцев Филип ежедневно навещал Милдред. Он брал с собой учебники и после чая садился заниматься, а Милдред, растянувшись на диване, читала романы. Время от времени он отрывался от книги и глядел на нее. На лице у него появлялась счастливая улыбка. Почувствовав его взгляд, она говорила:

— Дурачок, опять на меня смотришь? Работай, не теряй времени.

— Деспот! — шуточно упрекал он ее.

Входила хозяйка, чтобы накрыть на стол к обеду, и, отложив книги в сторону, Филип весело с ней болтал. Это была простая женщина, средних лет, с природным юмором и бойким языком. Милдред очень с ней подружилась и рассказала ей путаную и малоправдоподобную историю о том, как она очутилась в столь бедственном положении. Добро-сердечная женщина была растрогана и просто из сил выбивалась, чтобы скрасить Милдред ее долю. Милдред в угоду приличиям решила выдать Филипа за своего брата. Обедали они вместе, и Филип радовался, когда ему удавалось придумать какое-нибудь блюдо, которое пришлось бы по вкусу привередливой Милдред. Он был так счастлив, видя ее за столом напротив себя, что то и дело в приливе чувств хватал ее руку и сжимал в своей. После обеда Милдред садилась в кресло у камина, а он устраивался на полу у ее ног, прижимался к ее коленям и блаженно курил. Часто они сидели молча, иногда Филип замечал, что она дремлет. Тогда, не смея пошевелиться, чтобы ее не разбудить, он лениво поглядывал в огонь и наслаждался своим счастьем.

— Хорошо вздремнула? — с улыбкой спрашивал он, когда Милдред просыпалась.

— Я и не думала спать, — уверяла она, — только на минутку закрыла глаза.

Она никогда не признавалась в том, что спала. У нее был такой вялый характер, что беременность несколько ей не мешала. Она очень пеклась о своем здоровье и принимала советы каждого, кто не ленился их давать. По утрам, если погода была хорошая, она отправлялась на прогулку «для моциона» и проводила положенное время на воздухе.

Когда было не слишком холодно, она сидела на скамеечке в Сент-Джеймском парке. Однако весь остаток дня она с удовольствием валялась на диване, глотая один бульварный роман за другим или болтая с хозяйкой; у нее был неистощимый интерес к сплетням, и она рассказывала Филипу подробные биографии хозяйки, жильцов верхнего этажа и соседей справа и слева. Время от времени ее охватывал панический страх: она жаловалась Филипу, как больно рожать, — она боялась умереть. Она подробно излагала ему, как проходили роды у хозяйки и у жилицы верхнего этажа (Милдред не была с ней знакома: «Не в моем характере якшаться с кем попало, — говорила она. — Я не из таких, кто со всяким запанибрата»), и смаковала подробности со странной смесью ужаса и сладострастия; однако, если не считать этих приступов страха, она спокойно ждала своего срока.

— В конце концов не я первая рожаю детей. Да и доктор говорит, что все идет нормально. Сложение у меня хорошее.

Доктора ей рекомендовала миссис Оуэн — хозяйка родильного приюта, в который она собиралась лечь, когда придет время, и Милдред ходила к нему каждую неделю. Ему надо было заплатить пятнадцать гиней.

— Конечно, я могла устроиться и подешевле, но миссис Оуэн усиленно его рекомендовала, и мне казалось, что нечего тут скаредничать.

— Была бы ты спокойна, расходы меня ничуть не смущают, — говорил Филип.

Она принимала все, что делал для нее Филип, как должное; ему же было приятно тратить на нее деньги; каждый раз, когда он ей давал билет в пять фунтов, сердце у него чуть-чуть трепетало от горделивой радости, а давать приходилось часто, потому что она была расточительна.

— Понятия не имею, куда деваются деньги, — признавалась она сама. — Так и текут между пальцев.

— Не огорчайся, — утешал ее Филип. — Я так рад, что могу хоть что-нибудь для тебя сделать.

Она не была мастерицей шить и поэтому не готовила приданого для ребенка; она сказала Филипу, что дешевле купить все в магазине. Филип незадолго до того продал часть закладных, в которые был помещен его капитал; в банке у него теперь лежало пятьсот фунтов, он собирался купить на них ценные бумаги, которые легко продать, и чувствовал себя богачом. Они с Милдред часто разговаривали о

будущем. Филипу очень хотелось, чтобы Милдред оставила ребенка у себя, однако она отказывалась держать его дома: ей надо работать, а с ребенком это будет куда труднее. Милдред предполагала снова поступить в одно из кафе той фирмы, в которой она служила раньше, а ребенка можно отдать на воспитание в деревню.

— Я найду порядочную женщину, которая согласится смотреть за ним и возьмет не больше семи с половиной шиллингов в неделю. Так будет лучше и мне, и ему.

Это решение казалось Филипу бессердечным, но, когда он попытался ее переубедить, она сразу же обвинила его в том, что он жалеет деньги.

— А ты не беспокойся, — говорила она. — Тебя платить я не заставлю.

— Ты же знаешь, что денег для тебя я не жалею.

В глубине души она надеялась, что ребенок родится мертвым. Она как-то раз на это намекнула, и Филип понял, что она лелеет эту мысль. Сначала его это возмутило, но потом, поразмыслив, он вынужден был признать, что для всех них так было бы лучше всего.

— Легко говорить красивые слова, — сварливо ворчала Милдред, — а ты попробуй на месте одинокой девушки, да еще с ребенком, заработать себе на хлеб.

— К счастью, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь, — улыбнулся Филип, дотрагиваясь до ее руки.

— Да, ты хороший!

— Какая чепуха!

— Только не думай, что я не хочу отплатить тебе за все, что ты для меня делаешь.

— Бог с тобой, не нужна мне никакая плата! Если я пытаюсь тебе помочь, я делаю это потому, что тебя люблю. Ты мне ничем не обязана. Мне от тебя ничего не нужно, если ты меня не любишь.

Его ужасало, что она считает свое тело товаром, которым может хладнокровно расплачиваться за оказанные ей услуги.

— Но я хочу тебя отблагодарить, Филип. Ты столько мне сделал добра!

— Ну что же, время терпит. Когда ты придешь в себя, мы с тобой отпразднуем наш маленький медовый месяц.

— Ах ты, бесстыдник! — улыбнулась она.

Милдред должна была рожать в начале марта и собиралась, как только оправится, пожить недели две у моря; это даст возможность Филипу спокойно подготовиться к экзаменам; потом будет пасха, и на праздники они решили

съездить в Париж. Филипп без устали рассказывал о том, что они там будут делать. В это время года Париж прелестен. Они снимут комнату в Латинском квартале, в маленькой гостинице, которую он знает; будут есть в разных чудесных ресторанчиках, ходить в театр; он сводит ее в мюзик-холл. Ей будет интересно познакомиться с его друзьями. Он часто рассказывал ей о Кроншоу, она его увидит; там теперь и Лоусон — он поехал месяца на два в Париж; они сходят в «Баль Бюлье», побродят по городу, съезжают в Версаль, Шартр и Фонтенбло.

— Это будет стоить кучу денег, — сказала она.

— Наплевать на деньги! Ты лучше подумай, как я об этом мечтаю! Разве ты не видишь, что это для меня значит? Ведь я никогда никого не любил, кроме тебя. И никого не люблю.

Она выслушивала его восторженные излияния с улыбкой. Ему казалось, что он читает в ее глазах какую-то новую нежность, и сердце его было полно признательности. Она стала куда мягче, чем прежде. Теперь в ней не было той заносчивости, которая так его раздражала. Она к нему привыкла и уже не старалась казаться тем, чем не была на самом деле. Ей уже ни к чему было укладывать волосы в вычурные прически, она просто закручивала их узлом; рассталась она и с пышной челкой, и все это ей очень шло. Лицо у нее так похудело, что глаза казались огромными, под ними лежали темные тени, а бледность щек еще больше подчеркивала глубокую синеву глаз. В ней появилась какая-то незащищенность, делавшая ее невыразимо трогательной. Филиппу казалось, что она похожа на мадонну. Ему бы хотелось, чтобы их мирной жизни не было конца. Он еще никогда не был так счастлив.

Филипп уходил от Милдред часов в десять: она любила рано ложиться спать, а ему нужно было позаниматься еще часа два, чтобы хоть как-нибудь возместить потерянный вечер. Перед уходом он обычно расчесывал ей волосы. Прощание с ней он превратил в целый обряд: сначала он целовал ей ладони (пальцы стали такие худенькие, зато ногти были по-прежнему красивые, недаром она уделяла уходу за ними столько времени), потом целовал закрытые веки — сначала правый глаз, а затем левый и, наконец, губы. Он шел домой, и сердце у него было до краев переполнено любовью. Ему так хотелось пожертвовать собой ради этой любви, что он ждал только подходящего случая. Но вот для Милдред пришло время ложиться в родильный

приют. Теперь Филип мог посещать ее только в послеобеденные часы. Милдред изменила версию своего рассказа и разыграла роль жены военного, которому пришлось вернуться в свой полк в Индию, а Филип был представлен хозяйке заведения, как муж сестры.

— Мне тут надо держать ухо востро, — сказала ему Милдред. — Рядом лежит жена чиновника индийской администрации.

— На твоём месте я бы не очень беспокоился, — уговаривал ее Филип. — Не сомневаюсь, что ваши мужья отправились в Индию на одном и том же корабле.

— На каком корабле? — спросила она наивно.

— На «Летучем голландце».

Милдред благополучно разрешилась дочерью. Филипу позволили взглянуть на ребенка, тот лежал рядом с матерью. Милдред была очень слаба, но довольна, что все ее страхи кончились. Она показала Филипу младенца, сама поглядывала на него с любопытством.

— Какое смешное, правда? Просто не верится, что оно мое.

«Оно» было красное, сморщенное и очень забавное. Глядя на ребенка, Филип не мог удержаться от улыбки. Он не знал, что говорят в таких случаях, к тому же его смущало присутствие акушерки; Филип чувствовал, что она не верит путаной истории, которую рассказала ей Милдред, и считает его отцом ребенка.

— Как ты ее назовешь? — спросил Филип.

— Не могу решить, назвать ее Маделейн или же Сесили.

Акушерка оставила их на несколько минут наедине, и Филип, наклонившись, поцеловал Милдред в губы.

— Я так рад, родная, что все уже позади!

Она обвила его шею своими худыми руками.

— Знаешь, Фил, ты вел себя по отношению ко мне, как настоящий джентльмен в полном смысле слова!

— Наконец-то я чувствую, что ты моя. Господи, как я долго этого ждал!

Они услышали, что к дверям подошла акушерка, и Филип поспешно поднялся. Акушерка вошла. На ее губах играла легкая усмешка.

ГЛАВА 73

Через три недели Филип проводил Милдред с ребенком в Брайтон. Она быстро поправилась и выглядела лучше,

чем когда бы то ни было. Ехала она в пансион, где несколько раз проводила воскресные дни с Эмилем Миллером; она написала туда, что мужу пришлось уехать по делам в Германию и она будет жить одна с ребенком. Ей доставляло удовольствие выдумывать небылицы о своем семейном положении, и у нее был недюжинный дар изобретать всякие подробности. Милдред рассчитывала найти в Брайтоне женщину, которая согласится взять ребенка на воспитание. Филипа поразила та черствость, с которой она стремилась поскорее избавиться от младенца, но она довольно здраво убеждала его в том, что бедное дитя лучше куда-нибудь пристроить, пока оно еще не успело привязаться к матери. Филипу казалось, что стоит ей побыть две-три недели с ребенком, и в ней непременно заговорит материнский инстинкт; он надеялся, что это чувство поможет ему убедить Милдред оставить ребенка у себя, но ожидания его не оправдались. Милдред неплохо обращалась с ребенком, делала для него все, что положено; иногда он ее даже забавлял, и она любила о нем рассказывать, но в душе была к нему совершенно равнодушна. Она не чувствовала, что ребенок — это часть ее самой. Ей казалось, что девочка уже похожа на отца. Ее постоянно точила мысль, что она будет делать с ней, когда та станет постарше, и злилась на себя, что была такой дурой и ее родила.

— Эх, кабы я знала тогда все, что знаю теперь! — любила она повторять.

Она смеялась над тем, что Филипа беспокоит судьба ребенка.

— Ты из-за нее поднимаешь такую суматоху, словно она твоя. Представляю себе Эмиля на твоем месте. Вот уж кто не стал бы распускать слюни!

Филип наслушался историй о бесчеловечном обращении с отданными на воспитание детьми и об извергах, которые истязают несчастных ребят, порученных им жестокими, эгоистичными родителями.

— Не болтай глупостей, — говорила Милдред. — Это бывает, если даешь деньги вперед. А когда ты платишь каждую неделю, они стараются, чтобы уход был хороший.

Филип настаивал на том, чтобы Милдред отдала ребенка людям, у которых своих детей нет, и взяла бы с них обещание, что других детей они брать не станут.

— Не торгуйся и не жадничай, — говорил он. — Я предпочту платить полгинеи в неделю и не рисковать, что ребенка будут бить или морить голодом.

— Ну и чудной же ты человек! — засмеялась она.

Беззащитность ребенка казалась Филипу необычайно трогательной. Это было крошечное, уродливое, вечно чем-то недовольное существо. Его рождения ждали со стыдом и душевной болью. Никому он не был нужен. И целиком зависел от того, даст ли ему чужой человек пищу, кров и одежду.

Когда поезд тронулся, Филип поцеловал Милдред. Он поцеловал бы и ребенка, но боялся, что Милдред станет над ним смеяться.

— Ты мне будешь писать? Да, дорогая? А я тебя буду ждать с нетерпением!

— Смотри не провались на экзамене.

Филип и так готовился прилежно, но теперь, когда до экзамена осталось десять дней, он целиком погрузился в занятия. Он должен был выдержать во что бы то ни стало: во-первых, ему не хотелось тратить лишнее время и деньги, а деньги за последние четыре месяца текли рекой; во-вторых, экзамен означал конец зубрежки — студент переходил к занятиям общей медициной, акушерством и хирургией — предметами куда более живыми, чем анатомия и физиология, которые он изучал до сих пор. Филип с интересом ждал второй половины курса обучения. К тому же ему было бы неприятно признаться Милдред, что он потерпел поражение: хотя экзамен был очень трудный и большинство студентов проваливались при первой попытке, Филип знал, что Милдред будет им недовольна, а она обладала удивительной способностью унижать человека.

Милдред сообщила открыткой, что доехала благополучно, и ежедневно он отрывал от занятий полчаса, чтобы написать ей длинное письмо. Он всегда робел, когда ему приходилось выражать свои чувства, но оказалось, что на бумаге он может высказать то, что постеснялся бы произнести вслух. Пользуясь этим, он изливал ей свое сердце. До сих пор он не решался ей сказать, каким обожанием полно все его существо, как любовь украшивает все его поступки, все его мысли. Он писал ей о будущем, о счастье, которое его ждет, и о глубочайшей благодарности, которую он к ней чувствует. Он спрашивал себя (он часто спрашивал себя об этом и раньше, но ни разу не отважился передать словами), что было в ней такого, что наполняло его душу невыразимым восторгом. Он сам этого не понимал; он знал одно: когда она с ним, он счастлив, а когда ее нет, весь мир становится холодным и неприятным; он знал, что, когда думает о ней, сердце его словно расширяет-

ся, наполняет всю грудь (будто ему сдавило легкие), бьется как безумное, ему становится трудно дышать; радость от того, что она рядом, доходит до боли, до дрожи в коленях, и он чувствует странную слабость, словно от голода. Он с нетерпением ждал от нее ответа. Он и не надеялся, что она будет писать часто, зная, что письма даются ей с трудом, и его обрадовала даже нескладная записочка, которую он получил в ответ на четыре своих письма. Она писала о пансионате, где сняла комнату, о погоде и о ребенке; сообщала, что гуляет по взморью со знакомой дамой, которую встретила в пансионате; эта дама очень привязалась к ребенку; в субботу она собирается в театр; в Брайтоне становитсялюдно. Филип был тронут этой запиской — она была такой деловой. Официальный тон и топорный стиль вызывали у него невольную улыбку — ему захотелось поскорее обнять Милдред, расцеловать ее.

Он пошел на экзамен со счастливой уверенностью в успехе. Обе письменные работы не представляли для него трудностей. Он знал, что хорошо с ними справился, и, хотя вторая половина экзаменов была устной, а он очень волновался, ему удалось ответить на все вопросы. Когда ему сообщили результат, он сразу же послал радостную телеграмму Милдред.

Вернувшись домой, Филип нашел от Милдред письмо, где она писала, что ей, пожалуй, полезно бы побыть в Брайтоне еще недельку. Она нашла женщину, которая с удовольствием возьмет ребенка за семь шиллингов в неделю, но об этой женщине надо навести еще кое-какие справки, да и самой лучше провести лишних несколько дней на море. Ей страшно неприятно просить у Филипа денег, но не пришлет ли он ей немножко с обратной почтой, так как ей пришлось купить себе новую шляпку; не могла же она гулять со знакомой дамой всегда в одной и той же шляпке, тем более что эта дама — большая модница. Филип почувствовал жестокое разочарование. Всякая радость от того, что он выдержал экзамен, сразу пропала.

«Если бы она любила меня хоть в четверть того, как я люблю ее, она не захотела бы остаться там ни одного лишнего дня!»

Но он быстро откинул эту мысль; нельзя же быть таким эгоистом: конечно, ее здоровье важнее всего на свете! Однако ему теперь нечего делать, почему бы не провести неделю с ней в Брайтоне — они смогут быть целые дни вместе.

Сердце его забилося от этой мысли. Разве не забавно появиться перед Милдред, словно из-под земли, и сообщить ей, что он снял комнату в том же пансионате? Он посмотрел расписание поездов. Но тут его взяло сомнение. Филип не был уверен, что Милдред ему обрадуется: она завела себе в Брайтоне друзей; он человек тихий, а она любит развлекаться; Филип не скрывал от себя, что Милдред куда веселее с другими, чем с ним. Ему будет нестерпимо тяжело, если он хоть на миг почувствует, что мешает ей. Он боялся рисковать. Он не решался даже написать ей, что приедет, так как его больше ничто не удерживает в городе и ему хочется хоть неделю видеть ее каждый день. Милдред знает, что он теперь совершенно свободен; если бы она хотела, чтобы он приехал, она бы его пригласила сама. Как он будет страдать, если попросит разрешения приехать, а она придумает какой-нибудь предлог, чтобы ему отказать.

Он ответил ей на следующий день и послал билет в пять фунтов, а в приписке к письму сообщил, что, если она будет так мила, что захочет провести с ним субботу и воскресенье, он с удовольствием к ней приедет, однако пусть ни в коем случае не нарушает своих планов. Ответа он ждал с нетерпением. Милдред написала, что если бы знала о его приезде заранее, то все бы предусмотрела, а так она условилась пойти в субботу в мюзик-холл; к тому же в пансионате начнутся всякие сплетни, если он там остановится. Почему бы ему не приехать в воскресенье утром и не провести с ней день? Они пообедают в «Метрополе», а потом она сводит его к той весьма достойной особе — настоящая леди в полном смысле слова, — которая берет на воспитание ребенка.

Настало воскресенье. Филип благословлял Бога за то, что погода выдалась хорошая. Когда поезд подходил к Брайтону, все купе было залито солнцем. Милдред ждала его на перроне.

— Как мило с твоей стороны, что ты пришла меня встретить! — закричал он, сжимая ее руки.

— Но ты ведь небось ждал, что я тебя встречу?

— Я надеялся, что ты придешь. Боже мой, как ты прелестно выглядишь!

— Да, я тут очень хорошо поправилась, по-моему, мне полный смысл побыть здесь как можно дольше. А у нас в пансионате очень приличная публика. Мне просто позарез нужно было немножко развлечься — ведь все эти месяцы я не видела ни души! Такая бывала скука...

У Милдред был очень элегантный вид в новой шляпке из черной соломки с большими полями, украшенной множеством дешевых цветов; вокруг шеи развевалось длинное боа из поддельного лебяжьего пуха. Она все еще была очень худа и немножко горбилась на ходу (впрочем, она всегда была чуточку сутулой), но глаза уже не казались такими огромными, и, хотя румянец на щеках так и не появился, кожа потеряла свой землистый оттенок. Они пошли к морю. Филип, вспомнив, что он не ходил рядом с ней уже много месяцев, вдруг снова застеснялся своей хромоты и старался шагать ровнее, чтобы не так было заметно.

— Ты хоть немножко рада меня видеть? — спросил он; любовь как одержимая билась в его сердце.

— Конечно, рада. Нечего и спрашивать.

— Кстати, Гриффитс шлет тебе нежный привет.

— Вот нахал!

Он часто рассказывал ей о Гриффитсе. Говорил, как тот любит ухаживать за женщинами, и смешил ее, пересказывая какое-нибудь любовное приключение, о котором Гриффитс поведал ему под строжайшим секретом. Милдред выслушивала все это, иногда делала вид, будто ей противно, но чаще не скрывала своего любопытства, а Филип с жаром восторгался красивой внешностью и обаянием друга.

— Я уверен, что тебе он понравится не меньше, чем мне. Такой весельчак, такой славный!

Филип рассказал ей, как, будучи едва с ним знаком, Гриффитс выходил его во время болезни; самоотверженность Гриффитса при этом отнюдь не была умалена.

— Он тебе не может не понравиться.

— Не люблю красавчиков, — сказала Милдред. — На мой взгляд, они слишком самоуверенны.

— Он хочет с тобой познакомиться. Я ужасно много ему о тебе рассказывал.

— А что ты ему говорил? — заинтересовалась Милдред.

Филипу некому было рассказывать о своей любви, кроме Гриффитса, и постепенно он выложил ему всю историю своих отношений с Милдред. Он описывал ее десятки раз. Он любовно перебирал каждую ее черту, и Гриффитс отлично усвоил, какие у нее руки и белое лицо; он покатылся со смеху, когда Филип восторгался прелестью ее бледных тонких губ.

— О Господи, спаси! Какое счастье, что я не способен так втюриться! Ей-Богу, это была бы не жизнь, а чистый ад!

Филип только улыбался. Гриффитс не понимал, как упорно быть безумно влюбленным, когда любовь — это и хлеб, и вино, и воздух, которым ты дышишь, и все, что тебе необходимо в жизни. Гриффитс знал, что Филип опекал девушку, когда она рожала, и собирался теперь с ней уехать.

— Ну что ж, должен сказать, что вам пора получить хоть что-то в награду, — заметил он. — Вам это обошлось недешево. Хорошо, что вы можете себе позволить такую прихоть.

— Нет, не могу, — сказал Филип. — Но разве в этом дело?

Обедать было еще рано. Филип с Милдред уселись в одной из беседок на приморском бульваре и, греясь на солнышке, стали рассматривать гуляющих. Были тут и местные приказчики, которые прогуливались по двое и по трое, размахивая тросточками, и местные продавщицы, кокетливо семенявшие в стайке хихикающих товарок. Людей, приехавших на день из Лондона, было нетрудно отличить: на свежем воздухе кровь прилиwała к их усталым лицам. Было много евреев — толстых дам, туго затянутых в атласные платья и увешанных бриллиантами, низеньких дородных мужчин, живо размахивающих руками. Были тут и холеные пожилые джентльмены, проводившие воскресный день в одном из больших отелей; они прилежно совершали моцион после слишком сытного обеда, обменивались друг с другом свежими новостями и беседовали о морском курорте Лондона — «Докторе Брайтоне». Время от времени проходил какой-нибудь известный актер, старательно не замечая всеобщего внимания к своей особе; один из них вырядился в пальто с каракулевым воротником, лакированные башмаки и помахивал тростью с серебряным набалдашником; у другого был такой вид, словно он только что вернулся с охоты: на нем были штаны до колен, куртка из домотканой шерсти и сдвинутая на затылок матерчатая шляпа. Солнце сияло над синим морем, синее море было чистенькое и гладкое.

После обеда они отправились в Хоув знакомиться с женщиной, которая соглашалась взять на себя заботу о ребенке. Жила она в маленьком домике на боковой улочке, но комнаты были очень опрятные. Звали ее миссис Хардинг. Это была пожилая, седовласая, грузная особа с красным мясистым лицом. Выглядела она в своем чепце как заботливая мать семейства, и Филипу она показалась доброй.

— А для вас не будет ужасной морокой ухаживать за грудным младенцем? — спросил ее Филип.

Она объяснила, что муж ее — помощник священника, человек много старше ее; постоянную работу ему подыскать не удастся — священники предпочитают брать в помощь людей молодых, — временами он зарабатывает понемножку, заменяя больных или ушедших в отпуск, да и благотворительное общество выплачивает им крохотную пенсию, однако живет ей одиноко, присматривать за ребенком — все-таки какое-то развлечение, а несколько шиллингов в неделю, которые она за это получит, помогут ей свести концы с концами. Она обещала, что ребенок будет хорошо питаться.

— Настоящая леди, я ведь тебе говорила! — сказала Милдред, когда они вышли.

Они вернулись в Брайтон и пошли пить чай в «Метрополь». Милдред нравились толкотня и громкая музыка. Филип устал разговаривать и не сводил глаз с ее лица: она жадно разглядывала наряды входящих женщин. У нее была поразительная способность угадывать, сколько что стоит, и время от времени она нагибалась к нему и шепотом сообщала результаты своих подсчетов.

— Погляди, какая эгретка! За нее плачено никак не меньше семи гиней.

Или:

— Видишь вон тот горноста́й! Никакой это не горноста́й, а просто кролик! — Она удовлетворенно хихикнула. — Меня не проведешь! Издали вижу.

Филип умиленно улыбался. Он был рад, что она довольна, а ее непосредственность забавляла и трогала его. Оркестр играл что-то очень чувствительное.

После обеда они пешком отправились на вокзал, и Филип взял ее под руку. Он рассказывал ей, что еще надо сделать перед поездкой во Францию. Ей надо вернуться в Лондон в конце недели, но Милдред сразу же сообщила, что не сможет приехать раньше будущей субботы. Филип уже заказал для них в Париже комнату в гостинице. Ему не терпелось поскорее взять билеты.

— Ты не будешь возражать, если мы поедем вторым классом? Нам нельзя швыряться деньгами и лучше побольше истратить там, на месте.

Он сотни раз рассказывал ей о Латинском квартале. О том, как они будут бродить по его милым старинным улицам, отдыхать на чудесных лужайках Люксембургского

сада. Если погода будет хорошая, а Париж им надоест, они съезжают в Фонтенбло. Деревья как раз начнут распускаться. Зелень в лесу весной прекраснее всего на свете: она похожа на песню, на сладостные муки любви. Милдред молча его слушала. Он повернул голову и постарался поглубже заглянуть ей в глаза.

— Тебе ведь хочется туда, правда? — спросил он.

— Конечно, хочется, — улыбнулась она.

— Ты и представить себе не можешь, в каком я нетерпении. Просто не знаю, как проживу эти несколько дней до отъезда. Мне так страшно: а вдруг что-нибудь нам помешает! Меня бесит, что я не умею выразить, как я тебя люблю... И вот наконец, наконец...

Он замолчал. Они уже подошли к вокзалу, но, так как по дороге они замешкались, у Филипа едва хватило времени, чтобы попрощаться. Он быстро поцеловал ее и со всех ног кинулся на платформу. Милдред стояла и смотрела ему вслед. Он был удивительно смешон, когда пытался бежать.

ГЛАВА 74

Милдред вернулась в следующую субботу, и первый вечер Филип провел с ней вдвоем. Он купил билеты в театр, а за обедом они выпили шампанского. Впервые за долгое время Милдред вышла в Лондоне на люди и от всего получала самое неподдельное удовольствие. Она прижалась к Филипу, когда они ехали из театра домой в комнату, которую он снял для нее в Пимлико.

— Можно подумать, что ты и в самом деле рада меня видеть, — сказал он.

Она не ответила, но тихонько пожала ему руку. Проявления нежности были для нее так необычны, что Филип сидел как замороженный.

— Я пригласил Гриффитса завтра с нами пообедать, — сказал он.

— Вот и хорошо. Я давно хотела с ним познакомиться.

В воскресенье вечером все увеселительные места были закрыты, и Филип боялся, что она соскучится, если пробудет целый день наедине с ним. Гриффитс — человек веселый, он им поможет скоротать вечер, а Филип любил их обоих, ему хотелось, чтобы они познакомились и понравились друг другу. Прощаясь с Милдред, он сказал:

— Осталось до отъезда всего шесть дней!

Они сговорились, что в воскресенье поужинают на галерее в «Романо» — кормили там отлично, и вид у ресторана был такой, будто стоит там все втридорога. Филип с Милдред пришли первые и стали дожидаться Гриффитса.

— Вот неаккуратный, черт! — сказал Филип. — Наверное, признается в любви одной из своих бесчисленных пассий.

Но вот появился Гриффитс. Он был красивый парень — высокий, стройный, с хорошо посаженной головой, что придавало ему победоносный вид; его кудрявые волосы, дерзкие, но ласковые глаза и яркий рот не могли не нравиться. Филип заметил, что Милдред поглядела на его друга благосклонно, и почувствовал какое-то непонятное удовлетворение. Гриффитс улыбнулся им обоим.

— Я так много о вас слышал, — сказал он Милдред, пожимая ее руку.

— Наверное, меньше, чем я слышала о вас.

— Но зато ты не слышала о нем ничего лестного, — сказал Филип.

— Воображаю, в каком он представил меня свете!

Гриффитс захохотал, и Филип заметил, что Милдред обратила внимание на его ровные белые зубы и обаятельную улыбку.

— Да вы уж вроде, как старые друзья, — сказал Филип. — Я и в самом деле столько рассказывал вам друг о друге.

Гриффитс был в радужном настроении: он выдержал последние экзамены, получил диплом и только что был принят ординатором в одну из больниц северного Лондона. Ему надо было приступить к работе в начале мая, а пока он собирался съездить домой отдохнуть; это была его последняя неделя в Лондоне, и он намеревался повеселиться вволю.

Он сразу же стал болтать забавную чепуху, что всегда восхищало Филипа, потому что сам он был на это не способен. В том, что Гриффитс говорил, не было ничего интересного, но живость придавала его болтовне какое-то остроумие. Он словно излучал жизненную силу, которая покоряла всех, кто с ним сталкивался; она была почти осязаема, как физическое тепло. И Милдред в этот вечер так оживилась, что Филип ее не узнавал, ему было приятно, что его маленькое празднество так удалось. Милдред очень развеселилась. Она хохотала все громче и совсем позабыла ту светскую сдержанность, которую так упорно себе прививала.

Гриффитс заявил:

— Знаете, мне ужасно трудно вас звать миссис Миллер. Филип всегда вас зовет просто Милдред.

— Надеюсь, что она не выцарапает тебе глаза, если ты будешь звать ее по имени, — засмеялся Филип.

— Тогда пусть и она зовет меня Гарри.

Филип молча прислушивался к их болтовне и думал, как хорошо видеть рядом с собой счастливых людей. Время от времени Гриффитс его добродушно поддразнивал за то, что он такой невеселый.

— Ей-Богу, Филип, он тебя просто любит! — улыбнулась Милдред.

— А что, старик у нас не так уж плох, — сказал Гриффитс и весело потряс Филипу руку.

Казалось, Гриффитса еще больше украшало то, что он привязан к Филипу. Все трое пили редко, и вино сразу ударило им в голову. Граффитс стал еще разговорчивее и так разошелся, что Филип, смеясь, попросил его вести себя потише. У Гриффитса был талант рассказчика, и его приключения становились еще романтичнее и смешнее, когда он их пересказывал. Сам он играл в них галантную, забавную роль. Милдред с горящими глазами заставляла его рассказывать еще и еще. Он выкладывал одну историю за другой. Милдред была поражена, когда в ресторане стали гасить свет.

— Господи, как быстро пролетел вечер! Мне казалось, что сейчас не больше половины десятого.

Они встали, и, прощаясь с Гриффитсом, Милдред сказала:

— Я завтра собираюсь к Филипу пить чай. Если хотите, можете заглянуть тоже.

— Ладно, — ответил он, улыбаясь.

По дороге домой в Пимлико Милдред не могла говорить ни о чем, кроме Гриффитса. Ее совсем покорили его красивая внешность, хорошо сшитый костюм, приятный голос, остроумие.

— Ну, я рад, что он тебе понравился, — сказал Филип. — А помнишь, как ты фыркала, когда я хотел вас познакомить?

— Это очень мило с его стороны, что он тебя любит. Хорошо, что у тебя есть такой друг.

Она подставила Филипу губы. С ней это случалось редко.

— Вот сегодня я повеселилась. Большое спасибо.

— Ах ты, дурочка, — засмеялся он, до того тронутый ее благодарностью, что на глаза у него навернулись слезы.

Она отперла свою дверь, но, прежде чем войти, снова обернулась к Филипу.

— Скажи Гарри, что я от него без ума.

— Хорошо, — рассмеялся он. — Спокойной ночи.

На следующий день, когда они пили чай, вошел Гриффитс. Он лениво опустился в кресло. В неторопливых движениях его крупного тела было что-то необычайно чувственное. И, хотя Филип больше молчал, а остальные двое болтали без умолку, ему было приятно. Он так любил их обоих, что не было ничего удивительного, если они полюбились друг другу. Филипа не беспокоило, что Гриффитс поглощал все внимание Милдред, — ведь вечером они останутся вдвоем; он вел себя, как любящий муж, который настолько уверен в привязанности жены, что его забавляет, когда жена невинно кокетничает с кем-то другим. Но в половине восьмого он поглядел на часы и сказал:

— Нам пора идти ужинать.

Наступило молчание. Гриффитс явно не знал, как ему поступить.

— Ну что ж, я пойду, — сказал он в конце концов. — Вот не думал, что уже так поздно.

— Вы сегодня заняты? — спросила Милдред.

— Нет.

Снова наступило молчание. Филип почувствовал, что все это начинает его раздражать.

— Я пойду умоюсь, — сказал он и добавил, обращаясь к Милдред: — Хочешь помыть руки?

Она ему не ответила.

— Почему бы вам с нами не поужинать? — спросила она Гриффитса.

Тот поглядел на Филипа и поймал его мрачный взгляд.

— Да я ведь только вчера с вами ужинал, — сказал он со смехом. — Боюсь вам помешать.

— Да что вы, — настаивала Милдред. — Уговори его с нами пойти, Филип. Он ведь нам не помешает, правда?

— Если хочет, пожалуйста, пускай идет.

— Ну что ж, ладно, — сразу же согласился Гриффитс. — Я сейчас сбегая наверх и приведу себя в порядок.

Как только он вышел из комнаты, Филип сердито спросил Милдред:

— С какой стати ты позвала его с нами ужинать?

— Что же я могла поделать? Было бы невежливо его не пригласить, раз он сказал, что ему сегодня нечего делать.

— Глупости! А какого дьявола тебе понадобилось спрашивать, что он сегодня делает?

Бледные губы Милдред сжались плотнее.

— Мне иногда тоже хочется повеселиться. Думаешь, мне не надоедает все время быть с тобой вдвоем?

Они услышали, как по лестнице шумно топает Гриффитс, и Филип ушел в спальню мыться. Ужинали они неподалеку, в итальянском ресторане. Филип был зол и молчалив, но скоро понял, что проигрывает рядом с Гриффитсом, и попытался скрыть свое недовольство. Он много выпил, чтобы заглушить ноющую боль в сердце, и старался быть разговорчивым. Милдред, словно раскаиваясь в своих словах, с ним всячески заигрывала. Она была нежна и предупредительна. Постепенно Филипу стало казаться, что он дурак и зря поддался чувству ревности. После ужина они взяли извозчика, чтобы поехать в мюзик-холл, и сидевшая между двумя мужчинами Милдред сама вложила свою руку в руку Филипа. Всякая злость у него пропала. Но вдруг, сам не зная как, он понял, что другую руку Милдред держит Гриффитс. Его снова пронзила боль, настоящая физическая боль, и в ужасе он задал себе вопрос, который мог бы задать и раньше: не влюбились ли они с Гриффитсом друг в друга? Подозрение, ярость, отчаяние, словно пеленой, застилали ему глаза, он не видел того, что происходило на эстраде, но делал вид, что ничего не случилось, и продолжал разговаривать и смеяться. Потом его охватило странное желание помучить себя, и он встал, заявив, что пойдет что-нибудь выпить. Милдред и Гриффитс никогда еще не бывали вдвоем. Он хотел оставить их наедине.

— Я пойду с тобой, — сказал Гриффитс. — Мне тоже хочется пить.

— Нет, лучше посиди с Милдред.

Филип не понимал, зачем он это сказал. Он сознательно оставлял их вдвоем, чтобы боль, которую он и так испытывал, стала еще более невыносимой. Он не пошел в бар, а поднялся на балкон, откуда мог потихоньку наблюдать за ними. Они перестали смотреть на сцену и, улыбаясь, глядели друг другу в глаза. Гриффитс что-то говорил со вчерашним увлечением, а Милдред ловила каждое его слово. У Филипа разболелась голова. Он стоял не шевелясь. Он знал, что будет лишним, если вернется. Им без него было весело, а он так страдал, так мучился. Шло время, и в нем проснулась какая-то

странная робость, боязнь подойти к ним. Он знал, что они о нем совсем забыли, и с горечью подумал, что он заплатил за ужин и билеты в мюзик-холл. Как они его дурачат! Его жег стыд. Ему было видно, как им без него хорошо. Филипа подмывало оставить их и уйти домой, но рядом с ними на стуле лежали его пальто и шляпа; ему придется объяснить, почему он хочет уйти! Он пошел на свое место. Когда Милдред его увидела, он заметил в ее глазах легкое раздражение, и сердце его упало.

— Где ты пропадал? — спросил его, приветливо улыбаясь, Гриффитс.

— Встретил знакомых. Заговорился, не мог уйти. Надеюсь, что вы без меня не пропадете.

— Ну, я-то получил большое удовольствие, — сказал Гриффитс. — Не знаю, как Милдред.

Она засмеялась утробным смехом. В этом смехе прозвучало такое пошлое самодовольство, что Филип пришел в ужас. Он предложил уйти.

— Пойдем, — согласился Гриффитс. — Мы отвезем вас домой, — сказал он Милдред.

Филип заподозрил, что сказать это Гриффитса подучила она, чтобы не оставаться вдвоем с Филипом. На извозчике он не взял ее руки, а она ее и не предложила, но он знал, что рука Милдред все время лежит в руке Гриффитса. Больше всего его мучило то, как все это бесконечно пошло. Пока они ехали, он спрашивал себя, сговорились ли они встретиться тайком от него, проклинал себя за то, что оставил их наедине и сделал все возможное, чтобы облегчить им обман.

— Не надо отпускать извозчика, — сказал Филип, когда они подъехали к дому, где жила Милдред. — Я очень устал и не хочу идти пешком.

На обратном пути Гриффитс весело болтал, казалось, не замечая, что Филип отвечает ему односложно. Филип был уверен, что тот понимает, в каком он состоянии. Наконец даже Гриффитс не смог больше преодолевать это гнетущее молчание: он стал нервничать и тоже умолк. Филипу хотелось заговорить, но он робел, не решался, минуты текли, и вот-вот будет уже поздно. А надо было сразу добраться до сути. И наконец он выдал из себя:

— Ты что, влюбился в Милдред?

— Я? — расхохотался Гриффитс. — Ах, вот почему ты так странно ведешь себя весь вечер? Да ничего подобного, старина!

Он попытался просунуть руку Филипу под локоть, но тот отстранился. Он знал, что Гриффитс лжет. У него не хватало духа заставить Гриффитса отрицать, что он держал Милдред за руку. Филип вдруг почувствовал смертельную слабость.

— Для тебя, Гарри, это ничего не значит, — сказал он. — У тебя столько женщин... Не отнимай ее у меня. Для меня это — вся жизнь. Я ведь столько выстрадал.

Голос его задрожал, он не смог сдержаться и всхлипнул. Ему было мучительно стыдно.

— Милый ты мой! Да разве я стану тебя огорчать? Я ведь тебя люблю. Я просто валял дурака. Если бы я знал, что ты близко примешь это к сердцу, я вел бы себя осторожнее.

— Правда? — спросил Филип.

— Она мне нужна, как прошлогодний снег. Даю тебе честное слово.

У Филипа отлегло от сердца. Извозчик подъехал к дому.

ГЛАВА 75

На следующий день у Филипа было хорошее настроение. Он боялся наскучить Милдред своим обществом, и они условились, что встретятся только перед ужином. Когда он за ней заехал, она была уже готова, и Филип стал дразнить ее такой непривычной пунктуальностью. На ней было новое платье, которое Филип ей подарил, ему оно показалось очень элегантным.

— Придется послать его обратно, пусть переделают, — сказала она. — Юбка неровно подшита.

— Надо поторопить портниху, если ты хочешь взять его в Париж.

— Ну, к тому времени оно будет готово.

— Осталось всего три дня. Мы ведь поедем одиннадцатичасовым, правда?

— Как хочешь.

Почти целый месяц она будет принадлежать ему одному. Он не мог отвести от нее глаз, полных жадного обожания. Но в нем еще не совсем пропала способность шутить над собственной страстью.

— Не пойму, что я в тебе нашел, — сказал он с улыбкой.

— Вот это мило!

Тело у нее было такое худенькое, что казалось, можно сосчитать все кости. Грудь — плоская, как у мальчишки. Тонкие бледные губы просто уродливы, а кожа чуть-чуть отсвечивает зеленью.

— Я буду пичкать тебя в поезде пилюлями Бло, — смеясь, сказал Филип. — И назад привезу толстую, цветущую женщину.

— А я вовсе не хочу быть толстой.

Она ни словом не обмолвилась о Гриффитсе, и, когда они сели ужинать, Филип, чувствуя свою силу и власть над ней, сказал не без ехидства:

— По-моему, ты вчера затеяла с Гарри отчаянный флирт.

— Я уже тебе призналась, что в него влюблена, — засмеялась Милдред.

— Слава Богу, что он не влюбился в тебя!

— Почему ты знаешь?

— Я его спрашивал.

Милдред минуту помолчала в нерешительности, а потом взглянула на Филипа, и глаза ее вдруг странно заблестели.

— Хочешь прочесть письмо, которое я утром от него получила?

Она протянула ему письмо, и Филип узнал на конверте твердый разборчивый почерк Гриффитса. В письме было восемь страниц. Оно было хорошо написано и дышало милой непосредственностью — письмо человека, привыкшего признаваться женщинам в любви. Гриффитс писал Милдред, что любит ее страстно, что полюбил ее с первого взгляда; он боится ее любить, потому что знает, как относится к ней Филип, но не может с собой совладать. Филип — славный малый, и ему очень стыдно, но чем же он виноват, если чувство захватило его целиком. Он делал Милдред прелестные комплименты. В конце письма он благодарил ее за то, что она согласилась завтра с ним пообедать, и уверял, что ждет не дождется встречи. Филип заметил, что письмо помечено вчерашним числом; Гриффитс, видно, написал его, расставшись с Филипом, и не поленился выйти и его отправить, когда Филип думал, что он уже спит.

Филип прочел письмо с тоскливо замирающим сердцем, но внешне не выразил никакого удивления. Вернув письмо Милдред, он улыбнулся и спокойно спросил:

— Ну как, обед был вкусный?

— Очень! — ответила она с жаром.

Он почувствовал, что руки у него дрожат, и спрятал их под стол.

— Не вздумай принимать Гриффитса всерьез. Он ведь мотылек, сама знаешь.

Она развернула письмо и быстро прочла его снова.

— Но и я не могу с собой совладать, — сказала она с напускной небрежностью. — Прямо не пойму, что на меня нашло.

— Положение мое, выходит, незавидное, — сказал Филип.

Она кинула на него быстрый взгляд.

— Надо признаться, что ты принял это довольно спокойно.

— А ты бы хотела, чтобы я рвал на себе волосы?

— Я так и думала, что ты на меня рассердишься.

— Смешно, но я совсем не сержусь. Я ведь должен был все это предвидеть. Сам, дурак, вас свел. И отлично знал, какие у него передо мной преимущества: он куда занятнее меня и очень красив, с ним веселее, он может с тобой разговаривать о том, что тебя интересует.

— Что ты этим хочешь сказать? Может, я и не бог весть какая умница, тут ничего не поделаешь, но я совсем не такая дура, какой ты меня считаешь. Уж ты мне поверь! А ты, по-моему, миленький, больно нос задираешь!

— Ты хочешь со мной поссориться? — спросил он без всякого гнева.

— Нет, но почему ты позволяешь себе разговаривать со мной, будто я какая-нибудь шваль?

— Прости, я не хотел тебя обидеть. Давай поговорим спокойно. Ведь ни мне, ни тебе не хочется поступать сгоряча и портить себе жизнь. Я заметил, что ты от него без ума, и мне это показалось совершенно естественным. Единственное, что меня огорчает, — это то, что он сознательно старался тебя увлечь. Он ведь знает, как ты мне дорога. Мне кажется, что с его стороны довольно подло было писать тебе это письмо через пять минут после того, как он заверил меня, будто ты нужна ему, как прошлогодний снег.

— Если ты рассчитываешь, что, говоря о нем гадости, ты меня от него отводишь, ошибаешься!

Филип помолчал. Он не знал, как втолковать ей свою точку зрения. Ему хотелось поговорить с ней обстоятельно и хладнокровно, но в душе у него бушевала такая буря, что мысли путались.

— Стоит ли жертвовать всем ради увлечения, которое, ты знаешь сама, недолговечно? Ведь пойми, он никого не умеет любить дольше десяти дней, а ты женщина скорее холодная, и вряд ли тебе это так уж нужно.

— Ты думаешь?

Слыша ее сварливый тон, ему еще труднее было говорить.

— Если ты в него влюблена, делать, конечно, нечего. Я постараюсь это стерпеть. Мы с тобой неплохо ладим друг с другом, и признайся, что я не очень дурно к тебе относился. Я и раньше знал, что ты меня не любишь, но я тебе нравлюсь, и, когда мы приедем в Париж, ты и думать забудешь о Гриффитсе. Стоит тебе решиться выбросить его из головы, — и ты увидишь, что это совсем не так трудно, а я заслужил, чтобы ты позаботилась и обо мне.

Она ничего не ответила, и они продолжали ужинать. Когда молчание стало гнетущим, Филип заговорил о посторонних вещах. Он сделал вид, будто не замечает, что Милдред его не слушает. Отвечала она механически и сама не заговаривала ни о чем. Под конец она резко прервала начатую им фразу:

— Знаешь, я боюсь, что не смогу ехать в субботу. Врач мне не советует.

Он понял, что это неправда, но спросил:

— А когда ты сможешь ехать?

Она взглянула на него и, увидев, что лицо его побелело и стало каменным, пугливо отвела глаза. В эту минуту он почти внушал ей страх.

— Да, пожалуй, лучше сказать тебе сразу и больше к этому не возвращаться. Я вообще не могу с тобой поехать.

— Я так и понял, что ты к этому клонишь. Но теперь тебе поздно передумывать. Я уже купил билеты и все прочее.

— Ты ведь сам говорил, что не хотел бы тащить меня силком. А я не хочу с тобой ехать.

— Говорил. А теперь не говорю. Я не позволю, чтобы меня опять надули. Ты поедешь.

— Я тебя очень люблю. Но только как друга. Мне противно думать о более близких отношениях. Как мужчина ты мне не нравишься. Я не могу, Филип.

— Но ты отлично могла еще неделю назад.

— Тогда было совсем другое дело.

— Тогда ты еще не познакомилась с Гриффитсом?

— Ты же сам сказал, что не моя вина, если я в него влюбилась.

Она надулась и упорно не поднимала глаз от тарелки. Филип побелел от ярости. Ему очень хотелось стукнуть ее по лицу кулаком, и он представлял себе, как она будет выглядеть с синяком под глазом. За соседним столиком ужинали

двое парнишек лет по восемнадцати, они то и дело поглядывали на Милдред. Наверно, завидуют ему, что он ужинает с хорошенькой девушкой, а может, хотят быть на его месте. Молчание нарушила Милдред:

— Да что хорошего, если мы с тобой и поедем? Я все время буду думать о нем. Вряд ли тебе это доставит удовольствие.

— Ну, это мое дело.

Она сообразила, что он подразумевал под этим ответом, и покраснела.

— Знаешь, это просто гадость!

— Ну и что?

— А я-то думала, что ты джентльмен в полном смысле слова!

— Вот и ошиблась! — засмеялся он.

Этот ответ показался ему самому комичным.

— Да не смейся ты Христа ради! — воскликнула она. — Я не могу с тобой поехать, понимаешь? Ты меня прости. Я сама знаю, что плохо с тобой обошлась, но сердцу не прикажешь.

— Ты забыла, что, когда с тобой стряслась беда, я сделал для тебя все? Выкладывал деньги, чтобы содержать тебя, пока не родится ребенок, платил за врача, отправил тебя в Брайтон, да и сейчас плачу за содержание твоего ребенка и за твои платья. Все, что на тебе надето, до последней нитки, — куплено на мои деньги.

— Если бы ты был настоящим джентльменом, ты бы не хвастался тем, что для меня сделал.

— Да заткнись ты Бога ради! Так уж, думаешь, мне хочется быть джентльменом? Если бы я был джентльменом, я не стал бы путаться с такой дрянью. И мне наплевать, нравлюсь я тебе или нет. Мне осточертело, что меня водят за нос. Нашла дурака! Поедешь со мной в субботу в Париж, как миленькая, не то пеняй на себя!

Щеки у нее запылали от злости, и, когда она заговорила, в ее речи была та престонародная грубость, которую она обычно прятала под «великосветским» выговором.

— Меня всегда от тебя воротило, с первого дня! Сам мне навязался. А как мне тошно, когда ты меня целуешь! Да я не позволю тебе и пальцем до меня дотронуться, лучше с голоду подожду!

Филип пытался проглотить кусок, но горло у него словно сдавило тисками. Он залпом что-то выпил и закурил сигарету. Он дрожал всем телом. Говорить он не мог. Он ждал,

чтобы она встала, но она продолжала молча сидеть, уставившись на белую скатерть; если бы они были одни, он схватил бы ее и стал целовать; ему так и виделось, как откинется назад ее длинная белая шея, когда он прильнет к ее рту губами. Они просидели целый час молча, наконец Филип заметил, что официант все чаще поглядывает на них с любопытством. Он попросил счет.

— Пойдем? — спросил он ровным голосом.

Она ничего не ответила, но взяла сумочку и перчатки. Потом надела пальто.

— Когда ты опять увидишь Гриффитса?

— Завтра, — спокойно ответила она.

— Советую тебе серьезно с ним поговорить.

Она машинально открыла сумочку, увидела в ней какую-то бумажку и вынула ее.

— Вот счет за платье, — нерешительно сказала она.

— Зачем он мне?

— Я обещала, что завтра заплачу.

— Ну и что?

— Ты не хочешь за него платить? Ведь ты мне сказал, чтобы я его купила.

— Не хочу.

— Тогда я попрошу у Гарри, — сказала она, заливаясь краской.

— Он с удовольствием тебя выручит. В данное время он мне должен семь фунтов, а на прошлой неделе так истратился, что снес в ломбард свой микроскоп.

— Не воображай, что ты этим меня испугаешь. Я сама могу заработать себе на жизнь.

— Вот и отлично. Я не дам тебе больше ни гроша.

Она подумала о том, что в субботу ей надо платить за квартиру и послать деньги на содержание ребенка, но ничего не сказала. Они вышли из ресторана. На улице Филип ее спросил:

— Позвать тебе извозчика? Я хочу немножко пройтись.

— У меня нет денег. Мне сегодня пришлось заплатить по одному счету.

— Тебе не вредно прогуляться. Если захочешь меня видеть, я буду дома часов около пяти.

Он снял шляпу и медленно пошел прочь. Пройдя несколько шагов, он оглянулся и увидел, что она беспомощно стоит там, где он ее оставил, и смотрит на проезжающие экипажи. Он вернулся и со смехом сунул ей в руку монету.

— На, возьми два шиллинга и поезжай домой.

Прежде чем она успела открыть рот, он поспешно отошел.

ГЛАВА 76

На следующий день, ближе к вечеру, Филип сидел у себя в комнате и ждал, придет ли Милдред. Спал он плохо. Утро он провел в клубе медицинского института, перелистывая газеты. Каникулы уже начались, в Лондоне оставалось немного студентов, но он все же нашел каких-то знакомых, с которыми можно было поболтать, сыграть партию в шахматы и скоротать томительные часы. После обеда он почувствовал неимоверную усталость, голова у него раскалывалась от боли; он вернулся домой, прилег и попытался почитать какой-то роман. Гриффитса он не видел. Вечером, когда Филип вернулся, его не было дома; позже Филип услышал, что Гриффитс пришел, но не заглянул, как обычно, в комнату Филипа, чтобы посмотреть, спит он или нет, а утром очень рано ушел. Филипу было ясно, что он его избегает. Вдруг раздался легкий стук в дверь. Филип поспешно отворил. На пороге стояла Милдред. Она не двигалась.

— Входи, — сказал Филип.

Он закрыл за ней дверь. Она села, не зная, с чего начать.

— Спасибо, что ты дал мне вчера два шиллинга, — сказала она.

— Не стоит.

Она чуть-чуть ему улыбнулась. Эта улыбка напомнила Филипу боязливый, заискивающий взгляд щенка — его пбили за проказы, и он теперь хочет помириться с хозяином.

— Я обедала с Гарри, — сказала она.

— Да?

— Если ты хочешь, чтобы я поехала с тобой в субботу, я поеду.

Сердце у него забилося от торжества, но торжество его длилось только миг; на смену тут же пришло подозрение.

— Это из-за денег? — спросил Филип.

— Отчасти, — ответила она просто. — Гарри ничем не может мне помочь. Он задолжал за пять недель здесь, должен семь фунтов тебе, да и портной его прижимает. Он бы с радостью что-нибудь заложил, но у него уже все в ломбарде. Мне стоило большого труда уговорить портниху обождать с деньгами за платье, в субботу надо платить за комна-

ту, а работу сразу не найдешь. Надо выждать, пока освободится вакансия.

Она произнесла эту тираду спокойно, брюзгливым тоном, словно перечисляла несправедливые, но неизбежные удары судьбы. Филип ничего не ответил. Он заранее знал все, что она скажет.

— Почему же только «отчасти»? — спросил он, помолчав.

— Да вот Гарри говорит, что мы многим тебе обязаны. Он говорит, что ты был настоящим другом ему, а для меня сделал то, чего, может, никто другой бы и не сделал. Он говорит, что мы должны вести себя честно. И потом Гарри сказал мне то же, что ты сказал о нем: он человек по природе ветреный, совсем не такой, как ты, и я была бы душой, если бы бросила тебя ради него. Он ненадолго, а ты надолго — это он сам говорит.

— Но ты-то хочешь со мной ехать? — спросил Филип.

— Ну что ж, пожалуй...

Он смотрел на нее, и в углах его рта обозначились горькие складки. Да, он победил и мог поступать, как ему хотелось. У Филипа вырвался саркастический смешок: он-то понимал свое унижение! Она быстро подняла на него глаза, но ничего не сказала.

— Я так ждал, ждал всей душой этой поездки в Париж, надеялся, что наконец, после всех моих мук, я тоже буду счастлив...

Он не договорил. И тут вдруг совсем неожиданно Милдред разразилась потоком слез. Она сидела на том же кресле, на котором плакала Нора, и так же, как и она, уткнулась лицом в спинку, рядом с вмятиной от множества покоившихся тут голов.

«Не везет мне с женщинами», — подумал Филип.

Ее худое тело содрогалось от рыданий. Филип никогда не видел, чтобы женщина плакала с таким отчаянием. Смотреть на это было невыносимо, и сердце его разрывалось. Не отдавая себе отчета в том, что он делает, он подошел к ней и обнял ее, она не сопротивлялась; наоборот, в своем горе она охотно принимала его утешения. Он шептал ей нежные, успокоительные слова. Он сам не знал, что говорит; нагнувшись к ней, он стал осыпать ее поцелуями.

— Неужели тебе, бедняжке, так скверно? — спросил он в конце концов.

— Лучше бы я умерла, — простонала она. — Лучше бы я умерла, когда рожала.

Ей мешала шляпа, и Филип ее снял. Он прислонил голову Милдред поудобнее к спинке кресла, отошел и сел у стола, не сводя с нее глаз.

— Какая страшная штука любовь, верно? — сказал он. — Подумать только, что люди хотят любви!

Постепенно ее рыдания стихли, обессилев, она сидела в кресле, закинув назад голову и беспомощно свесив руки. У нее была неестественная поза, словно у манекена, на который художник набрасывает драпировки.

— Я не знал, что ты его так любишь, — сказал Филип.

Любовь Гриффитса ему была понятна — он ставил себя на место Гриффитса, смотрел на нее его взглядом, прикасался его руками; он мог представить себе, что он — Гриффитс, целовать ее его губами, улыбаться ей его смеющимися синими глазами. Но ее чувство его удивляло. Он не считал ее способной испытывать страсть, а это была настоящая страсть. Ошибки быть не могло. Что-то неладное творилось у него с сердцем: ему казалось, что оно действительно рвется на части, и он чувствовал непривычную слабость.

— Я не хочу, чтобы ты была несчастна. Тебе не придется ехать со мной, если ты этого не хочешь. Я все равно дам тебе денег.

Она покачала головой.

— Нет, я сказала, что поеду, и поеду.

— Какой в этом толк, раз ты умираешь от любви к Гриффитсу?

— Да, это верно. Я умираю от любви. Я знаю, что это скоро кончится, так же хорошо знаю, как и он, но пока что...

Она замолчала и закрыла глаза, словно вот-вот потеряет сознание. В голову Филипа пришла странная мысль, и он произнес ее вслух, не обдумав:

— Почему бы тебе не уехать с ним?

— Как же я могу? Ты ведь знаешь, у нас нет денег.

— Я дам тебе деньги.

— Ты?

Она выпрямилась и посмотрела на него. Глаза ее засияли, к щекам снова прихлынула кровь.

— Может, самое лучшее — это чтобы твое увлечение поскорее прошло, тогда ты вернешься ко мне.

Сам предложив это, он теперь изнемогал от боли, однако в муке, которую он испытывал, была какая-то странная сладость. Она глядела на него, широко открыв глаза.

— Ох, как же можно? На твои деньги? Гарри об этом и слышать не захочет.

— Захочет, если ты его уговоришь.

Ее возражения только заставили его быть настойчивее, хотя он желал всем сердцем, чтобы она отказалась.

— Я дам вам пять фунтов, и вы сможете уехать с субботы до понедельника. Вам этого хватит. В понедельник он все равно едет домой, перед тем как начать работать в северном Лондоне.

— Ах, Филип, неужели ты это серьезно? — воскликнула она, сжав руки. — Если бы ты и вправду дал нам уехать, я бы так тебя потом за это любила, я бы сделала для тебя все на свете! Я уверена, что, если ты поможешь нам уехать, у меня все пройдет. Ты в самом деле дашь нам денег?

— Дам, — сказал он.

Теперь она была совсем другой. Она смеялась. Филип видел, что она просто обезумела от счастья. Она поднялась, встала подле него на колени, схватила его за руки.

— Ах, какой ты хороший! Таких людей, как ты, я никогда не видела! А потом ты не будешь на меня сердиться?

Он покачал головой, улыбаясь, но какая безысходная мука разрывала ему грудь!

— Можно, я пойду к Гарри и все ему расскажу? И можно, я ему скажу, что ты не против? Он ни за что не согласится, если ты не дашь ему слово, что для тебя это не играет никакой роли. Ах, ты и представить себе не можешь, как я его люблю! А потом я сделаю все, что ты захочешь. В понедельник я поеду с тобой в Париж или куда угодно!

Она поднялась и надела шляпу.

— Куда ты идешь?

— Я пойду спрошу его, поедет ли он со мной.

— Уже?

— Хочешь, чтобы я осталась? Хорошо, я могу остаться.

Она опять села, но у него вырвался сухой смешок.

— Да нет, зачем же, лучше тебе пойти сразу. Вот только я не хотел бы пока видеть Гриффитса: мне будет слишком тяжело. Скажи ему, что у меня нет к нему злобы и всякое такое, но пускай лучше не попадается мне на глаза.

— Скажу! — Она вскочила и стала натягивать перчатки. — Я передам тебе его ответ.

— Знаешь что, поужинай со мной сегодня.

— Хорошо.

Она подставила ему губы для поцелуя и, когда он прижался губами к ее рту, обхватила руками его шею.

— Ты просто золото, Филип!

Часа через два она прислала ему записку, что у нее болит голова и она не сможет с ним поужинать. Филип был почти уверен, что так оно и случится. Он знал, что она ужинает с Гриффитсом. Его мучила ревность, но внезапная страсть, которая захватила этих двоих, представлялась ему каким-то наказанием Божьим, и он был перед ним бессилён. То, что они полюбили друг друга, казалось ему естественным. Он видел все преимущества Гриффитса и признавал, что на месте Милдред поступил бы так же, как поступила она. Больше всего его поразило предательство Гриффитса: они ведь были такими близкими друзьями и Гриффитс знал, как страстно он привязан к Милдред; он мог бы его пощадить.

Филип не видел Милдред до пятницы; он совсем извелся от тоски по ней, но, когда она пришла и он понял, что мысли ее целиком заняты Гриффитсом, а о нем она просто забыла, Филип вдруг ее возненавидел. Он сообразил наконец, почему они с Гриффитсом полюбили друг друга: Гриффитс был глуп, да, просто глуп! Филип знал это и раньше, но обманывал себя. Гриффитс — глупый и ничтожный человек; под его обаянием скрывался бессовестный эгоизм; чтобы потешить себя, он готов был пожертвовать кем угодно. А какой пустопорожней была жизнь, которую он вел: шатание по барам, попойки в мюзик-холлах, бегство от одной доступной возлюбленной к другой... Он никогда не читал книг, ему были понятны только скабрёзность да пошлость; в голове у него не вмещалась ни одна серьёзная мысль; наибольшей похвалой в его устах было слово «шикарно», он награждал им и мужчин и женщин. Шикарно! Неудивительно, что он нравился Милдред. Они стояли друг друга.

Филип разговаривал с Милдред о вещах, которые обоим были неинтересны. Он знал, что ей хочется поговорить о Гриффитсе, но не дал ей этой возможности. Он и не вспоминал о том, что два дня назад она отказалась с ним ужинать, придумав пустую отговорку. Он держал себя с ней небрежно, желая показать ей, что вдруг к ней охладел; он проявил редкую изобретательность, выдумывая мелкие колкости, которые были так тонки и так изысканно жестоки, что она не могла возмутиться вслух. Наконец она поднялась.

— Мне, пожалуй, пора, — сказала она.

— Да, у тебя, верно, еще много дел, — ответил он.

Она протянула ему руку, он пожал ее и отворил дверь. Он знал, о чем ей надо с ним поговорить, и знал также, что его высокомерный, насмешливый тон внушает ей робость. Застенчивость Филипа часто помимо его воли делала его таким холодным и недоступным, что люди его боялись, и, поняв это, он научился при случае принимать неприступный вид.

— Ты не забыл своего обещания? — произнесла она наконец, когда он пропускал ее в дверь.

— Какого?

— Насчет денег.

— Сколько тебе?

Он произнес это ледяным тоном, который делал его слова еще более обидными. Милдред покраснела. Он чувствовал, как она ненавидит его в эту минуту, и удивлялся ее самообладанию, которое мешало ей наброситься на него с бранью. Ему хотелось, чтобы она помучилась.

— Ведь мне завтра надо платить за платье и за пансион! Но это все. Гарри не хочет ехать, поэтому те деньги нам не нужны.

Сердце Филипа больно защемило, и он выпустил дверную ручку. Дверь захлопнулась.

— Почему не хочет?

— Говорит, что мы не можем... не можем на твои деньги.

Дьявол обуял Филипа, дьявол мучительства, который постоянно жил, притаившись, в его душе, и, хотя все существо его восстало против того, чтобы Гриффитс и Милдред уехали, он не мог совладать с собой и стал через нее уговаривать Гриффитса.

— Не понимаю почему, раз я согласен.

— Да вот и я ему говорю то же самое.

— Казалось бы, если он в самом деле хочет ехать, его ничто не должно останавливать.

— Да нет, дело не в этом, ехать он хочет. Он поехал бы не задумываясь, будь у него деньги.

— Раз он такой шепетильный, я одолжу деньги тебе.

— Я говорила ему, что если его это смущает, ты дашь ему деньги взаймы, а мы вернем, как только сможем.

— Ты небось не привыкла ползать перед мужчиной на коленях, чтобы он съездил с тобой на денек за город?

— Да, со мной этого не бывало, — сказала она с бесстыдным смешком.

По спине Филипа прошла холодная дрожь.

— Ну и что же ты намерена делать?

— Ничего. Он завтра едет домой. Не может не ехать.

В этом Филипп видел свое спасение: когда Гриффитса не будет между ними, он снова получит Милдред. У нее нет в Лондоне ни души, и она будет вынуждена проводить с ним время, а когда они останутся вдвоем, уж он постарается, чтобы Милдред поскорей забыла о своем увлечении. Ему надо было промолчать, и тогда бы все обошлось. Но им владело болезненное желание сломить их нерешительность, ему хотелось знать, до какой подлости они дойдут по отношению к нему; если он будет и дальше их искушать, они уступят, и мысль об их низости наполняла его острым злорадством. И хотя каждое слово, которое он произносил, стоило ему невыносимых мук, он испытывал какое-то чудовищное наслаждение.

— Получается, что ехать надо либо теперь, либо никогда.

— Вот и я ему говорю.

В ее голосе звучала такая страсть, что Филипп был поражен. От волнения он принялся кусать ногти.

— А куда вы собирались поехать?

— Да в Оксфорд. Ты ведь знаешь, он учился там в университете. Хотел показать мне город.

Филипп вспомнил, что как-то раз и он предлагал ей съездить на денек в Оксфорд, но она отказалась, не скрывая, что осмотр достопримечательностей нагоняет на нее отчаянную скуку.

— Да и с погодой вам как будто везет. В это время года там прелестно.

— Я сделала все, что могла, но его нельзя уговорить.

— Попытайся еще разок.

— Сказать ему, что ты настаиваешь, чтобы мы поехали?

— Ну, это, пожалуй, слишком.

Она помолчала минуту-другую, глядя на Филиппа. Он изо всех сил старался изобразить дружелюбие. Он ее ненавидел, он ее презирал, он любил ее всем своим существом.

— Знаешь, что я сделаю? Я схожу к нему и попробую его уломать. И, если он согласится, завтра зайду за деньгами. Когда ты будешь дома?

— Я вернусь домой после обеда и буду ждать.

— Ладно.

— Возьми сейчас деньги на платье и на комнату.

Он подошел к письменному столу и вынул из ящика все деньги, какие у него были. За платье нужно было отдать шесть гиней и еще заплатить за комнату, пансион и

недельное содержание ребенка. Он дал ей восемь с половиной фунтов.

— Большое спасибо, — сказала Милдред.

Она ушла.

ГЛАВА 77

Пообедав в столовой института, Филип вернулся домой. Была суббота, и хозяйка мыла лестницу.

— Мистер Гриффитс у себя? — спросил он.

— Нет. Он ушел утром, почти следом за вами.

— Но он вернется?

— Думаю, что нет. Он увез все свои вещи.

Филип раздумывал, что бы это могло значить. Взяв книгу, он принялся читать. Это было «Путешествие в Мекку» Бэртона, которое он только что принес из Вестминстерской публичной библиотеки; Филип прочел страницу, но ничего не понял, потому что мысли его были далеко; он все время прислушивался к звонку. Филип не смел надеяться, что Гриффитс бросил Милдред и уехал домой в Кемберленд. Милдред скоро придет за деньгами. Сжав зубы, он продолжал читать, отчаянно напрягая внимание; фразы насильно отпечатывались в его мозгу, но они были искажены до неузнаваемости терзаниями, которые он испытывал. Теперь он от души жалел, что сделал это ужасное предложение — дать им денег, но он его сделал, и у него не хватало сил пойти на попятный. В нем жило какое-то болезненное упрямство, которое вынуждало его довершать то, что он задумал. Филип заметил, что он прочел уже три страницы, не запомнив из них ни слова; тогда он вернулся назад и принялся читать сначала; он поймал себя на том, что снова и снова перечитывает одну и ту же фразу: она переплетается с его мыслями, как колдовское заклинание, как слова, преследующие вас в кошмаре. Ему оставалось только уйти и не возвращаться домой до полуночи; тогда они не смогут уехать; он мысленно видел, как они наведываются к нему каждый час в надежде его застать. Он злорадствовал, думая о том, как они будут обескуражены. Нет, он не может уйти. Пусть явятся и возьмут деньги; он, по крайней мере, будет знать, до какого падения может дойти человек. Больше он не в силах был читать. Он просто не понимает слов. Откинувшись на спинку кресла, он закрыл глаза и, окаменев от горя, ждал Милдред.

Вошла хозяйка.

— Вас спрашивает миссис Миллер.

— Попросите ее войти.

Филип взял себя в руки — он не должен показать ей, что он переживает. Его так и тянуло броситься перед ней на колени, схватить за руки и молить, чтобы она не уезжала, но он знал, что не сможет тронуть ее сердце, она непременно расскажет Гриффитсу, что он говорил и как вел себя. Ему стало стыдно.

— Ну, как же вы решили насчет вашей маленькой прогулки? — весело спросил он.

— Мы едем. Гарри на улице. Я ему сказала, что ты не желаешь его видеть, поэтому он не хочет показываться тебе на глаза. Но он спрашивает, нельзя ли ему все-таки зайти хотя бы на минутку и с тобой попрощаться.

— Нет. Я не хочу его видеть.

Он понимал, что ей безразлично, простится он с Гриффитсом или нет. Теперь, когда Милдред была здесь, ему хотелось, чтобы она поскорее ушла.

— На, вот тебе пять фунтов. А теперь уходи.

Она взяла деньги и поблагодарила его. Потом пошла к двери.

— Когда ты вернешься? — спросил Филип.

— Да, наверно, в понедельник. Гарри надо ехать домой.

Он знал, как ему будет стыдно того, что он скажет, но желание и ревность пересилили все.

— Но тогда я тебя увижу, правда?

Он не смог скрыть мольбу в своем голосе.

— Конечно. Я дам тебе знать, как только приеду.

Он простился с ней за руку. Сквозь занавеску он увидел, как она вскочила в карету, ожидавшую ее у подъезда. Экипаж отъехал. Тогда Филип бросился на кровать и закрыл лицо руками. Он чувствовал, как к глазам его подступают слезы, и злился на себя; он крепко стиснул руки и весь сжался, чтобы не заплакать, но ничего не помогло: из горла вырывались громкие, неутешные рыдания.

Наконец он встал, обессиленный, больной от стыда, и умыл лицо. Он приготовил крепкую смесь виски с содовой. Выпив, он почувствовал себя немножко лучше. Но тут на глаза ему попались лежавшие на камине билеты в Париж, и в приступе ярости он швырнул их в огонь. Филип знал, что мог бы получить за них деньги обратно, но сжег их, и ему стало чуточку легче. Потом, убегая от одиночества, он вышел из дома. В клубе было пусто. Он чувствовал, что сойдет с ума, если не встретит человека, с которым можно пого-

ворить, но Лоусон был за границей; Филип пошел к Хей-уорду, однако горничная, открывшая ему дверь, сообщила, что хозяин уехал на воскресный день в Брайтон. Тогда Филип отправился в Британский музей — его как раз закрывали. Филип не знал, что делать. Мысли у него путались. Он видел перед собой Гриффитса и Милдред по дороге в Оксфорд, сидящих друг против друга в поезде, счастливых... Он вернулся домой; комната казалась ему застенком — столько он перенес в ней страданий; Филип снова принялся за книгу Бэртона, но, вместо того чтобы читать, без конца твердил себе: «Дурак, ведь ты сам предложил им уехать, ты сам дал им денег; ты просто навязал эти деньги; ты должен был предвидеть то, что случится, знакомя Гриффитса с Милдред: твоя собственная неумная страсть не могла не пробудить желания и в другом». Вот они подъезжают к Оксфорду. Они остановятся в каких-нибудь номерах на Джон-стрит; Филип никогда не бывал в Оксфорде, но Гриффитс столько о нем рассказывал, что Филип точно знал, куда они отправятся; ужинать они будут в «Кларендоне» — Гриффитс всегда там ужинал, когда ездил покутить в Оксфорд.

Филип зашел в ресторанчик возле Чэринг-кросс и заказал какую-то еду; он решил сходить в театр и, поужинав, пробился через толпу на галерку. Играли пьесу Оскара Уайльда.

Он думал о том, пойдут ли сегодня в театр Милдред с Гриффитсом — ведь им тоже надо как-то убить вечер; оба они слишком глупы, чтобы довольствоваться обществом друг друга; Филипу доставляло злобную радость всякое напоминание о том, какой у них пошлый ум, — ведь это их и роднит. Он рассеянно смотрел на сцену и, стараясь развеселиться, глотал в антрактах виски; к алкоголю он был непривычен и быстро захмелел, однако опьянение его было злым и мрачным. Когда представление кончилось, он выпил еще. Домой идти не хотелось — спать он все равно бы не смог: перед глазами будут стоять отвратительные картины, подсказанные воображением. Он старался об этом не думать. Он знал, что слишком много выпил. Его томило желание сделать что-нибудь гадкое, отвратительное — хотелось вывалиться в сточной канаве; все его существо было охвачено каким-то животным порывом, ему нужно было дойти до самого крайнего унижения.

Филип пошел по Пикадилли, волоча хромую ногу, мрачный, пьяный, сердце его раздиралось от ярости и боли.

К нему пристала размалеванная проститутка; она взяла его под руку, но он, грубо выругавшись, в бешенстве оттолкнул ее прочь. Пройдя несколько шагов, он остановился. На худой конец сойдет и эта. Он пожалел, что так с нею обошелся. Он вернулся:

— Послушайте, — начал он.

— Иди к черту.

Филип засмеялся.

— Я хотел вас спросить, не окажете ли вы мне честь и не поужинаете ли сегодня со мной?

Она недоверчиво на него взглянула и ничего не ответила. Она видела, что он пьян.

— Ну что ж, пожалуй.

Его позабавило, что она сказала это совсем как Милдред. Он повел ее в один из ресторанов, куда они обычно ходили с Милдред. Филип заметил, что, когда они шли, она поглядывала на его ногу.

— У меня хромая нога, — сказал он. — Надеюсь, вы не возражаете?

— Ну и чудак, — захохотала она.

Когда он добрался домой, у него ломило все кости, а в голове точно молотки стучали, он с трудом сдерживался, чтобы не кричать. Он выпил еще виски с содовой и, свалившись на кровать, проспал беспробудным сном до полудня.

ГЛАВА 78

Наконец настал понедельник, и Филип решил, что его долгая пытка кончена. Поглядев на расписание, он выяснил, что последний поезд, с каким Гриффитс мог к ночи добраться до дома, уходит из Оксфорда в час с небольшим и, стало быть, Милдред выедет в Лондон на несколько минут позже. Ему хотелось ее встретить, но потом он подумал, что Милдред предпочтет побыть в этот день одна; может быть, вечером она пришлет ему записочку, а если нет, он зайдет к ней домой завтра утром; дух его был укрощен. К Гриффитсу он испытывал жгучую ненависть, а Милдред, несмотря на все, что произошло, желал по-прежнему, с щемящей душу силой. Теперь он был рад, что не застал в субботу Хейуорда: ополоумев от горя и бросившись к нему искать утешения, он не смог бы удержаться и все бы ему рассказал, а Хейуорд пришел бы в негодование от его слабости. Он стал бы его презирать, он бы, наверно, возму-

тился готовностью Филипа сойтись с Милдред, после того как она отдалась другому. Ну и пусть возмущается! Филип был готов пойти на все, подвергнуться еще более позорным унижениям, лишь бы удовлетворить наконец свою страсть.

В сумерки ноги помимо воли привели его к дому, где жила Милдред, и он поглядел на ее окно. Оно не было освещено. Филип не решился спросить, вернулась ли Милдред. Он верил ее обещанию. Но и утром письма от нее не было, а когда он прибежал к ней в полдень, служанка сказала, что Милдред все еще не приезжала. Филип ничего не понимал. Ведь он знал, что Гриффитс должен был уехать домой еще вчера — его ждали на свадьбу, где он был шафером, а Милдред осталась без денег. Он перебрал в уме все, что могло случиться. После обеда он сходил к Милдред снова и оставил записку с просьбой поужинать с ним вечером. Тон его письма был спокойный, будто за последние две недели ничего не произошло. Он назначил место и время встречи и, все еще надеясь, вопреки здравому смыслу пошел на свидание; прождав целый час, он понял, что Милдред не придет. В среду утром ему стало стыдно идти справляться самому, и он отправил посыльного с письмом и поручением дожидаться ответа; через час мальчик вернулся с нераспечатанным письмом и сказал, что леди еще не вернулась в город. Филип совсем потерял голову. Этот последний обман был больше того, что он мог вынести. Он твердил себе без конца, что презирает Милдред, и, виня в этой новой беде Гриффитса, смертельно его ненавидел; он бродил, мечтая столкнуться с ним темной ночью, с наслаждением всадить ему в глотку нож где-нибудь возле сонной артерии и бросить его подышать на улице как собаку. От горя и бешенства Филип совсем потерял рассудок. Пить ему было противно, но он пил, чтобы притупить страдания. Он лег спать пьяный и во вторник и в среду.

В четверг он встал очень поздно и, зеленый, с мутными глазами, едва добрал до гостиной, чтобы поглядеть, нет ли писем. Когда он узнал почерк Гриффитса, сердце его словно чем-то пронзило.

«Дорогой дружище!

Мне трудно тебе писать, однако я должен это сделать. Надеюсь, ты не так уж страшно на меня сердит. Я знаю, мне не следовало уезжать с Милли, но я просто не мог с собой совладать. Она меня свела с ума, и я был готов на все, лишь бы ее добиться. Когда она мне сказала, что ты предложил нам денег, чтобы мы уехали, я не мог устоять.

А теперь с этим покончено, мне чудовищно стыдно того, что я сделал. И обидно, что я был таким идиотом. Я бы так хотел, чтобы ты на меня не сердился и разрешил тебя по-видать. Мне было очень больно, когда ты сказал Милли, что не хочешь меня видеть. Черкни мне, будь другом, хоть пару строк и скажи, что ты меня простил. Мне будет не так совестно. Я думал, что тебя это не очень огорчает, не то ты не предложил бы нам денег. Но я знаю, что не должен был их брать. Я приехал домой в понедельник, а Милли захотелось побыть одной в Оксфорде еще два дня. Она вернется в Лондон в среду, так что, когда ты получишь это письмо, вы уже встретитесь, и я надеюсь, все будет в порядке. Прощу тебя, напиши мне, что ты меня простил. Пожалуйста, напиши немедленно.

Всегда твой Гарри»

Филип в ярости порвал письмо. Он не собирался на него отвечать. Он еще больше презирал Гриффитса за это покаяние, а угрызения совести, которые тот будто бы испытывал, только злили его: можно совершить подлость, если уж ты на это пошел, но совсем гнусно потом о ней сожалеть. Письмо ему казалось трусливым и лицемерным. Ему была противна сентиментальность, с какой оно было написано.

— Этак легко было бы жить: сделал свинство, попросил прощения, отряхнулся и пошел дальше как ни в чем не бывало, — пробормотал он сквозь зубы.

Он от души пожелал, чтобы и ему когда-нибудь представился случай сделать Гриффитсу гадость.

Но теперь он хотя бы знал, что Милдред в городе. Поспешно одевшись и не теряя времени на бритье, он быстро проглотил чашку чаю и сел на извозчика. Ему казалось, что лошадь еле-еле плетется. Ему так надо было видеть Милдред, что в душе он молил Бога, в которого не верил, чтобы она хорошо его приняла. У него было одно желание — забыть. Он позвонил, сердце у него колотилось. Он испытывал такую страстную потребность ее обнять, что уже не помнил о своих страданиях.

— Миссис Миллер дома? — радостно спросил он.

— Она уехала, — ответила служанка. Он тупо на нее уставился. — Миссис Миллер заезжала час назад и забрала все свои вещи.

На секунду Филип онемел.

— Вы ей передали мое письмо? Она сказала, куда едет?

И тут он понял, что Милдред снова его обманула. Она не собиралась к нему возвращаться. Он взял себя в руки, боясь показаться смешным.

— Ну, конечно, она мне даст о себе знать. Видимо, отправила письмо по неверному адресу.

Он повернулся и в полной безнадежности побрел домой. Как же он сразу не догадался, что она именно так и поступит? Ведь она его никогда не любила, она дурачила его с первого дня; в ней не было ни сострадания, ни доброты, ни жалости. Единственное, что ему оставалось, — это примириться с неизбежным. Боль, которую он испытывал, была просто ужасна; лучше умереть, чем терпеть такую боль. У него мелькнула мысль покончить со всем этим: можно броситься в реку или лечь на рельсы. Но стоило ему выразить эту мысль словами, как он сам же возмутился. Рассудок подсказывал ему, что пройдет время и он переживет свое горе; он может заставить себя ее забыть; смешно убивать себя из-за какой-то вульгарной девки. Ему дана только одна жизнь, и безумие ею бросаться. Он *чувствовал*, что никогда не преодолеет своей страсти, но при этом *знал*, что время излечивает все.

Он не останется в Лондоне. Тут все ему напоминает о его несчастье. Филип дал телеграмму дяде, что едет в Блэкстебл, и, наспех уложив вещи, отправился первым же поездом. Ему хотелось сбежать из убогого жилья, бывшего свидетелем стольких страданий. Ему хотелось вдохнуть свежего воздуха. Он сам себе был противен. И понимал, что близок к помешательству.

С тех пор, как Филип вырос, ему всегда предоставляли в доме дяди самую лучшую комнату для гостей. Она была угловая, и одно из ее окон заслоняло большое старое дерево, зато из другого были видны сад и поле; за ними расстилались просторные луга. Филип помнил обои в этой комнате с детства. На стенах висели старомодные акварели, свидетели ранней викторианской поры, написанные другом детства священника. В них было какое-то поблекшее очарование. Туалетный стол был задрапирован туго накрахмаленной кисеей. В комнате стоял высокий комод. Филип вздохнул от удовольствия: он раньше и не подозревал, как ему все это дорого. Жизнь в доме шла по давно заведенному порядку. Мебель тут никогда не переставлялась, священник ел всегда одно и то же, говорил одно и то же, отправлялся каждый день на одну и ту же прогулку; он чуть-чуть потолстел,

стал чуть-чуть молчаливее и еще ограниченнее. Он привык жить без жены и легко без нее обходился. Он по-прежнему ссорился с Джозией Грейвсом. Филип нанес визит церковному старосте. Тот еще больше похудел, чуть-чуть поседел, стал еще суровее; он сохранил прежнюю властность и прежнее отвращение к свечам на алтаре. Лавчонки были все такими же старомодными и живописными, и, стоя перед одной из них, где продавалось все, что нужно моряку — высокие сапоги, брезент, снасти, — Филип вспомнил, как влекло его в детстве море, магия приключений и неведомого.

И все-таки он не мог справиться с собой. Каждый стук почтальона заставлял биться его сердце: а вдруг принесли письмо от Милдред, пересланное лондонской хозяйкой; но в душе Филип знал, что письма не будет. Теперь, размышляя более спокойно, он понял, что попытка заставить Милдред его полюбить была с самого начала безнадежной. Кто знает, какие токи идут от мужчины к женщине и от женщины к мужчине и превращают одного из них в раба; людям удобно называть это половым инстинктом, однако если это только инстинкт, почему он рождает такое бурное влечение к одному существу, а не к другому? И влечение это непреодолимо: рассудок не может его побороть, дружба, признательность, расчет теряют рядом с ним всякую власть. Он не привлекал Милдред физически, и потому, что бы он ни делал, это не производило на нее никакого впечатления. Мысль эта возмутила его: значит, страсть превращала человека в животное? Он внезапно понял, что людское сердце — темный омут. Оттого, что Милдред была к нему равнодушна, он считал ее бесполой; ее малокровный вид, тонкие губы, узкие бедра, плоская грудь и вялость движений подтверждали его предположение; но вот оказалось, что и она способна на внезапный порыв страсти, который заставил ее пожертвовать всем, чтобы эту страсть удовлетворить. Ему всегда была непонятна ее связь с Эмилем Миллером; казалось, она так не вяжется с характером Милдред, и та до сих пор сама не могла объяснить, почему ее влекло к этому немцу; но теперь, после встречи Милдред с Гриффитсом, Филип понял, что и тогда произошло то же самое: Милдред просто потеряла голову — ею владела похоть. Филип силился разгадать, чем же обладают те двое, что ее так неудержимо к ним влечет. Оба они любили пошловато подурачиться, и это тешило ее примитивное чувство юмора и природную вульгарность; однако покоряла ее, по-види-

мому, откровенная чувственность, которая была отличительной чертой как одного, так и другого. Милдред кичилась своей «светской» деликатностью, которую пугает всякое соприкосновение с изнанкой жизни; она считала естественные функции организма чем-то непристойным; для самых простых понятий употребляла возвышенные выражения, вычурное слово всегда предпочитала обыденному, но скотская похоть этих мужчин была словно удар хлыста, обжигающий ее худенькие белые плечи, — почувствовав его, она сладострастно содрогалась.

Филип твердо решил, что больше не вернется в ту квартиру, где столько страдал. Он написал хозяйке и предупредил ее, что освобождает комнаты. Ему захотелось, чтобы его окружали его собственные вещи. Он решил снять немеблированную квартиру — так будет и приятнее, и дешевле, а экономить было необходимо, ибо за последние полтора года он истратил почти семьсот фунтов. Ему придется быть крайне бережливым. Временами его охватывал страх, когда он думал о будущем: он был глупцом, посадив на Милдред столько денег, но он знал, что начнись все сначала — и он поступит точно так же. Его часто смешило, что друзья, судя по его лицу, скупому отражающему чувства, и по его медлительности, считают его человеком сильной воли, рассудительным и холодным, думают, что он чрезвычайно разумен, и хвалят за трезвость суждений; но сам Филип знал, что его невозмутимость — только инстинктивно найденная маска, которая служит ему как защитная окраска бабочке; его поражало собственное слабование. Ему казалось, что его, как листок на ветру, уносят самые мимолетные чувства, а уж когда его захватывает страсть, он теряет всякую способность сопротивляться. Он совсем не умеет собой владеть. Людям кажется, что у него есть самообладание, просто потому, что он равнодушен к множеству вещей, которые трогают других.

Филип не без иронии вспоминал о философии, которую он для себя придумал, — она не очень-то ему помогла в нынешних обстоятельствах, да и вообще может ли интеллект всерьез помочь людям в критическую минуту жизни? Филипу казалось, что человеком скорее движет какая-то неведомая сила, чуждая ему и в то же время таящаяся в нем самом; она влечет его, как то могучее дыхание ада, которое без усталости несло Паоло и Франческу. Человек принимает решение, но, когда наступает время действовать, он бессильно склоняется под бременем своих инстинктов

страстей и еще Бог знает чего. Он словно машина, которую приводят в действие две силы — среда и характер; разум его — только созерцатель, регистрирующий факты, но бессильный вмешаться; роль его напоминает тех богов Эпикура, которые наблюдают за людскими делами со своих эмпирейских высот, но не властны изменить ни на йоту того, что происходит.

ГЛАВА 79

Филип уехал в Лондон дня за два до начала занятий, чтобы успеть найти себе квартиру. Он поискал в районе Вестминстер-Бридж-роуд, но убожество этих улиц вызвало у него отвращение; наконец он снял квартиру в Кенсингтоне — эта часть города показалась ему тихой и слегка старомодной. Она напоминала немножко тот Лондон за Темзой, который знал Теккерей; на Кенсингтон-роуд, по которой когда-то проезжало огромное ландо, везя семейство Ньюкомов в Вест-энд, распускались на платанах листья. Дома на улице, которая приглянулась Филипу, были двухэтажные, и чуть не в каждом окне висели объявления о том, что здесь сдаются квартиры. Филип постучал в дверь дома, где квартира сдавалась без мебели, и суровая, молчаливая женщина показала ему четыре маленькие комнатки; в одной из них были кухонная плита и раковина. Хозяйка спросила с него девять шиллингов в неделю. Филипу не нужно было так много комнат, но квартира стоила недорого, а ему хотелось поскорее устроиться. Он поинтересовался, не возьмется ли хозяйка убирать комнаты и готовить ему завтрак, но та ответила, что у нее и без того хватает работы. Филипа это даже обрадовало: она дала ему понять, что интересуется только квартирной платой, а во всем остальном пусть живет, как хочет. Хозяйка посоветовала обратиться в бакалейную лавку за углом — она же была и почтовой конторой: может быть, там ему порекомендуют женщину, которая согласится его обслуживать.

У Филипа постепенно скопились кое-какие пожитки: кресло, купленное им в Париже, стол, несколько рисунков и персидский коврик, подаренный Кроншоу. Дядя предложил ему складную кровать, в которой теперь, когда он больше не сдавал дом на лето, не было нужды; истратив еще десять фунтов, Филип купил себе все необходимое. Он заплатил десять шиллингов за то, что его будущую гостиную оклеили светло-золотистыми обоями; повесил

один из парижских этюдов Лоусона, фотокопии «Одалиски» Энгра и «Олимпии» Мане, которыми он постоянно любовался в Париже во время бритья. В память о том, что он и сам когда-то занимался живописью, Филип прибил на стенку портрет углем молодого испанца Мигеля Ахурии; это было лучшее, что Филип нарисовал в своей жизни: обнаженный натурщик стоял, сцепив руки и крепко упираясь ногами в пол, вся его фигура дышала какой-то необычайной силой, а лицо выражало поразительную решимость. Самое страшное на свете — это когда люди, которым не дано таланта, упорно хотят заниматься искусством. Прошло время, и теперь Филип ясно видел недостатки своей работы, но она вызывала у него столько ассоциаций, что он ей все прощал. Он часто задумывался о судьбе Мигеля. Быть может, измученный холодом, голодом, болезнью, испанец умер где-нибудь в больнице или в приступе отчаяния покончил с жизнью в мутной Сене; однако с непостоянством истого южанина он мог сам отказаться от борьбы и теперь служить в какой-нибудь мадридской конторе, тратя свое пламенное красноречие на политику или бой быков.

Филип пригласил Лоусона и Хейуорда посмотреть свое новое жилище; они явились — один с бутылкой виски, другой со страсбургским паштетом, — и Филип обрадовался, когда друзья похвалили его вкус. Он бы пригласил и шотландца-маклера, но у него было всего три стула, и число приглашенных пришлось ограничить. Лоусон знал, что Филип был очень близок с Норой Несбит, и рассказал, что встретил ее несколько дней назад.

— Она спрашивала о тебе.

Филип покраснел при упоминании о ней (он так до сих пор и не научился краснеть от смущения, и Лоусон поглядывал на него не без лукавства. Лоусон, который большую часть года проводил теперь в Лондоне, поддавался влиянию среды: остриг волосы, носил благопристойный костюм и котелок.

— Я понял, что между вами все кончено, — сказал он.

— Да, мы не виделись несколько месяцев.

— Она мило выглядит. На ней была очень нарядная шляпка с уймой белых страусовых перьев. Видно, у нее неплохо идут дела.

Филип перевел разговор на другую тему, но продолжал думать о Норе и спустя некоторое время вдруг спросил:

— Как по-твоему, Нора на меня сердится?

— Ни чуточки. Она очень тепло о тебе говорила.

— Надо будет к ней зайти.

— Что ж, она тебя не съест.

Филип часто вспоминал о Норе. Когда от него ушла Милдред, он с горечью подумал, что Нора никогда бы так с ним не поступила. Его потянуло к ней — он мог рассчитывать на ее сострадание, но ему было стыдно: ведь Нора так хорошо к нему относилась, а он обошелся с ней гнусно.

«Эх, если бы у меня хватило ума остаться с Норой!» — подумал Филип, когда Лоусон и Хейуорд ушли и он курил перед сном последнюю трубку.

Он вспоминал часы, которые они так приятно коротали в ее уютной комнате на Винсент-сквер или в картинных галереях и театрах, — тихие вечера, проведенные в интимной беседе. Он не мог забыть, какой она была заботливой, как интересовалась всем, что интересовало его. Она любила его нежно и преданно; ее любовь была куда больше простого физического влечения, в ней проглядывало что-то материнское; Филип всегда понимал, что ее отношением к нему надо дорожить, что это бесценный дар богов. Теперь он решил отдаться на ее милость. Она, должно быть, тяжело перестрадала, но сердце у нее великодушное и она его простит: Нора не способна мстить. Может быть, лучше ей написать? Нет. Он явится к ней неожиданно, упадет к ее ногам — правда, зная себя, он понимал, что не сможет вести себя так театрально, но ему хотелось представить себе их встречу именно такой — и скажет, что, если она согласится принять его снова, он будет предан ей всю жизнь. Он излечился от своей ненавистной болезни, знает, какой достойный она человек, она может теперь на него положиться. Он стал думать о будущем. Вот они с ней на реке в воскресенье; они съезжат в Гринвич (разве можно забыть чудесную прогулку с Хейуордом и красоту Лондонского порта — это было одно из самых дорогих его воспоминаний); в солнечные дни после обеда они с Норой будут сидеть в парке и тихо разговаривать; он засмеялся при одной мысли об ее веселой болтовне, которая лилась, как ручеек, журчащий по камешкам, — забавная, легкомысленная и свое нравная. Мучения, которые он испытал, забудутся, как дурной сон.

Но когда на следующий день, часов около пяти — в это время она почти всегда бывала дома, — Филип постучал в дверь, мужество вдруг покинуло его. Сможет ли она его простить? С его стороны было бестактно без спроса вторгаться в ее жизнь. Дверь отворила служанка — ее не было в те

дни, когда он ходил сюда ежедневно, — и Филип осведомился, дома ли миссис Несбит.

— Спросите ее, может ли она принять мистера Кэри, — сказал он. — Я обожду.

Служанка побежала наверх и через минуту вернулась.

— Прошу вас, сэр. Второй этаж, направо.

— Знаю, — слегка улыбнувшись, сказал Филип.

Он поднялся наверх и постучал в дверь.

— Войдите, — произнес знакомый веселый голос.

Ему показалось, что его приглашают войти в новую жизнь, полную покоя и счастья. Когда он отворил дверь, Нора пошла ему навстречу. Она пожала ему руку так, словно рассталась с ним только вчера. Со стула поднялся какой-то человек.

— Мистер Кэри. Мистер Кингсфорд.

Горько разочарованный тем, что не застал Нору одну, Филип сел и стал разглядывать незнакомца. Он никогда не слышал от Норы этого имени. Однако мистер Кингсфорд явно чувствовал себя здесь как дома. Это был гладко выбритый человек лет сорока с длинными, аккуратно прилизанными светлыми волосами, чуть-чуть красноватым лицом и бесцветными, утомленными глазами, какие обычно бывают у блондинов не первой молодости. У него были крупный нос, большой рот, выдающиеся скулы и грузное тело; роста он был выше среднего и широк в плечах.

— А я как раз думала, куда вы пропали, — сказала Нора, как всегда оживленно. — На днях я встретила мистера Лоусона — он вам рассказывал? — и намекнула ему, что вам давно пора меня навестить.

Филип не замечал и тени замешательства в ее обращении и восхищался ее непринужденностью; он был сам не свой от смущения. Нора предложила чашку чаю и чуть было не положила в нее сахар, но Филип ее вовремя остановил.

— Какая глупость! — воскликнула она. — Подумайте, совсем забыла!

Он не поверил. Разве Нора могла не помнить, что он пьет чай без сахара? Это маленькое происшествие он воспринял как признак того, что ее беззаботность была только показной.

Разговор, прерванный приходом Филипа, возобновился и очень скоро он почувствовал себя лишним. Кингсфорд не обращал на него внимания. Говорил он умело, складно, не без остроумия, но чуть-чуть педантично; выяснилось, что он журналист и может рассказать кое-что забавное обо всем

на свете; Филипа раздражало, что его как бы вытеснили из общей беседы. Он решил во что бы то ни стало пересидеть этого гостя. Его интересовало, питает ли Кингсфорд к Норе какие-нибудь чувства. В прежние времена они с Норой часто подшучивали над людьми, пытавшимися за ней ухаживать; Филип старался перевести разговор на тему, которая была знакома только ему и Норе, но журналист всякий раз вмешивался в беседу и направлял ее так, что Филипу приходилось молчать. Нора начинала его немножко злить, ведь она должна была заметить, что его ставят в смешное положение, — может быть, она решила его таким образом проучить? Эта мысль вернула ему хорошее настроение. Наконец часы пробили шесть, и Кингсфорд поднялся.

— Мне нужно идти, — заявил он.

Нора пожала ему руку и проводила до лестницы. Она приоткрыла за собой дверь и постояла с гостем на площадке. Филип не понимал, о чем они могут так долго говорить.

— Кто такой этот мистер Кингсфорд? — весело спросил ее Филип, когда она вернулась.

— Редактор одного из журналов Хармсуорта¹. Последнее время он напечатал довольно много моих вещей.

— А мне уж казалось, что он никогда не уйдет.

— Я рада, что ты остался. Мне хотелось с тобой поговорить. — Она свернулась калачиком в большом кресле, забравшись в него с ногами — она была такая маленькая, что ей это было нетрудно, — и закурила сигарету. Филип улыбнулся, увидев знакомую позу, казавшуюся ему всегда такой забавной.

— Ты похожа на кошку.

Она сверкнула своими красивыми темными глазами.

— Да, не мешало бы мне избавиться от этой привычки. В моем возрасте глупо вести себя, как девчонка, но мне удобно сидеть, поджав ноги!

— До чего же приятно снова очутиться в этой комнате, — со счастливым вздохом сказал Филип. — Ты себе представить не можешь, как мне этого не хватало.

— Почему же, позволь спросить, ты не приходил раньше? — весело осведомилась она.

— Не смел, — ответил он, краснея.

Она мягко на него поглядела. На ее губах появилась нежная улыбка.

¹ Гарольд С. Хармсуорт Ротермир (1868—1940) — английский газетный король.

— Ну и зря.

Он запнулся. Сердце его часто билось.

— Помнишь, в тот последний раз, когда мы виделись... Я обошелся с тобой, как последняя скотина, мне ужасно стыдно... — Она смотрела на него в упор, но ничего не говорила. Он совсем растерялся; казалось, он только сейчас понял, что явился к ней с недостойной целью. Она и не подумала ему помочь, и тогда ему осталось только выпалить напрямик: — Сможешь ты когда-нибудь меня простить?

И тогда, уже не сдерживая охватившего его порыва, он рассказал ей, что Милдред его бросила и он был в таком отчаянии, что чуть не покончил с собой. Он рассказал ей все, о рождении ребенка, о встрече с Гриффитсом, о своем безумстве, о своей доверчивости, о том, как подло его обманули. Он рассказал, как часто вспоминал ее доброту, ее любовь, как горько сожалеет, что пренебрег ею, — он ведь был счастлив только с ней и знает, какой она замечательный человек. Голос у него охрип от волнения. Минутами ему становилось так стыдно, что он не смел поднять на нее глаза. Лицо его было страдальчески искажено; однако он испытывал странное облегчение от того, что может все ей высказать. Наконец он кончил. Обессиленный, он со вздохом откинулся на спинку кресла и ждал, что она скажет. Он ничего от нее не скрыл и в своем самоуничижении старался изобразить себя еще презреннее, чем был на самом деле. Его удивляло ее молчание; он поднял голову и взглянул на нее. Она смотрела в сторону. Лицо ее побледнело как мел, она, казалось, глубоко задумалась.

— Неужели тебе нечего мне сказать?

Она вздрогнула и покраснела.

— Да, видно тебе пришлось несладко, — сказала она. — Мне ужасно жаль...

Она как будто хотела сказать что-то еще, но замолчала, и Филип опять стал ждать. Наконец Нора выдавила из себя через силу:

— Я помолвлена с мистером Кингсфордом.

— Почему ты мне сразу не сказала? — закричал Филип. — Зачем тебе нужно было, чтобы я перед тобой унижался?

— Прости, но я не могла тебя прервать... Я познакомилась с ним вскоре после того, как ты... — она с трудом подыскивала слова, которые его не обидят, — сказал мне, что твоя приятельница вернулась. Некоторое время я очень

страдала, а он был ко мне удивительно внимателен. Он знал, что кто-то причинил мне ужасную боль — конечно, и не подозревая, что это был ты, — один только Бог ведает, что бы я одна стала делать! И вдруг я почувствовала, что не могу без конца работать, работать, только работать; я так устала и так плохо себя чувствовала. Я рассказала ему о муже. Он предложил мне денег, чтобы я могла получить развод, если я соглашусь сразу же потом выйти за него замуж. У него приличная служба, и мне, если я захочу, не придется больше работать. Он так хорошо ко мне относится и так хочет, чтобы мне полегче жилось. Я была страшно тронута. А теперь и я очень, очень к нему привязалась.

— Значит, ты уже получила развод?

— Да, расторжение брака оформлено. Оно вступит в силу в июле, и тогда мы сразу же поженимся.

Филип долго молчал.

— Обидно, что я вел себя, как последний дурак, — пробормотал он, вспоминая свою длинную унижительную исповедь. Нора поглядела на него с любопытством.

— Но ты ведь никогда, в сущности, меня не любил, — сказала она.

— А ты думаешь, это приятно — любить?

Но, как всегда, он быстро овладел собой и, встав, протянул ей руку.

— Надеюсь, ты будешь счастлива. Наверно, тебе повезло.

Она поглядела на него с какой-то грустью и долго не выпускала его руки.

— Ты придешь еще, да? — спросила она.

— Нет, — покачал головой Филип. — Я буду слишком завидовать твоему счастью.

Он медленно вышел из дома. В конце концов Нора была права, сказав, что он никогда ее не любил. Филип был обескуражен, больше того, раздосадован, но самолюбие его было затронуту куда больше, чем сердце. Он от себя этого не скрывал. Постепенно до него дошло, что боги сыграли с ним знатную шутку, и он невесело усмехнулся. Человека не очень-то тешит способность смеяться над собственной глупостью.

ГЛАВА 80

В течение следующих трех месяцев Филип изучал науки, с которыми он был еще не знаком. Беспорядочная толпа людей, поступивших в медицинский институт почти два

года назад, заметно поредела: кое-кто ушел, выяснив, что экзамены сдавать куда труднее, чем казалось; других забрали домой родители, которые испугались дороговизны жизни в Лондоне; третьи просто решили переменить профессию.

Один знакомый Филипу юноша изобрел остроумный способ зарабатывать деньги: он покупал различные вещи на распродажах и закладывал их в ломбард; однако вскоре он считал еще более выгодным закладывать вещи, купленные в кредит; в больнице поднялась суматоха, когда его имя появилось в уголовной хронике. Дело отложили; расстроенный отец дал поручительство, и молодой человек отправился за море «нести бремя белого человека». Голова другого юнца из провинции закружилась в вихре столичной жизни: он пропадал в барах и мюзик-холлах, среди завсегдатаев скачек, «жучков» и тренеров; в конце концов он стал помощником букмекера. Филип как-то раз встретил его в баре возле Пикадилли-сэркус — на нем были пальто в талию и коричневая шляпа с широкими ровными полями. Третий студент, у которого был голос и дар имитации — он пользовался успехом на студенческих вечерах в институте, подражая знаменитым комикам, — променял больницу на опереточный хор. Еще один студент — его судьба заинтересовала Филипа потому, что неотесанный вид и манера выражаться одними междометиями не предполагали в нем душевных глубин, — вдруг почувствовал, что задыхается в городе. Задавленный каменными стенами Лондона, он стал чахнуть; душа, которой он в себе не подозревал, забилась, как зажатый в кулаке воробышек — он судорожно глотает воздух и не может унять перепуганное сердце; его угнетала тоска по бескрайнему небу и открытым, безлюдным просторам, среди которых прошло его детство; в один прекрасный день он вышел в перерыве между лекциями, не сказав никому ни слова, и больше не вернулся; друзья потом узнали, что он бросил медицину и работает на ферме.

Филип посещал теперь лекции по терапии и хирургии. Несколько дней в неделю по утрам он практиковал в перевязочной для приходящих больных, радуясь, что может зарабатывать немножко денег, обучался, как надо выслушивать больного и пользоваться стетоскопом. Учился он готовить лекарства. В июле ему предстоял экзамен по фармакологии, и он забавлялся, мешая лекарственные вещества, составляя смеси, скатывая пилюли и растирая мази. Он с жадностью кидался на все, в чем был хотя бы намек на пользу для человека.

Однажды издали он увидел Гриффитса, но, для того чтобы ему не пришлось делать вид, будто он с ним незнаком, свернул в сторону. Филип чувствовал неловкость, встречаясь с друзьями Гриффитса (некоторые из них были теперь и его друзьями); он понимал, что они знают о его ссоре с Гриффитсом и, наверно, осведомлены о причине. Некто Рэмсен — очень высокий парень с маленькой головой и томным видом, бывший одним из самых верных поклонников Гриффитса и подражавший ему в выборе галстуков и обуви, в манере разговаривать и размахивать руками, — сообщил Филипу, что Гриффитс очень обиделся, когда Филип не ответил ему на письмо. Он хочет с ним помириться.

— Это Гриффитс просил вас мне передать? — спросил Филип.

— Нет, что вы! Я сам решился сказать. Он страшно жалеет о своем поступке и говорит, что вы вели себя с ним, как рыцарь. Я знаю, он был бы рад забыть об этой ссоре. Он не ходит к нам в больницу, боясь, что встретит вас и вы не подадите ему руки.

— Да, не подам.

— Его это страшно огорчает, имейте в виду!

— Я как-нибудь смирюсь с тем, что причиняю ему эту маленькую неприятность, — сказал Филип.

— Он готов на что угодно, лишь бы вернуть вашу дружбу.

— Ребячество и дамская истерика! Что ему до меня? Я настолько неприметная персона, что он отлично обойдется без моего общества. Меня он больше не интересуется.

Рэмсен счел Филипа черствым и холодным человеком. Помолчав, он огляделся с растерянным видом.

— Гарри много бы дал, чтобы никогда не встречать этой женщины.

— Вот как?

Филип говорил с таким безразличием, что сам остался собой доволен. Никто бы не догадался, как отчаянно билось его сердце. Он с нетерпением ждал, что Рэмсен скажет.

— Надеюсь, теперь-то вас уже все это больше не трогает?

— Меня? — переспросил Филип. — Ни в какой мере.

Понемножку он выяснил всю историю отношений Милдред с Гриффитсом. Слушал он с улыбкой, изображая равнодушие, и вконец обманул недалекого парня, который ему эту историю рассказывал. Два дня, проведенные Милдред с Гриффитсом в Оксфорде, не только не охладили, а еще больше распалили ее внезапную страсть, и,

когда Гриффитс отправился домой, неожиданно для нее самой чувство потребовало, чтобы она хоть ненадолго осталась там, где была так счастлива. Милдред сознавала, что никакая сила на свете не заставит ее вернуться к Филипу. Он ей был противен. Гриффитс растерялся перед пожаром, который он сам разжег: два дня, проведенные с Милдред в деревне, показались ему довольно скучными, и у него не было желания превращать забавное приключение в томительную связь. Милдред заставила его дать слово, что он ей напишет, и, так как он был честным, покладистым парнем, от природы вежливым и готовым всем угодить, он написал ей из дома длинное и нежное письмо. Она ответила на него потоком страстных излияний, довольно неуклюжих — ибо не обладала даром выражать свои чувства, — примитивных и пошлых. Письмо раздосадовало Гриффитса, а когда на следующий день за ним последовало другое и еще день спустя — третье, такая любовь перестала ему льстить и только его испугала. Он не ответил; она начала бомбардировать его телеграммами, спрашивая, не болен ли он и получает ли ее письма, уверяла, что его молчание ее страшно тревожит. Он был вынужден написать, но постарался придать своему ответу небрежный и едва ли не оскорбительный тон: он просил ее больше не посылать ему телеграмм, так как ему трудно объяснить матери, что они означают: его мать — человек старомодный, у нее всякая телеграмма вызывает боязливую дрожь. Милдред тотчас же ответила, что непременно должна его видеть, и объявила о своем решении заложить вещи (у нее был несессер — свадебный подарок Филипа, за который можно было получить фунтов восемь) и приехать в городок, расположенный в четырех милях от деревни, где практиковал отец Гарри. Этот план испугал Гриффитса, и тут уж он прибегнул к услугам телеграфа, чтобы ей помешать. Он пообещал сразу же дать ей знать, как только приедет в Лондон, а когда он и в самом деле туда приехал, выяснилось, что она справлялась о нем в больнице, куда он получил назначение. Ему это не понравилось, и, встретившись с Милдред, он ей заявил, что она не должна показываться там ни под каким видом; теперь, после трехнедельной разлуки, он почувствовал, что ему смертельно скучно; он не понимал, зачем с ней связался, и твердо решил порвать эту связь, как можно скорее. Гриффитс до дрожи боялся скандалов, не любил он и причинять людям неприятности, однако он был человек занятой и не желал, чтобы Милдред ему надоедала. Встречая ее, он бывал

любезен, весел, забавен и даже нежен; он придумывал убедительные отговорки, объясняя, почему он так долго ее не видел, но делал все, чтобы поскорее от нее сбежать. Когда она настаивала на свидании, он в последнюю минуту посылал ей телеграмму с извинениями, и его квартирная хозяйка (первые три месяца он жил на частной квартире) получила приказ говорить, что его нет дома, когда бы Милдред ни пришла. Но Милдред подстерегала его на улице, и, зная, что она часами поджидает его у больницы, Гриффитс говорил ей несколько милых дружеских слов и убегал под предлогом неотложных дел. Он наострился выскальзывать из больничных дверей незамеченным. Однажды, возвращаясь в полночь домой, он заметил у ограды женскую фигуру и, подозревая, что это Милдред, отправился ночевать к Рэмсдену; на другой день хозяйка рассказала ему, что Милдред проплакала у них на крыльце несколько часов и она была вынуждена заявить, что, если та не уйдет, ей придется позвать полисмена.

— Да уж, голубчик, поверьте, — сказал Рэмсден, — вы дешево отделались. Гарри говорит, что если бы он мог хоть на миг предположить, какой она будет надоедливой, он бы повесился, прежде чем надел себе этот жернов на шею.

Филип представил себе, как она сидела на крыльце всю ночь напролет. Перед ним так и стояло ее лицо, обращенное к хозяйке, которая гнала ее прочь.

— Интересно, что она теперь делает?

— Слава Богу, нашла где-то работу. Теперь она, по крайней мере, весь день занята.

И напоследок, перед самым концом летнего семестра, ему рассказали, что даже учтивость Гриффитса рухнула, подточенная ее бесконечными преследованиями. Он заявил Милдред, что ему тошно от ее приставаний, ей лучше не показываться ему на глаза и не надоедать.

— Это было единственное, что ему оставалось делать, — сказал Рэмсден. — Больше нельзя было терпеть.

— Значит, между ними все кончено? — спросил Филип.

— Да, они не виделись уже дней десять. Знаете, Гарри ведь мастер рвать с женщинами. Правда, тут ему попался очень твердый орешек, но он все же его разгрыз.

Больше Филип о ней ничего не слышал. Она затерялась в огромном человеческом море Лондона.

ГЛАВА 81

В начале зимнего семестра Филип стал работать в амбулатории, где три ассистента принимали больных по два дня в неделю; Филип проходил практику у доктора Тайрела. Этого врача студенты любили и оспаривали друг у друга честь с ним работать. Доктор Тайрел был высокий худой человек лет тридцати пяти, с очень маленькой головой, поросшей короткой рыжей щетиной, голубыми глазами навывкате и очень красным лицом. Говорил он складно, приятным голосом, любил пошутить и ничего не принимал близко к сердцу. В жизни он преуспел: имел большую частную практику и ожидал дворянского титула. Постоянное общение со студентами и беднотой выработало у него покровительственный тон, а оттого что он вечно имел дело с больными, у него появилась бодрая снисходительная интонация здорового человека, с какой врачи обращаются к своим пациентам. Его больные чувствовали себя мальчишками, которых пробирает добродушный наставник, а свою болезнь — нелепой шалостью, скорее забавляющей взрослых.

Студенту полагалось присутствовать на приеме в амбулатории каждый день, читать истории болезни и приобретать таким образом врачебные познания; но в те дни, когда он работал регистратором, обязанности его были более определенными. Амбулатория больницы Св. Луки занимала три смежных кабинета и большую темную приемную с тяжелыми каменными колоннами и длинными скамьями. На них, получив в полдень свои талончики, ожидали пациенты, и длинные ряды больных в полутьме — с пузырьками и баночками, одни грязные и оборванные, другие более опрятные, мужчины, женщины всех возрастов и дети — производили жуткое впечатление. Они напоминали зловещие рисунки Домье. Стены были выкрашены одинаково, в розовато-желтый цвет, и отделаны высокой коричневой панелью; в комнатах пахло карболкой; к концу дня этот запах смешивался с резким запахом человеческого тела. Первая комната была самая большая, посередине стояли стол и стул для консультанта, а по бокам — два столика пониже, за одним из них сидел больничный врач, за другим — студент, который вел ежедневный регистр. Это была толстая книга, в которую записывались имя, возраст, пол, род занятий больного и его диагноз.

В половине второго появлялся больничный врач, звонил в колокольчик и давал швейцару распоряжение пригласить повторных больных. Таких всегда бывало много, и надо было их пропустить поскорее, до прихода доктора Тайрела, принимавшего с двух часов. Больничный врач, с которым приходилось иметь дело Филипу, был подвижный, небольшого роста, преисполненный сознания собственного достоинства; он свысока разговаривал с практикантами и негодовал, когда студенты постарше, бывшие его соученики, не оказывали ему должного почтения. Он разбирал истории болезни. Ему помогал регистратор. Больные шли нескончаемой чередой. Сперва впускали мужчин. Чаще всего они страдали хроническим бронхитом. «Прямо душу выворачивает от кашля», — жаловались они; один подходил к больничному врачу, другой — к практиканту, оба вручали свои талончики; если дела у них шли хорошо, на талонах писали «повт. 14» и они отправлялись со своими пузырьками и склянками в аптеку, где им выдавали лекарство еще на две недели. Завсегдатаи старались задержаться, чтобы их мог осмотреть консультант, но уловка эта удавалась редко: оставляли лишь троих или четверых, чье состояние вызывало тревогу.

В кабинет стремительно и бодро вбегал доктор Тайрел. Он чуть-чуть напоминал клоуна, выскакивающего на арену цирка с криком: «Вот и мы!» Весь его облик, казалось, говорил: «Что это за дурачество — изображать, будто вы больны? Ну ничего, я скоро приведу вас в христианский вид». Он садился, спрашивал, ждет ли кто-нибудь из старых больных, быстро производил осмотр, поглядывая на пациента пронизательным взглядом, и, рассуждая по поводу симптомов болезни, отпускал шутку, над которой от души хохотали все практиканты (больничный врач смеялся тоже, но смотрел с осуждающим видом на практикантов, видимо считая, что им смеяться неприлично), замечал, что погода сегодня хорошая или же слишком жаркая, и звонил швейцару, чтобы тот ввел первичных больных.

Они появлялись один за другим и подходили к столу, за которым сидел доктор Тайрел. Это были старики, молодежь и пожилые люди, главным образом из рабочих: грузчики, ломовые извозчики, фабричные рабочие, половые; однако некоторые из них, одетые почище, явно занимали более высокое положение — приказчика, служащего или кого-нибудь еще в этом роде. На таких людей доктор Тайрел смотрел с подозрением. Иногда они надевали поношен-

ное платье, чтобы показать, как они бедны; но у доктора был острый взгляд, он не терпел того, что на его взгляд было жульничеством; иногда он отказывался осматривать больных, которые, по его мнению, отлично могли заплатить за медицинскую помощь. Чаще всего пытались обмануть его женщины, но действовали они куда грубее. Надев дражные, чуть ли не в лохмотьях пальто и юбку, они забывали снять с пальца кольцо.

Если вы можете позволить себе носить драгоценности, вы в состоянии заплатить и доктору. Больница — это благотворительное заведение, — говорил доктор Тайрел.

Он возвращал талон и вызывал следующего больного.

— Но у меня есть талон!

— А мне наплевать на ваш талон — уходите! Вы не имеете права отнимать время, которое принадлежит настоящим беднякам.

Больная удалялась, злобно насупившись.

— Непременно напишет письмо в газету о безобразиях, царящих в лондонских больницах, — улыбаясь, говорил доктор Тайрел, беря в руки следующую бумажку и кинув на больного пронизательный взгляд.

Большинство пациентов, полагая, что больница — это государственное учреждение, которое содержат они как налогоплательщики, считали, что врачебная помощь принадлежит им по праву. Они воображали, будто врач, уделяющий им свое время, высоко оплачивается.

Доктор Тайрел поручал каждому из своих практикантов осмотреть по одному больному. Практикант уводил больного в один из соседних кабинетов — они были поменьше, и в них стояли кушетки, набитые конским волосом, — расспрашивал его, выслушивал сердце и легкие, прощупывал печень, заносил данные в больничную карту, мысленно ставил диагноз, а потом дожидался прихода доктора Тайрела. Тот появлялся, покончив с осмотром мужчин, в сопровождении целой свиты студентов, и практикант зачитывал ему то, что было занесено в карту. Врач задавал ему один-два вопроса и сам осматривал больного. Если прослушивалось что-нибудь интересное, студенты тоже брались за стетоскопы; больного зачастую можно было увидеть с двумя или тремя трубками, приложенными к груди, и еще двумя — к спине; остальные студенты с нетерпением дожидались своей очереди, чтобы тоже послушать. Больной стоял посреди этой толпы слегка растерянный, но и немного польщенный тем, что окружен таким вниманием; он

напряженно слушал, как доктор Тайрел разглагольствует по поводу его болезни. Студенты снова выслушивали больного чтобы поймать шумы или хрипы, описанные врачом, а потом пациенту разрешали одеться.

Осмотрев несколько больных, доктор Тайрел возвращался в большую комнату и снова усаживался за стол. Он спрашивал студента, оказавшегося поблизости, что бы тот прописал больному, которого они только что видели. Студент называл лекарство.

— Вы находите? — спрашивал доктор. — Во всяком случае, это что-то новое. Но я не думаю, что мы поступим так опрометчиво.

Его слова всегда вызывали смех, и с улыбкой в глазах, радуясь своему остроумию, доктор прописывал совсем не то средство, какое предлагал студент. Когда подряд попадались два одинаковых случая и студент предлагал для второго больного то же лечение, какое врач назначил первому, доктор Тайрел проявлял удивительную изобретательность, придумывая что-нибудь еще. Иногда, зная, что аптека перегружена работой, а потому предпочитает отпускать готовые средства или стандартные смеси, проверенные многолетней практикой, доктор развлекался, выписывая сложные рецепты.

— Пусть-ка фармацевт поработает. Если мы всегда будем прописывать самое простое, он потеряет всякую квалификацию.

Студенты хохотали, и доктор обводил их довольным взглядом. Потом он звонил и говорил заглянувшему в дверь швейцару:

— Пожалуйста, повторных женщин.

Откинувшись на стуле, он болтал с больничным врачом, пока швейцар вводил в комнату группу повторных пациентов.

Они входили — вереница малокровных девушек с пышными челками и бледными губами (бедняки плохо переваривают свою невкусную, малопитательную пищу); старух, тощих и тучных, преждевременно одряхлевших от частых родов, страдающих хроническим кашлем, — женщин, больных самыми разными болезнями. Доктор Тайрел с помощью больничного врача быстро с ними разделялся. Время шло, и воздух в тесном кабинете становился все тяжелее. Консультант глядел на часы.

— Много сегодня новых? — спрашивал он.

— Да порядком, если не ошибаюсь, — отвечал больничный врач.

— Давайте-ка их сюда. А вы продолжайте заниматься повторными.

Впускали новых. Самой распространенной причиной болезни у мужчин было злоупотребление спиртными напитками, а у женщин — плохое питание. Примерно к шести часам и с ними бывало покончено. Филипп, совершенно измученный тем, что часами стоял на ногах, дышал спертым воздухом и с напряжением следил за осмотром больных, отправлялся с другими практикантами выпить чаю в институтскую столовую. Работа его очень увлекала. Он сталкивался с людьми в самом неприкрашенном их виде, а что может быть лучшим материалом для художника? Филипп охватывало волнение, когда он думал о том, что похож на скульптора, а больные — на глину в его руках. Он вспоминал с улыбкой свою парижскую жизнь, полную забот о цвете, оттенке, соразмерностях и еще бог весть о чем, необходимом для того, чтобы создавать прекрасные произведения: прямое столкновение с людьми давало ему волнующее ощущение власти над ними, которого он прежде не знал. Ему никогда не надоедало всматриваться в их лица, слушать их говор; они входили сюда каждый по-своему: один — неуклюже волоча ноги, другой — пританцовывая, третий — медленно и тяжело топая, четвертый — на цыпочках от смущения. Часто по их виду можно было угадать, чем они занимаются. Вы учились задавать вопросы так, чтобы вас понимали, постепенно узнавали, на какие из них вам почти всегда отвечают неправду и каким образом вы все-таки можете установить истину. Вы замечали, как по-разному воспринимают люди одно и то же известие. Опасный диагноз один принимает шутя, со смехом, другой — с немым отчаянием. Филипп заметил, что с этими людьми он куда меньше страдает от своей застенчивости; то, что он испытывал к ним, не было сочувствием, ибо сочувствие предполагает снисхождение; но с ними ему было легко. Он понял, что умеет их к себе расположить, и, когда ему поручали опросить больного, ему казалось, что тот отдастся ему в руки с полным доверием.

«А, чем черт не шутит, — говорил он себе. — Может, мне на роду написано быть врачом. Вот забавно, если я напал на ту единственную стезю, по которой должен был пойти с самого начала».

Филиппу казалось, что ему одному из всех практикантов понятен драматизм того, что происходит в эти часы. Для

других эти мужчины и женщины были только больными — интересными, если болезнь была сложной, надоедливыми, если симптомы были слишком очевидны; они вслушивались в шумы сердца, удивлялись ненормальному размеру печени, хрипы в легких вызывали у них оживленные споры. Но для Филипа во всем этом было что-то гораздо более значительное. Ему было интересно просто разглядывать больных — форму их головы, рук, выражение глаз, линии носа. В этой комнате вы видели человека, пойманного врасплох: неожиданность срывала с него маску социальных условностей, и под ней обнажалась ничем не защищенная душа. Порою вы наблюдали такое проявление стоицизма, которое не могло вас не тронуть. А ведь этих людей никто не обучал стоицизму. Как-то раз одному больному — неотесанному, безграмотному человеку — сказали, что его болезнь неизлечима; Филип, который и сам обладал силой воли, поразился, какое врожденное благородство заставило этого человека выслушать свой приговор, не дрогнуть в присутствии посторонних. Но сохранит ли он мужество наедине с самим собой или же поддастся отчаянию? Порой разыгрывались настоящие трагедии. Как-то раз молодая женщина привела на осмотр сестру, девушку лет восемнадцати с тонкими чертами лица и большими голубыми глазами. У нее были светлые локоны, на которых загорались золотые блики, когда их касался луч осеннего солнца, и необычайно нежная кожа. Студенты улыбались и не могли отвести от нее глаз. В этих мрачных кабинетах так редко попадались красивые девушки. Старшая сестра рассказала историю их семьи: отец и мать умерли от туберкулеза, за ними погибли брат и сестра; из всей семьи остались только они двое. Последнее время девушка стала кашлять и быстро худела. Она сняла кофточку — шея у нее была молочной белизны. Доктор Тайрел молча и, как всегда, очень быстро ее осмотрел; он приказал двум или трем практикантам приложить стетоскопы к месту, которое обозначил пальцем, потом девушке разрешили одеться. Сестра стояла в сторонке и негромко спросила доктора — так, чтобы девушка не услышала. Голос ее дрожал от страха:

— У нее ведь его нет, доктор? Скажите, что нет!

— Увы! Боюсь, что случай очень ясный.

— Она ведь последняя. Если ее не станет, у меня никого не будет на свете.

Женщина заплакала, а доктор пристально на нее поглядывал: ему казалось, что и у нее чахоточный вид, ей тоже не дожить до старости. Девушка обернулась и заметила, что

сестра плачет. Она все поняла. От ее прелестного лица отхлынула кровь, из глаз полились слезы. Сестры постояли немножко, беззвучно рыдая, а потом старшая, забыв о том, что их окружает толпа чужих, подошла к девушке, обняла ее и стала ласкать, как ребенка.

Когда они вышли, один из студентов спросил:

— Как вы думаете, доктор, сколько она протянет?

Доктор Тайрел пожал плечами.

— Брат и сестра умерли через три месяца после того, как были замечены первые симптомы болезни. С ней будет то же самое. Если бы они были богаты, может, и удалось бы что-нибудь сделать. Но таким, как они, не посоветуешь поехать в Сен-Мориц. Им ничем не поможешь.

Однажды пришел человек — сильный, в цвете лет; его мучила упорная боль, а местный врач не мог ему ничем помочь; он тоже был обречен на смерть, но не ту неизбежную смерть, против которой бессильна медицина (она страшит, но с ней смиряешься, потому что борьба все равно бесполезна), а смерть, неминуемую лишь потому, что жертва ее — только маленькое колесико в огромной и сложной машине человеческого общества и, так же как это колесико, бессильна изменить условия своего существования. Единственным спасением для этого человека был бы полный покой. Но врач требовал невозможного.

— Вам бы следовало взяться за более легкую работу.

— В моей профессии не бывает легкой работы.

— Ну что ж, если вы так будете жить и дальше, это вас убьет. Вы очень больны.

— Вы хотите сказать, что я помру?

— Мне бы не хотелось вам этого говорить, но вы, безусловно, не можете выполнять тяжелую работу.

— Если я не буду работать, кто прокормит жену и ребят?

Доктор Тайрел пожал плечами. Такой вопрос задавался ему сотни раз. Но время, как всегда, не ждало, а принять надо было еще многих пациентов.

— Ну что ж, я выпишу вам лекарство; приходите через неделю — расскажете, как себя чувствуете.

Больной взял свой талон с выписанным на нем для очистки совести лекарством и вышел. Вольно доктору давать подобные советы! Он совсем не так плох, чтобы бросать работу. У него хороший заработок, и он не может позволить себе им кидаться.

— Жить ему осталось не больше года, — сказал доктор Тайрел.

Порою разыгрывались и комедии. Сверкали блески простонародного юмора; появлялась какая-нибудь старушка — словно персонаж со страниц Диккенса — и забавляла всех своей чудаковатой болтовней. Как-то раз пришла женщина, которая служила в кордебалете знаменитого мюзик-холла. На вид ей было пятьдесят, но она уверяла, что ей двадцать восемь. Накрашена она была до бесстыдства и вызывающе кокетничала со студентами, выкатывая большие черные глаза и растягивая губы в манящей улыбке. Самомнения у нее было хоть отбавляй, и она разговаривала с доктором Тайрелом таким фамильярным тоном, словно он был ее записным поклонником. Она объявила с трудом скрывавшему смех доктору, что у нее хронический бронхит, который мешает ей выполнять профессиональные обязанности.

— Понятия не имею, с чего эта гадость ко мне прилепилась, ей-Богу! За всю свою молодую жизнь ни разу не болела. Да разве по мне этого не видеть?

Она закатывала глаза с густо накрашенными ресницами, обводила молодых людей долгим взглядом и сверкала желтыми зубами. Говорила она с простонародным акцентом, но с такой деланной светскостью, что речь ее невозможно было слушать без смеха.

— Вы, по-видимому, простыли, — серьезно объяснил ей доктор Тайрел. — Пожилые женщины легко простуживаются.

— Ну, милый! Разве можно говорить такие вещи даме? Меня еще никто не называл пожилой!

Она как можно шире раскрыла глаза и склонила голову набок, поглядывая на него с невыразимым кокетством.

— В этом неудобство нашей профессии. Приходится забывать о галантности.

Она взяла рецепт и кинула на врача последний томный взгляд.

— Вы придете поглядеть, как я танцую, дорогуша? Ну прошу вас!

— Непременно...

Он позвонил, вызывая следующую больную.

— Приятно, господа, что вы были здесь и могли огладить мою добродетель.

То, что здесь происходило, нельзя было, в сущности говоря, назвать ни трагедией, ни комедией. Это вообще было трудно как-нибудь назвать, такая была тут смесь самых разнообразных противоречий — и смех и слезы, и

радость и горе, томительная скука и самый живой интерес (все зависело от того, как на это смотреть), столько было здесь кипучей жизни — страсти, глубокого смысла, смешного и печального, пошлого простодушия и душевной сложности, были тут и счастье и отчаяние, материнская любовь и любовь мужчины к женщине; по этим кабинетам влачило свои тяжкие стопы сладострастие; бичуя без разбора и виновных и невиноватых, беспомощных жен и беззащитных детей; пьянство поработило мужчин и женщин, заставляя их платить роковую дань; смерть наполняла эти комнаты своими вздохами; в них слушали биение зарождающейся жизни, наполняя душу какой-нибудь бедной девушки стыдом и отчаянием. Тут не было ни добра, ни зла. Одна только действительность. Жизнь.

ГЛАВА 82

В конце года, когда Филип заканчивал свою трехмесячную практику в амбулатории, он получил от Лоусона письмо из Парижа.

«Дорогой Филип! Кроншоу в Лондоне и был бы рад тебя видеть. Он живет в Сохо, Гайд-стрит, 43. Не знаю, где это именно, но ты найдешь. Будь молодчиной и присмотри за ним немножко. Ему очень не повезло. Он сам тебе расскажет, что делает. Тут все идет, в общем, по-прежнему. С тех пор как ты уехал, мало что изменилось. Клаттон вернулся, но стал совершенно невыносим. Рассорился со всеми. Насколько я понимаю, у него нет ни копейки; снял у черта на рогах за Ботаническим садом маленькую мастерскую и никому не показывает своих работ. Сам он тоже нигде не бывает, поэтому неизвестно, как он живет. Может, он и гений, а может, и сумасшедший. Кстати, несколько дней назад я встретил Фланагана. Он водил миссис Фланаган по Латинскому кварталу. Наш друг бросил искусство и вошел в отцовское дело. Денег у него, видно, куры не клюют. Миссис Фланаган — очень хорошенькая, и я пытаюсь получить заказ на ее портрет. Сколько бы ты с них содрал на моем месте? Боюсь их отпугнуть, но, с другой стороны, глупо просить 150 фунтов, если они с легкостью заплатят 300.

Неизменно твой *Фредерик Лоусон*»

Филип написал Кроншоу и получил ответ, нацарапанный на обрывке дешевой бумаги; жиденький конверт был куда грязнее, чем обычно выходит из рук почтальона.

«Дорогой Кэри!

Конечно, я Вас отлично помню. Мне даже кажется, что это я вызволил Вас из Омута Отчаяния¹, в котором я сам безнадежно погряз. Я буду рад Вас видеть. В этом чужом городе я чувствую себя совсем чужим, и меня изводят мещане. Приятно будет поговорить о Париже. Я не приглашаю Вас к себе, ибо мое жилище не столь великолепно, чтобы я мог принять в нем такого видного представителя профессии мосье Пургона², но каждый вечер от семи до восьми я вкушаю мою скромную трапезу в ресторане под названием «О бон плэзир» на Дин-стрит.

Искренне Ваш *Д. Кроншоу*»

Филип пошел к нему в тот же день. Ресторанчик, уместившийся в одной комнатухе, был из самых дешевых, а Кроншоу, казалось, — его единственным посетителем. Он сидел в углу, подальше от сквозняка, в той же самой поношенной шубе, без которой Филип не видел его ни разу, и в той же старой шляпе.

— Я ем здесь потому, что могу побыть один, — сказал он. — Дела у них идут плохо, сюда никто не заходит, кроме нескольких проституток и двух-трех безработных официантов; ресторан, наверное, скоро закроется, и кормят здесь отвратительно. Но их разорение мне на руку.

Перед ним стоял стаканчик абсента. Прошло почти три года с тех пор, как они расстались, и Филип был потрясен переменой, которая произошла с Кроншоу. Прежде он был скорее грузен, теперь же лицо у него было высохшее, желтое, кожа на шее обвисла и сморщилась; одежда болталась мешком, как с чужого плеча, воротничок казался на три или на четыре номера шире, чем надо, что делало его еще более неряшливым. Руки непрерывно дрожали. Филип вспомнил его почерк: неровные строчки, бесформенные каракули. Кроншоу был, очевидно, тяжело болен.

— Ем я теперь мало, — сказал он. — По утрам меня всегда тошнит. На ужин заказываю суп, а потом беру кусочек сыру.

Взгляд Филипа был невольно устремлен на абсент, и Кроншоу, перехватив его, ехидно посмотрел на собеседника, словно издеваясь над его попыткой воззвать к здравому смыслу.

¹ Одна из аллегорий в книге английского писателя XVII века Дж. Беньяна «Путь паломника».

² Врач из комедии Мольера «Мнимый больной».

— Да, вы правильно поставили диагноз. Небось считаете, что мне не следовало бы пить абсент?

— У вас, очевидно, цирроз печени, — сказал Филип.

— Да, по-видимому.

Он насмешливо поглядел на Филипа; прежде этот взгляд заставлял молодого художника болезненно чувствовать свою ограниченность. Взгляд этот, казалось, говорил, что все рассуждения Филипа уныло тривиальны: ну хорошо, вы признали очевидную истину, стоит ли еще распространяться по этому поводу?

Филип переменял тему.

— Когда вы собираетесь обратно в Париж?

— Я не собираюсь в Париж. Я собираюсь умереть.

Простота, с какой он это сказал, потрясла Филипа. Он раздумывал, что бы ему ответить, но всякие слова казались такими неубедительными. Он ведь знал, что Кроншоу болен смертельно.

— Значит, вы намерены обосноваться в Лондоне? — неловко осведомился он.

— А что мне Лондон? Я здесь как рыба, вытащенная из воды. Брожу по людным улицам, меня со всех сторон толкают, а у меня такое чувство, будто я попал в мертвый город. Мне не захотелось умирать в Париже. Я решил умереть на родине. Не понимаю, в чем тут дело, но какая-то внутренняя тяга привела меня наконец домой.

Филип знал женщину, с которой жил Кроншоу, и его двух чумазых детей, но Кроншоу ни разу о них не упомянул, и Филип не решался о них спросить. Интересно, какова их судьба?

— Не понимаю, почему вы так настойчиво говорите о смерти, — сказал он.

— Года два назад я болел воспалением легких, и врачи мне объяснили, что я выкарабкался только чудом. Оказалось, что я крайне подвержен этому заболеванию, а стоит мне схватить его еще раз, и я погиб.

— Какая ерунда! Дело совсем не так плохо, как вам кажется. Надо только быть поосторожнее. Почему бы вам не бросить пить?

— Потому что не желаю. Человек может поступать как ему угодно, если он согласен нести за это ответственность. Вот и я готов нести ответственность. Легко вам предлагать мне бросить пить, а это ведь — единственное, что у меня осталось. Какая, по-вашему, была бы у меня без этого жизнь? Вы понимаете, сколько счастья дает мне абсент? Я не могу

без него существовать. Когда я пью абсент, я наслаждаюсь каждой его каплей, а выпив, чувствую, что душа моя парит от счастья. Вам противно это слушать. Вы пуританин и в глубине души презираете чувственные наслаждения. А ведь чувственные наслаждения — самые сильные и самые утонченные. Я — человек, одаренный острым чувственным восприятием, и всю жизнь потакал своим чувствам. Теперь мне приходится за это платить, и я готов платить.

Филип поглядел ему прямо в глаза.

— А вы не боитесь?

Мгновение Кроншоу молчал. Казалось, он обдумывает ответ.

— Иногда, когда я один. — Он взглянул на Филипа. — Вы думаете, что это и есть мое наказание? Ошибаетесь. Я не боюсь своего страха. Христианское утверждение, что человек всегда должен помнить о смерти, — безумие. Единственный способ жить — это забыть, что ты умрешь. Смерть не заслуживает того, чтобы о ней думали. Страх смерти не должен влиять на поступки мудреца. Я знаю, что, умирая, буду томиться от удушья и от страха. Я знаю, что не смогу удержаться от горького сожаления о жизни, которая довела меня до этой ужасной минуты; но я заранее отрекаюсь от своего раскаяния. Покамест я вот такой, как я есть — старый, больной, беспомощный, нищий и умирающий, — хозяин своей души, я ни о чем не жалею.

— Помните персидский ковер, который вы мне пода-рили? — спросил Филип.

Лицо Кроншоу медленно, как когда-то, осветилось улыбкой.

— Я вам сказал, что он ответит на ваш вопрос, когда вы спросили меня, в чем смысл жизни. Ну как, вы нашли ответ?

— Нет, — улыбнулся Филип. — А вы мне его не откроете?

— Нет, не могу. Разгадка не имеет никакого смысла, если вы не нашли ее сами.

ГЛАВА 83

Кроншоу решил издать свои стихи. Друзья поэта настаивали на этом уже много лет, но лень мешала ему предпринять необходимые шаги. На все увещания у него был один ответ: в Англии умерла любовь к поэзии. Вы печатаете книгу стихов, которая стоила вам многих лет труда и раз-

мышлений, ей уделяют две-три кислые строчки в критическом обзоре, затем раскупаются двадцать или тридцать экземпляров, а остальной тираж идет под нож. Кроншоу давно изжил жажду славы. Слава была только миражем, как и все прочее. Но один из его приятелей взял дело в свои руки. Это был литератор, некто Леонард Апджон. Филип раза два видел его в обществе Кроншоу в модных кафе Латинского квартала. В Англии он пользовался известностью как критик и считался признанным знатоком современной французской литературы. Он долго вращался в Париже среди сотрудников «Меркюр де Франс» — самого занимательного журнала той поры — и, довольствуясь тем, что излагал по-английски их точку зрения, приобрел у себя на родине репутацию большого оригинала. Филип читал кое-какие из его статей. Апджон выработал свой стиль, послушно подражая сэру Томасу Броуну: он употреблял плавные витиеватые периоды и устаревшие, пышные слова; все это придавало его писаниям видимость своеобразия. Леонард Апджон убедил Кроншоу отдать ему все свои стихи и нашел, что их хватит на целый томик. Он обещал пустить в ход свое влияние на издателей. Кроншоу нуждался в деньгах. С тех пор как он заболел, писать ему стало труднее, чем прежде: он едва зарабатывал на выпивку. Когда он стал получать письма от Апджона о том, что тот или иной издатель хоть и восхищается его стихами, но не рискует их напечатать, Кроншоу стал добиваться того, чтобы стихи вышли. Он писал Апджону о своей крайней нужде, убеждая его еще похлопотать. Он хотел оставить после себя книгу и в глубине души считал себя великим поэтом. Он надеялся вознестись над миром, как новая звезда. Всю жизнь он хранил эти сокровища для себя и теперь, при расставании, надменно подарит их людям: ведь ему самому они уже больше не нужны — в этом, казалось Кроншоу, было нечто благородное.

Его решение вернуться в Англию было вызвано сообщением Леонарда Апджона, что наконец нашелся издатель, который берется напечатать его стихи. Каким-то чудом Апджону удалось убедить этого издателя заплатить десять фунтов стерлингов аванса.

— Заметьте, — сказал Кроншоу Филипу, — Мильтон тоже получил только десять фунтов аванса за «Потерянный рай».

Апджон обещал опубликовать подписную статью о стихах Кроншоу и попросить всех своих приятелей-критиков

дать рецензии на книжку. Кроншоу делал вид, что его это мало трогает, но легко было заметить, как его тешит мысль, что он произведет сенсацию.

Однажды Филип условился пообедать с Кроншоу в убогой закуской, где тот постоянно питался; но поэта там не оказалось. Филип узнал, что он не появляется уже три дня. Закусив на скорую руку, он пустился на поиски квартиры, адрес которой сообщил ему в своем письме Лоусон. Найти Гайд-стрит оказалось делом нелегким. Ветхие дома этой улицы жались один к другому; окна были разбиты и кое-как заклеены полосками, вырезанными из французских газет; входные двери многие годы не красились; в нижних этажах ютились захудалые лавчонки, прачечные, сапожные мастерские. На мостовой резвились оборванные дети, и старая шарманка наигрывала избитую мелодию. В доме, где жил Кроншоу, внизу помещалась торговля дешевыми сладостями. Филип постучался в дверь, и ее открыла пожилая француженка в грязном переднике. Филип спросил, дома ли Кроншоу.

— Ах, да, здесь наверху живет какой-то англичанин, его окно выходит во двор. Не знаю, дома он или нет. Если он вам нужен, поднимитесь и посмотрите.

Лестница была освещена одним-единственным газовым рожком. Стояла ужасающая вонь. Когда Филип поднимался, из двери второго этажа выглянула какая-то женщина; она окинула его подозрительным взглядом, но ничего не сказала. На верхнюю площадку выходили три двери. Филип постучал в одну из них, но ответа не последовало; он постучал еще и потрогал ручку, однако дверь была на запоре. Постучавшись в другую дверь и тоже не получив ответа, он подергал ручку. Дверь открылась. Он очутился в темноте.

— Кто там?

Филип узнал голос Кроншоу.

— Кэри. Можно войти?

Ответом было молчание. Филип вошел. Окно было закрыто, и от зловония у него закружилась голова. Уличный фонарь бросал в окно тусклый свет, и Филип разглядел маленькую комнатку с двумя кроватями, сдвинутыми спинка к спинке у одной из стен; кроме них, в комнате были только умывальник и стул, но свободного места оставалось так мало, что трудно было повернуться. Кроншоу лежал на кровати, стоящей ближе к окну. Он не пошевелился, но с его подушки послышался тихий смешок.

— Почему вы не зажжете свечку? — спросил он немного погодя.

Филип чиркнул спичкой и обнаружил на полу рядом с кроватью подсвечник. Он поднес спичку к свече и поставил подсвечник на умывальник. Кроншоу неподвижно лежал на спине; его странно было видеть в ночной рубашке, а смотреть на его лысину было даже как-то неловко. Лицо у него было землистого цвета, как у покойника.

— Послушайте, старина, у вас совсем больной вид. Кто тут за вами ухаживает?

— Джордж утром, прежде чем уйти на работу, приносит мне бутылку молока.

— Кто такой Джордж?

— Это я зову его Джорджем, на самом деле его имя Адольф. Мы делим с ним эти хоромы.

Филип заметил, что вторая кровать стоит неубранной. Чья-то голова оставила на подушке черный отпечаток.

— Неужели вы живете в этой комнате с кем-то еще? — с ужасом спросил Филип.

— А почему бы и нет? Жилье в Сохо обходится недешево. Джордж — официант, он уходит в восемь часов утра и возвращается только ночью, так что вовсе мне не мешает. Оба мы плохо спим, и он помогает мне скоротать бессонницу, рассказывая случаи из своей жизни. Он швейцарец, и у меня всегда была слабость к официантам: они видят жизнь с ее забавной стороны.

— И давно вы в постели?

— Три дня.

— Неужели все эти дни вы питались одним молоком? Почему вы мне не написали? Мне больно подумать, что вы тут лежите целые дни один, а рядом никого, кто мог бы за вами поухаживать.

Кроншоу негромко рассмеялся.

— Жаль, что вы не видите своего лица! Дорогой мой, да вы, кажется, в самом деле огорчены! Славный вы человек, Кэри.

Филип вспыхнул. Он и не подозревал, что его лицо выражает ужас, который он испытывает, видя эту гнусную комнату и плачевное состояние поэта. Кроншоу, наблюдавший за Филипом, продолжал с мягкой улыбкой:

— Я чувствую себя превосходно. Посмотрите, вот гранки моей книги. Вспомните, я ведь равнодушен к неудобствам, которые заставляют страдать других. Какое значение

имеют условия жизни, если мечты делают тебя владыкой времени и пространства!

Гранки были разбросаны у него на кровати, и, лежа в темноте, он мог нащупать их руками. Кроншоу показал их Филипу, и глаза его загорелись. Перелистывая их, он радовался четко отпечатанным буквам; одну строфу он прочитал вслух.

— Не так уж плохо, правда? — сказал он.

Филипу пришла в голову идея. Она требовала от него кое-каких расходов, а он не мог позволить себе ни малейшей расточительности; но сейчас его возмущала даже мысль об экономии.

— Послушайте, я не могу оставить вас здесь. У меня есть лишняя комната, в ней хоть шаром покати, но я всегда могу попросить кого-нибудь одолжить мне кровать. Не согласитесь ли вы переехать и пожить у меня некоторое время? Вы сэкономите плату за квартиру.

— Что вы, милый мальчик, вы же станете требовать, чтобы я держал открытым окно!

— Если хотите, мы забьем все окна гвоздями.

— Завтра я поправлюсь. Я бы мог встать и сегодня, только мне было лень.

— Тогда вам нетрудно будет переехать. А если вам снова станет хуже, вы просто ляжете в постель, и я буду за вами ухаживать.

— Ладно. Если вам так хочется, я перееду, — сказал Кроншоу со своей вялой, не лишенной обаяния улыбкой.

— Вот и великолепно!

Они условились, что Филип увезет к себе Кроншоу на следующий день. Филип урвал час от своих утренних занятий на его устройство. Он нашел Кроншоу одетым: тот сидел на кровати в шляпе и шубе, а на полу у его ног стоял потертый чемодан с одеждой и книгами; у него был такой вид, словно он сидел в зале ожидания на вокзале. Глядя на него, Филип расхохотался. Они поехали в Кенсингтон в закрытом экипаже, тщательно опустив стекла, и Филип устроил гостя в своей собственной комнате. В это утро он купил себе подержанную кровать, дешевый комод и зеркало. Кроншоу сразу же занялся правкой гранок. Он чувствовал себя много лучше.

Филип нашел, что с ним легко ужиться, если не обращать внимания на его раздражительность, вызванную болезнью. В девять часов утра у Филипа начинались лекции, так что он не видел Кроншоу до самого вечера. Раз два

Филипу удалось убедить своего гостя разделить с ним его немудреную трапезу, но у Кроншоу был слишком непоседливый характер, и обычно он предпочитал перекусить в одном из дешевых ресторантиков Сохо. Филип убеждал его показаться доктору Тайрелу, но Кроншоу наотрез отказался: он отлично знал, что любой врач предпишет ему бросить пить, а этого он твердо решил не делать. По утрам он чувствовал себя совсем больным, но днем порция абсента снова ставила его на ноги, а возвратившись к ночи домой, он уже был в состоянии разговаривать с бывшим блеском, так поразившим Филипа, когда они впервые познакомились. Корректурa была просмотрена, и томик стихов должен был выйти из печати ранней весной, когда публика немножко оправится от лавины рождественских книг.

ГЛАВА 84

Под Новый год Филип начал практику в перевязочной хирургического отделения амбулатории. Его обязанности мало чем отличались от прежних, они лишь приобрели ту определенность, какой хирургия вообще отличается от других отраслей медицины; он и здесь столкнулся с тем, что большинство пациентов страдает от двух болезней, которым косная публика из ложного стыда разрешает беспрепятственно губить людей. Помощником главного хирурга, под наблюдением которого Филип делал перевязки, был некий Джекобс — маленький, толстый и лысый весельчак с зычным голосом; у него был простонародный выговор, и студенты величали его «хамом»; но он был таким даровитым хирургом и педагогом, что ему все прощали. Он, как и Тайрел, был изрядным остряком и постоянно потешался и над больными, и над студентами. Особое развлечение доставляли ему практиканты, да и неудивительно: они были неопытны, нервничали и не могли отплатить той же монетой. В послеобеденные приемные часы он выкладывал практикантам начистоту все, что о них думает, и веселился при этом куда больше, чем студенты, которым приходилось с улыбкой его выслушивать. Как-то раз на прием попал хромой от рождения мальчик. Родителям хотелось знать, можно ли ему помочь. Мистер Джекобс повернулся к Филипу:

— Займитесь-ка этим пациентом, Кэри. В этом деле вы должны кое-что понимать.

Филип покраснел — врач явно хотел пошутить, и запуганные практиканты подобострастно захихикали. Но Филипа

и в самом деле глубоко заинтересовала эта болезнь, и он изучал ее с тех пор, как поступил в институт. Он перечитал в библиотеке все книги, где описывались разные виды врожденного искривления стопы. Филип заставил мальчика снять ботинок и носок. Это был четырнадцатилетний парнишка со вздернутым носом, голубыми глазами и веснушчатой физиономией. Отец спросил, нельзя ли чем-нибудь помочь парню: шутка ли, такая это помеха, когда надо зарабатывать на хлеб. Филип с любопытством смотрел на мальчика. Тот был отнюдь не робкий, а, напротив, разговорчивый, веселый и даже несколько дерзкий малый, за что ему и попадало от отца. К своей хромой ноге он относился с большим интересом.

— Понимаете, все дело в том, как эта штука выглядит со стороны, — сказал он Филипу. — Мне-то лично от нее никаких неприятностей нету.

— Помолчи, Эрни, — сказал отец. — Опять разошелся!

Филип осмотрел хромую ногу и медленно провел по ней рукой. Он не мог понять, почему же мальчик не испытывает того унижения, которое вечно преследует его самого. Почему он, Филип, не может относиться к своему уродству с таким философским спокойствием? Тут к ним подошел мистер Джекобс. Мальчик сидел на краю кушетки, по бокам стояли хирург и Филип, а вокруг них полукругом толпились студенты. Со свойственным ему блеском Джекобс прочел небольшую наглядную лекцию о врожденных дефектах стопы; он говорил об их разновидностях и формах, зависящих от различных анатомических условий.

— Наверно, у вас *talipes equinus*?¹ — внезапно спросил он Филипа.

— Да.

Филип поймал взгляды студентов и мысленно выругал себя за то, что, как всегда, залился краской. Он почувствовал, как у него вспотели ладони. Хирург говорил с плавностью, выработанной долгой практикой, и со свойственным ему знанием предмета. Он был человеком, всецело увлеченным своей профессией. Но Филип его не слушал. Он желал только одного: чтобы все это поскорее кончилось. Вдруг он сообразил, что Джекобс обращается к нему:

— Вы не будете возражать, если мы попросим вас на минуточку разуться?

¹ Лошадиная стопа (*лат.*) — научное название одного из видов искривления стопы.

Филипа передернуло. Первым его поползновением было послать врача к черту, но у него не хватило на это мужества. Он боялся, что его грубо высмеют. Он заставил себя произнести с деланным равнодушием:

— Нисколько.

Филип стал расшнуровывать ботинок. Пальцы его дрожали, и ему казалось, что он не сможет развязать узел. Он вспомнил, как ребята в школе вынудили его показать ногу и какой мучительный след это оставило в его душе.

— Видите, как он чисто моет ножки, — сказал Джекобс своим грубым, скрипучим голосом.

По рядам студентов пробежал смехок. Филип заметил, что мальчик жадно уставился на его ногу. Джекобс ощупал ногу Филипа и сказал:

— Да, так я себе и представлял. Вас оперировали. Наверное, еще ребенком?

Он продолжал свою лекцию. Студенты нагибались, разглядывая ногу. Когда Джекобс выпустил ее из рук, двое или трое тщательно ее осмотрели.

— Скажите, когда я вам больше не буду нужен, — сказал им Филип с иронической улыбкой.

Он готов был их убить. Он подумал о том, как приятно было бы вонзить долото им в шею (он и сам не знал, почему ему пришел в голову именно этот инструмент). Все люди — звери! Он пожалел, что не верит в ад и не может насладиться мыслью о тех страшных пытках, которые их там ждут. А мистер Джекобс перешел к методам лечения. Теперь его речь была обращена не только к студентам, но и к отцу мальчика. Филип надел носок и зашнуровал ботинок. Наконец хирург кончил. Но ему пришла в голову новая мысль, и он опять повернулся к Филипу:

— Знаете, я думаю, вам все-таки стоило бы сделать еще одну операцию. Конечно, нормальную ногу я вам обещать не могу, но кое-чем сумею помочь. Подумайте об этом, а когда захотите отдохнуть, ложитесь-ка на время в больницу.

Филип часто спрашивал себя, можно ли что-нибудь сделать с его ногой, но ему так противно было касаться этого предмета, что он не решался посоветоваться с кем-нибудь из больничных хирургов. Из книг он узнал, что ему могли помочь в раннем детстве, но в ту пору не умели лечить так искусно, как теперь, а взрослому человеку трудно надеяться на серьезное улучшение. И все же, если операция позволит ему носить ботинок попроще и хромать поменьше, ее стоило сделать. Он вспомнил, как страстно молил о чуде, которое,

по словам дяди, ничего не стоило совершить Всемогущему. Печально улыбаясь, он подумал: «Ну и наивная же душа я был в те дни».

К концу февраля здоровье Кроншоу явно ухудшилось. Он больше не вставал. Лежа в кровати, он не позволял отворять окно, чтобы проветрить комнату, и отказывался показаться врачу. Он мало ел, но требовал виски и папирос; Филип знал, что ему вредно и то и другое, но доводы Кроншоу были неотразимы.

— Конечно, это меня убивает, — говорил он. — Но мне безразлично. Вы меня предупредили, вы сделали все, что полагалось; я с вашим предупреждением не посчитался. Дайте мне выпить и убирайтесь к черту.

Два-три раза в неделю забегал Леонард Апджон; внешность его чем-то донельзя напоминала увядший лист. Это был хилый человек лет тридцати пяти с длинными бесцветными волосами и бледным лицом; весь его вид свидетельствовал о сидячем образе жизни. Шляпу он носил, как баптист. Филип невзлюбил его за покровительственный тон, а витиеватые речи литератора нагоняли на него скуку. Леонард Апджон любил послушать самого себя. Ему было все равно, интересно ли при этом собеседнику, что является главным отличием всякого хорошего оратора; он никогда не признавался себе в том, что повторяет избитые истины. Закругленными фразами он пояснил Филипу, что тому следует думать о Родене, Альберте Самэне и Цезаре Франке.

Женщина, убиравшая квартиру Филипа, появлялась только на один час по утрам, а сам Филип вынужден был проводить весь день в больнице; поэтому Кроншоу часто приходилось оставаться одному. Апджон заметил Филипу, что, по его мнению, кто-то должен находиться при больном, но и не подумал предложить свою помощь.

— Страшно подумать, что великий поэт брошен на произвол судьбы. Какой ужас, если он умрет один как перст.

— Так, должно быть и произойдет, — сказал Филип.

— Как вы можете быть таким бессердечным!

— Почему бы вам не приходиться сюда каждый день работать? Тогда вы могли бы ему помочь, если понадобится, — сухо сказал Филип.

— Мне? Милый мой, я могу работать только в привычной обстановке, да к тому же мне приходится бывать в стольких местах...

Апджона немножко сердило и то, что Филип перевез Кроншоу к себе.

— Жаль, что вы не оставили его в Сохо, — сказал он, плавно поводя своими длинными тонкими руками. — В его грязной мансарде было что-то романтическое. Я бы еще понял, если бы вы перевезли его в Уоппинг или Шордич, но ваш благопристойный Кеннингтон!.. Ну и место, чтобы умирать поэту!

Нередко Кроншоу бывал так сварлив, что Филипп с трудом сдерживался, напоминая себе, что раздражительность — один из симптомов его болезни. Апджон забегал иногда, пока Филиппа еще не было, и Кроншоу горько на него жаловался. Апджон сочувственно выслушивал его сетования.

— Дело в том, — замечал он, — что Кэри лишен чувства прекрасного. У него мещанская психология.

С Филиппом он всегда разговаривал иронически, и тому нелегко было удержаться от резкостей. Как-то вечером он не стерпел. У него выдался трудный день в больнице, и он страшно устал. Леонард Апджон пришел к нему на кухню, где он готовил себе чай, и заявил, что Кроншоу жалуется на то, что Филипп изводит его, уговаривая показаться врачу.

— Разве вы не понимаете, какая вам выпала редкостная, почетная участь? Вам следовало бы сделать все возможное, чтобы оправдать оказанное вам высокое доверие.

— Эта почетная участь мне не по карману, — сказал Филипп.

Как только речь заходила о деньгах, Леонард Апджон принимал слегка пренебрежительный вид. Эта тема коржила его чувствительную натуру.

— В поведении Кроншоу есть своя красота, — продолжал он, — а вы раните его своей назойливостью. Вам следовало бы бережнее относиться к тонким чувствам, которые вам самому недоступны.

Лицо Филиппа потемнело.

— Давайте пойдем к Кроншоу, — холодно сказал он.

Лежа на спине с трубкой в зубах, поэт читал книгу. В комнате нечем было дышать; несмотря на все усилия Филиппа, в ней царил беспорядок; вокруг Кроншоу всегда было неопрятно, где бы он ни жил. Когда Филипп и Апджон вошли, поэт снял очки. Филипп едва владел собой от бешенства.

— Апджон мне заявил, — начал он, — будто вы жалуетесь на то, что я прошу вас показаться врачу. Я прошу вас показаться врачу потому, что вы можете умереть со дня на день, а если никто вас заранее не осмотрит, мне не выдадут

свидетельства о смерти. Назначат следствие и обвинят меня, что я оставил вас без врачебной помощи.

— Об этом я не подумал. Я считал, что вы хотите вызвать врача ради меня, а не ради себя. Я покажусь врачу, когда вы этого захотите.

Филип ничего не ответил и только чуть-чуть повел плечами. Глядя на него, Кроншоу усмехнулся.

— Не сердитесь, дорогой. Я отлично знаю: вы готовы сделать для меня все, что в ваших силах. Давайте позовем вашего доктора, а вдруг он мне и в самом деле поможет; во всяком случае, у вас будет легче на душе. — Он перевел взгляд на Апджона. — Ты круглый дурак, Леонард. Ну чего ты привязался к мальчику? Хватит с него, что он терпит мои причуды. Ты-то сам для меня ничего не сделаешь, разве что напишешь гладенькую статейку после моей смерти. Уж я-то тебя знаю.

На следующий день Филип пошел к доктору Тайрелу. Ему казалось, что тот должен заинтересоваться его больным, и, в самом деле, как только Тайрел кончил прием, он отправился с Филипом в Кеннингтон. Он подтвердил диагноз Филипа. Больной был безнадежен.

— Если хотите, я положу его в больницу, — сказал он. — Ему дадут отдельную палату.

— Он ни за что на это не пойдет.

— Знаете, он может умереть с минуты на минуту, а то и снова схватит воспаление легких.

Филип кивнул головой. Доктор Тайрел дал кое-какие советы и обещал зайти снова, как только он понадобится. Он оставил свой домашний адрес. Когда Филип заглянул к Кроншоу, тот спокойно читал книгу и даже не дал себе труда спросить, что сказал врач.

— Теперь вы довольны, мой мальчик? — спросил он.

— Вас ведь все равно нельзя уговорить слушаться Тайрела?

— Нельзя, — улыбнулся Кроншоу.

ГЛАВА 85

Недели через две Филип, вернувшись как-то вечером домой из больницы, постучался к Кроншоу. Не получив ответа, он отворил дверь. Кроншоу, скорчившись, лежал на боку; Филип подошел к кровати. Он хотел посмотреть, заснул ли больной или у него просто очередной приступ дурного настроения, но с удивлением заметил, что у Крон-

шоу открыт рот. Филип дотронулся до его плеча и вскрикнул от испуга. Он просунул руку ему под рубашку и приложил ее к сердцу; Филип был в полной растерянности и не знал, что делать. Вспомнив, как поступают в таких случаях, он поднес зеркало к губам больного. Ему стало страшно оставаться одному с Кроншоу. Он все еще был в пальто и шляпе; сбежав по лестнице, он подозвал извозчика и поехал на Гарлей-стрит. Доктор Тайрел был дома.

— Пожалуйста, поедemте со мной. Мне кажется, Кроншоу умер.

— Если он умер, я уже ничем не смогу помочь.

— Я был бы вам страшно благодарен, если бы вы все-таки поехали со мной. Извозчик нас ждет. Это отнимет у вас всего полчаса.

Тайрел надел шляпу. По дороге он задал несколько вопросов.

— Сегодня утром, когда я уходил, ему как будто было не хуже, чем всегда, — рассказывал Филип. — Представьте себе мой ужас, когда я зашел к нему в комнату. Понимаете, он умер совсем один... Как вы думаете, он сознавал, что умирает?

Филип вспомнил слова Кроншоу. Поддался ли он в последний миг страху смерти? Филип представил себя на его месте; вот он чувствует, что конец надвигается, его охватывает ужас, а рядом нет ни души — никого, кто сказал бы ему ободряющее слово.

— Вы очень расстроены, — заметил доктор Тайрел.

Он глядел на него своими пронизательными голубыми глазами. В них светилось сочувствие. Осмотрев Кроншоу, он сказал:

— Он уже несколько часов как умер. Наверное, скончался во сне. С ними это бывает.

Мертвое тело как-то сразу высохло и выглядело непристойно. Оно потеряло все человеческое. Доктор Тайрел глядел на него бесстрастно. Привычным движением он вынул часы.

— Что же, мне пора. Свидетельство о смерти я пришлю. Вы, конечно, известите родственников?

— Кажется, их у него нет, — сказал Филип.

— Как насчет похорон?

— Об этом я позабочусь.

Доктор Тайрел бросил на него внимательный взгляд. Он подумал, не следует ли предложить несколько фунтов на похороны. Но он не знал, как у Филипа с деньгами;

может быть, ему нетрудно оплатить расходы и он сочтет предложение о помощи обидным.

— Что ж, сообщите мне, если я смогу вам чем-нибудь помочь, — сказал он.

Они вышли вместе и на пороге расстались; Филип отправился на телеграф, чтобы сообщить о смерти Кроншоу Леонарду Апджону. Потом он завернул в похоронное бюро, мимо которого проходил каждый день по дороге в больницу. Его внимание часто привлекали три слова, выбитые серебряными буквами на черной ткани, украшавшей витрину, где были выставлены образцы гробов: «*Экономия, Быстрота, Благопристойность*». Эти слова всегда его смешили. Хозяином похоронного бюро оказался маленький толстый еврей с курчавыми волосами, длинными и лоснящимися; он был весь в черном; большое кольцо с бриллиантом украшало его короткий мясистый палец. В его манере была странная смесь природной развязности и профессионального уныния. Убедившись в полной беспомощности Филипа, он пообещал немедленно прислать женщину, чтобы обрядить умершего. Гробовщик предложил устроить пышные похороны; Филипу было стыдно, что тот явно подозревает его в скупости. Торговаться из-за похорон было противно, и в конце концов Филип согласился на расходы, которые были ему вовсе не по карману.

— Я понимаю, сэр, — сказал гробовщик, — вы не хотите пускать людям пыль в глаза, — я и сам, знаете ли, не люблю пустого шегольства, — но вы желаете, чтобы все было сделано, как принято в лучшем обществе. Предоставьте это мне, я устрою вам похороны по сходной цене, но постараюсь не ударить лицом в грязь. Что я могу вам еще обещать?

Филип пошел домой ужинать; когда он ел, явилась женщина, чтобы обмыть тело. Вскоре принесли телеграмму от Леонарда Апджона:

«Безмерно потрясен. Опечален. Сожалею невозможности явиться сегодня вечером. Приглашен на ужин. Буду вами чуть свет. Глубоко сочувствую.

Анджон»

Немного погодя женщина, обряжавшая труп, постучалась в дверь гостиной.

— Готово, сэр. Прошу вас, зайдите на минуточку и посмотрите, все ли в порядке.

Филип последовал за ней. Кроншоу лежал на спине с закрытыми глазами и благочестиво скрещенными на груди руками.

— Полагалось бы положить хоть несколько цветочков, сэр.

— Завтра принесу.

Она с удовлетворением оглядела труп. Работа ее была закончена; она опустила закатанные рукава, сняла передник и надела чепец. Филип спросил, сколько ей следует.

— Видите ли, сэр, кто платит мне два с половиной шиллинга, а кто и пять.

Филипу было неловко дать ей меньше пяти шиллингов. Она поблагодарила его с подобающей сдержанностью, — ведь он понес тяжелую утрату, — и удалилась. Филип вернулся в гостиную, убрал остатки ужина и сел за «Хирургию» Уоллеса. Нервы были напряжены до предела. Когда на лестнице слышался шум, он вздрагивал и сердце его бешено билось. Его пугало то, что лежит в соседней комнате: прежде человек, а сейчас — ничто. Тишина казалась одушевленной, словно в ней происходило какое-то таинственное движение. В этих комнатах поселилась смерть, нечто неведомое, жуткое; Филип внезапно почувствовал ужас перед тем, что когда-то было его другом. Он пытался заставить себя читать, но скоро отчаялся и отодвинул книгу. Его угнетала бесплодность только что оборвавшегося существования. Какая разница, жив или мертв Кроншоу? Что изменилось, если бы его никогда и не было? Филип представил себе Кроншоу молодым: его трудно было вообразить стройным, подвижным юношей с густыми волосами, веселым и полным надежд. Жизненное правило Филипа — следовать своим склонностям с должной оглядкой на полицейского за углом — не очень-то пошло Кроншоу впрок: именно потому, что он придерживался этого правила, весь пройденный им путь был такой плачевной неудачей. Выходило, что не следует слишком доверять своим естественным склонностям. Филип попал в тупик; он спрашивал себя: в чем же тогда закон жизни, если его излюбленное правило бесполезно, и чем руководствуются люди в своих поступках? Они действуют так, как подсказывают им чувства, но чувства могут быть хорошими или дурными и только от случая зависит, приведут ли они человека к удаче или к поражению. Жизнь казалась непостижимой путаницей, полной противоречий. Люди спешили с места на место, подгоняемые неведомой силой; сущность происходящего ускользала от них; казалось, они спешат только для того, чтобы спешить.

На следующее утро появился Леонард Апджон с маленьким лавровым венком. У него родилась идея возложить венок

на чело мертвого поэта; несмотря на враждебное молчание Филипа, он попытался натянуть венок на лысую голову покойника; но венок выглядел на ней нелепо. Он был похож на обрезанные от шляпы поля, которые напялил на себя третьесортный клоун из какого-нибудь мюзик-холла.

— Лучше я его положу ему на сердце, — сказал Апджон.

— Вы его положили ему на живот, — заметил Филип. Апджон кисло улыбнулся.

— Только поэт знает, где сердце поэта, — ответил он.

Они вернулись в гостиную, и Филип рассказал, какие приготовления он сделал к похоронам.

— Надеюсь, вы не поскупились, — сказал Апджон. — Мне хотелось бы, чтобы за катафалком двигалась длинная вереница пустых карет, а на головах у лошадей колыхались высокие плюмажи. Закажите побольше факельщиков с длинными лентами на шляпах. Вам нравится моя выдумка насчет вереницы пустых карет?

— Поскольку расходы по похоронам лягут, по-видимому, на меня, а я сейчас не при деньгах, похороны будут самые скромные.

— Но, милый мой, почему же в таком случае вы не устроили ему похорон, как нищему, на общественный счет? В этом, по крайней мере, было бы что-то поэтическое. У вас безошибочная тяга к мещанской золотой середине.

Филип слегка покраснел, но промолчал. А на следующий день они с Апджоном следовали за катафалком в единственной заказанной Филипом карете. Лоусон, который не смог прийти, прислал венок; Филип тоже купил два венка, чтобы гроб не выглядел таким голым.

На обратном пути кучер нещадно подгонял лошадей. Филип смертельно устал и вдруг заснул. Его разбудил голос Апджона:

— Как удачно, что стихи еще не изданы. Я думаю, их лучше чуточку задержать, а я напишу предисловие. Я уже начал его обдумывать по дороге на кладбище. Надо надеяться, что получится неплохо. Так или иначе, я начну со статьи в «Сатердей».

Филип ничего не ответил, и в карете воцарилось молчание. Наконец Апджон сказал:

— Впрочем, не стоит разбрасываться. Пожалуй, напишу статью для одного из ежемесячных журналов, а потом напечатаю ее в виде предисловия к книжке.

Филип стал следить за ежемесячником и несколько недель спустя прочел статью Апджона. Она произвела неболь-

шую сенсацию, и выдержки из нее появились в ряде газет. Статья была очень хорошая; приведенные в ней биографические данные не отличались точностью, ибо никто ничего не знал о молодости Кроншоу, зато написана она была изящно, пышно и с чувством. Как всегда замысловато, Леонард Апджон нарисовал прелестные картинки из жизни Кроншоу в Латинском квартале: вот он беседует с друзьями, сочиняет стихи — под его пером Кроншоу становился живописной фигурой, английским Верленом. Цветистые фразы Леонарда Апджона зазвучали трепетно и величаво, преисполнились торжественным пафосом, когда он рассказывал о жалком конце поэта, об его убогой комнатухе в Сохо; с милой скромностью, которая позволяла лишь догадываться о великодушии автора, изображались его старания увести поэта в некий увитый жимолостью домик, окруженный фруктовым садом. И подумать только, что черствые бестактные, хоть и добронамеренные люди вместо этого переселили поэта в мещанскую обстановку Кеннингтона! Леонард Апджон поведал о Кеннингтоне со сдержанным юмором, которого требовала строгая приверженность к лексике сэра Томаса Броуна. С изящной иронией описывал он последние недели поэта — терпение, с каким он переносил сердечные, но такие неуклюжие заботы юного студента, который самочинно назначил себя его сиделкой, и плачевное положение богоподобного бродяги, попавшего в обывательское окружение. «Красота из пепла», — цитировал он пророка Исайю. Какой иронией судьбы была смерть отверженного поэта в вульгарной обители мещанства; это напоминало Апджону Христа среди фарисеев — такая аналогия дала ему повод для затейливого отступления. Потом он поведал, как некий друг — хороший вкус разрешал ему сделать только тонкий намек на то, кто был этот друг с такой пленительной фантазией, — возложил лавровый венок на сердце умершего поэта; прекрасные безжизненные руки, словно в сладостной истоме, покоились на листьях Аполлона, благоухающих всеми благовониями поэзии, нежной зеленью своей затмевающих нефрит, который привозят смуглые моряки из многоликого, загадочного Китая. И — в качестве восхитительного контраста — статья заканчивалась описанием мещанских, будничных, прозаических похорон того, кого следовало хоронить либо как принца, либо как нищего. Это был последний удар, роковая победа филистерства над искусством, красотой и всем, что только есть возвышенного на свете. Никогда еще Леонард Апджон

не писал лучше. Его статья была чудом тонкости, изящества и сострадания. Он включил в нее лучшие стихи Кроншоу; когда вышел весь томик, он уже никого не удивил; зато автор статьи основательно упрочил свое положение. С этих пор он стал критиком, с которым следовало считаться. Прежде он казался несколько холодным; но его статья о Кроншоу дышала такой человечностью и теплом, что читатели были совершенно покорены.

ГЛАВА 86

Весной Филип, кончив практику в амбулатории, перешел в больницу, где стал выполнять обязанности куратора. Эта практика продолжалась полгода. Куратор каждое утро обходил вместе с дежурным врачом палаты — сперва мужские, потом женские, вел больничные карты, наблюдал за исследованиями, а днем помогал сестрам. Дважды в неделю главный врач совершал обход в сопровождении небольшой группы студентов, осматривал больных и давал указания. Новая работа не была такой увлекательной и разнообразной и не позволяла так близко соприкоснуться с жизнью, как работа в амбулатории, но Филип здесь многому научился. К нему хорошо относились больные, и ему льстило, что его всякий раз встречали с радостью. Он не то что чувствовал жалость к их страданиям, но проявлял заботу и симпатию к людям, не напускал на себя важности, и потому его любили больше, чем других практикантов. Он был вежлив с больными, умел их ободрить, держался с ними по-приятельски. Как и все, кто имеет отношение к больнице, он знал, что с пациентами легче иметь дело, чем с пациентками. Женщины часто бывали ворчливы и раздражительны. Они жаловались на перегруженных работой сестер, которые, по их мнению, не оказывали им должного внимания; как правило, они были беспокойны, неблагодарны и грубы.

Филипу посчастливилось, и он нашел себе друга. Однажды утром лечащий врач поручил ему нового больного; присев к его кровати, Филип принялся дополнять историю болезни. Заглянув в нее, он заметил, что профессией больного была журналистика; звали его Торп Ательни (фамилия для здешних пациентов необычная), лет ему было сорок восемь. Больной страдал острой желтухой, но симптомы были неясные, и его положили в больницу на клиническое обследование. Он отвечал на вопросы Филипа приятным

голосом, речь его выдавала образованного человека. Поскольку он лежал в кровати, трудно было определить его рост, но маленькая голова и маленькие руки позволяли догадываться, что он невысок. Филип всегда обращал внимание на руки людей, и руки Ательни его удивили: они были миниатюрные, с длинными, заостренными пальцами и красивыми розовыми ногтями; очень мягкие, они, не будь желтухи, поражали бы своей белизной. Больной держал их поверх одеяла — пальцы одной из них он слегка раздвинул — и, отвечая на вопросы Филипа, рассматривал их не без удовольствия. Филип, пряча улыбку, взглянул на его лицо. Желтизна не мешала ему быть по-своему красивым: у больного были голубые глаза, хорошо очерченный орлиный нос и остроконечная седая борода; он полысел, но когда-то волосы у него явно были тонкие и красиво вились. Он и теперь носил их длинными.

— Я вижу, вы журналист, — сказал Филип. — В каких газетах вы сотрудничаете?

— Во всех без исключения. Вам не открыть ни одной газеты, не встретив там моих писаний.

Какая-то газета лежала на столике возле постели, и, взяв ее, он указал на одно из объявлений. Большими буквами значилось название хорошо знакомой Филипу фирмы «Линн и Седли, Риджент-стрит, Лондон»; ниже, помельче, но все же внушительным шрифтом была напечатана непрерываемая истина: «Откладывая на завтра — крадешь у себя время». Еще ниже следовал вопрос, поражавший своей непреложностью: «Почему бы не заказать сегодня же?» Броскими буквами повторялось, словно отголосок совести в душе убийцы: «Почему?» Затем шло смелое заявление: «Тысячи пар перчаток лучших поставщиков мира по смехотворным ценам. Тысячи пар носков и чулок лучших мировых фирм с сенсационной скидкой». И наконец, снова возникал вопрос, брошенный на сей раз как вызов на турнире: «Почему бы вам не заказать сегодня же?»

— Я представитель фирмы «Линн и Седли» по делам рекламы. — Он небрежно взмахнул своей красивой рукой. — Вот как низко я пал...

Филип продолжал задавать положенные вопросы — некоторые из них просто так, для порядка, другие — хитроумно придуманные, чтобы заставить больного сообщить о себе сведения, которые тому, возможно, хотелось скрыть.

— Вы жили за границей? — спросил Филип.

— Да, одиннадцать лет в Испании.

- Чем вы там занимались?
- Был секретарем Английской компании водоснабжения в Толедо.

Филип вспомнил, что Клаттон провел в Толедо несколько месяцев, и этот ответ заставил его посмотреть на журналиста с интересом, однако он не решился выказать свое любопытство: в больнице полагалось соблюдать дистанцию между пациентами и персоналом. Покончив с опросом, он продолжал свой обход.

Болезнь Торпа Ательни не была серьезной, и, хотя он по-прежнему был желтым, как лимон, самочувствие его улучшилось; его заставляли лежать потому, что врач предпочитал держать его под наблюдением до тех пор, пока результаты анализов не станут нормальными. Как-то раз, зайдя в палату, Филип заметил, что Ательни читает с карандашом в руке какую-то книгу. Когда Филип подошел поближе, он ее опустил.

— Можно посмотреть, что вы читаете? — спросил Филип, который не мог равнодушно пройти мимо книги.

Это был томик испанских стихов — сочинения Сан-Хуана де ла Круса; когда он раскрыл книгу, из нее выпал листок бумаги, исписанный карандашом. Подняв листок, Филип заметил, что это стихи.

— Я пытался переводить. Вы понимаете по-испански?

— Нет. Неужели вы развлекаетесь тем, что сочиняете стихи? Вот уж неподходящее занятие для лежащего больного.

— Но вы слышали о Сан-Хуане де ла Кресе?

— Ровно ничего.

— Был у них такой мистик. Один из лучших поэтов Испании. Мне показалось, что его стоит перевести на английский язык.

— Можно взглянуть на ваш перевод?

— Это только черновой вариант, — сказал Ательни, но поспешно протянул Филипу листок: ему явно хотелось показать свою работу.

Стихи были записаны красивым, но каким-то необычным и совершенно неразборчивым почерком: буквы были похожи на готические.

— Как у вас хватает терпения так писать? Чудо, а не почерк!

Филип прочитал первую строфу:

Непроглядную ночью
От любовной тревоги сгорая —
О, счастье! —
Я двинулся в путь незаметно,
И мой дом погрузился в покой...

Филип поглядел на Торпа Ательни с любопытством. Он сам не мог понять, отталкивает его новый знакомый или, напротив, привлекает к себе. Ему померещилось, что тот говорит с ним как-то свысока, — он даже вспыхнул при мысли, что может показаться ему смешным.

— У вас редкая фамилия, — заметил он, чтобы нарушить неловкое молчание.

— Это старинная йоркширская фамилия. Было время, когда главе нашего рода дня не хватало, чтобы объехать верхом свои владения, но все это величие — в прошлом. Промотано, пущено на ветер.

Ательни был близорук и, разговаривая с собеседником, глядел на него очень пристально. Он взял в руки свой томик стихов.

— Вам бы надо было научиться читать по-испански, — сказал он. — Благородный язык. Он не так слащав, как итальянский: итальянский — язык теноров и шарманщиков, зато в испанском языке есть величие; он не журчит, как ручеек в саду, а бурлит и вздымается, как могучая река в половодье.

Эта высокопарная манера выражаться забавляла Филипа, но у него была слабость к риторике, и он с удовольствием слушал, как Ательни красочно описывает великолепие «Дон Кихота» в оригинале и романтическую, прозрачную, страстную музыку волшебника Кальдерона.

— Мне пора продолжать обход, — сказал наконец Филип.

— Ах, простите, я вас задержал. Попрошу жену принести снимки Толедо и покажу вам. Заходите поболтать со мной, когда будет время. Вы даже себе не представляете, какое это для меня удовольствие.

С тех пор Филип старался урвать каждую свободную минуту, чтобы потолковать с журналистом; дружба их крепла. Торп Ательни был хорошим собеседником. Он не поражал остроумием, но говорил с увлечением и живостью, зажигая воображение; Филип, который так любил жить в мире фантазии, чувствовал, что его ум обогащается новыми образами. Ательни был хорошо воспитан. Он был значительно

старше, знал жизнь и книги куда лучше, чем Филип; у него был настоящий дар вести беседу, и он этим гордился. Понимая, что в больнице он пользуется общественной благотворительностью и должен подчиняться ее строгим правилам, Ательни терпел эти неудобства легко и с юмором. Однажды Филип спросил его, зачем он лег в больницу.

— Я принципиально пользуюсь всеми благами, которые предоставляет мне общество. Не надо отставать от века. Когда я болен, я без ложного стыда ложусь в городскую больницу, точно так же как посылаю своих детей в городскую школу.

— Неужели? — удивился Филип.

— Конечно! Они получают там отличное образование — куда лучше того, что я получил в Винчестере, — и как бы иначе я смог воспитать своих детей? У меня их девять. Вам надо поглядеть на них, когда я вернусь домой. Хотите?

— С большим удовольствием, — ответил Филип.

ГЛАВА 87

Через десять дней Торп Ательни поправился настолько, что его выписали. Он дал Филипу адрес, и тот пообещал прийти к нему в следующее воскресенье к часу дня обедать. Ательни сообщил ему, что живет в доме, построенном в семнадцатом веке самим Иниго Джонсоном; со свойственной ему восторженностью он превозносил балюстраду из старого дуба. Спустившись вниз, чтобы открыть Филипу дверь, он с места в карьер заставил его полюбоваться изящной резьбой дверного косяка. Дом был запущенный и сильно нуждался в покраске, но сохранил благородные линии своей эпохи; он находился в узеньком переулке между Чансери-лейн и Холборном — модный когда-то район, который сейчас мало отличался от трущоб. Дом собирались снести и построить вместо него красивое конторское здание; но пока что квартирная плата была низкая, и Ательни мог снимать два верхних этажа за сходную цену. Филип еще ни разу не видел его во весь рост и был удивлен, как он невысок. Одет он был в причудливый наряд: на нем были синие парусиновые брюки (их во Франции носят рабочие) и сильно поношенная бархатная куртка с ярко-красным кушаком, под отложным воротником был повязан пышный бант, вроде тех, с какими рисуют на карикатурах французов в журнале «Панч».

Ательни восторженно поздоровался с Филипом. Он сразу же заговорил о доме и любовно провел рукой по перилам лестницы.

— Посмотрите, пощупайте, — ну просто шелк. Разве это не чудо? А через пять лет все пойдет на слом и будет брошено в огонь.

Он настоял на том, чтобы Филип зашел в одну из комнат второго этажа, где мужчина без пиджака, женщина в домашней кофте и трое детей вкушали воскресный обед.

— Я привел этого господина, чтобы показать ему ваш потолок, — сказал Ательни. — Видали вы что-нибудь подобное? Как поживаете, миссис Ходжсон? Это мистер Кэри, он лечил меня в больнице.

— Заходите, сударь, — сказал мужчина. — Мы рады видеть друга мистера Ательни. Мистер Ательни показывает этот потолок всем своим друзьям. Что бы мы ни делали — лежим в постели или даже моемся, — он все равно зайдет!

Филип понял, что они считают Ательни чудаком и все же любят его: они слушали с открытым ртом, как он ораторствовал о красотах потолка семнадцатого века.

— Какое преступление, отдавать этот дом на слом. А, Ходжсон? Вы же влиятельный гражданин, почему бы вам не обратиться с протестом в газеты?

Мужчина без пиджака рассмеялся и сказал Филипу:

— Мистер Ательни у нас шутник. Говорят, дома эти такие антисанитарные, что в них даже опасно жить.

— Черт с ней, с санитарией, дайте мне искусство! — вскричал Ательни. — У меня девять детей, и плохая канализация идет им только на пользу. Нет, нет, я не хочу рисковать. Не надо мне ваших новшеств! Прежде чем я двинусь отсюда, я должен убедиться, что на новом месте тоже плохая канализация.

Раздался стук в дверь, и вошла маленькая светловолосая девочка.

— Папочка, мамочка говорит: довольно тебе разговаривать, идем обедать.

— Вот моя третья дочь, — сказал Ательни, патетически указывая на нее перстом. — Ее имя Мария дель Пилар, но она охотнее откликается, когда ее зовут Джейн. Джейн, вытри нос.

— Папочка, у меня нет платочка.

— Ладно, ладно, — ответил он, доставая огромный, огненного цвета платок, — а скажи на милость, для чего Господь Бог снабдил тебя пальцами?

Они поднялись наверх и ввели Филипа в комнату с темными дубовыми панелями. Посередине стоял узкий стол тикового дерева на крестообразных ножках с двумя железными перекладинами — в Испании такие столы называют *mesa de hieraje*. Все было готово к обеду: стояло два прибора, а к столу были придвинуты два больших кожаных кресла с широкими и плоскими дубовыми подлокотниками. Кресла были строгие, изящные и неудобные. Из мебели в комнате стоял еще только *bargueno* — шкафчик, искусно украшенный позолоченной чеканкой, на подставке, отделанной затейливой, хоть и несколько топорной резьбой. В шкафчике красовалось два-три изрядно побитых, но богато расписанных фаянсовых блюда; на стенах висели картины старых испанских мастеров в великолепных, но ветхих рамах — хоть и мрачные по сюжету, пострадавшие от времени и дурного обращения и к тому же второсортные по исполнению, они все же дышали страстью. Тут не было ничего сколько-нибудь ценного, но комната производила чарующее впечатление. В ней было что-то пышное и в то же время строгое. Филипу чудился тут дух старой Испании.

Когда Ательни показывал ему внутреннюю отделку горки с чудесными украшениями и потайными ящичками, в комнату вошла высокая девочка с двумя длинными золотисто-каштановыми косами.

— Мама говорит, что обед готов и вас дожидается; я его подам, как только вы скажете.

— Иди сюда, Салли, поздоровайся с мистером Кэри. — Ательни повернулся к Филипу. — Ну, разве она не великолепна? Это моя старшая дочка. Сколько тебе лет, Салли?

— В июне будет пятнадцать.

— Я окрестил ее Мария дель Соль — она мой первенец — и посвятил ее ослепительному солнцу Кастилии, но мать зовет ее Салли, а братец — Мордашкой.

Девочка покраснела и смущенно улыбнулась, показав ровные белые зубы. Она была рослой для своих лет, и хорошо сложена, с приятными серыми глазами, широким лбом и румянцем во всю щеку.

— Ступай, скажи матери, чтобы она пришла познакомиться с мистером Кэри.

— Мать сказала, что придет после обеда. Она еще не умылась.

— Тогда мы сами пойдем к ней поздороваться. Не может же он сесть за йоркширский пудинг, пока не пожмет руку, которая его приготовила.

Филип последовал за хозяином дома на кухню. Там было тесно, очень людно и стоял дым коромыслом, но как только вошел посторонний, воцарилась тишина. За большим столом, с нетерпением ожидая обеда, сидели дети. У печи стояла женщина — она вынимала из нее печеные картофелины.

— Бетти, это мистер Кэри, — сказал хозяин.

— Зачем же ты его сюда привел? Что он о нас подумает?

На ней был грязный передник, рукава ее ситцевого платья были закатаны выше локтя, волосы закручены на папильотки. Миссис Ательни была крупной женщиной, на добрых три дюйма выше своего мужа; у нее были светлые волосы и синие глаза, а лицо дышало добротой; когда-то она считалась красоткой, но с годами и от частых родов расплылась и обрюзгла; синие глаза выцвели, кожа огрубела и стала красной, волосы потеряли блеск... Миссис Ательни выпрямилась, вытерла руку о передник и протянула ее гостю.

— Добро пожаловать, сударь, — произнесла она медленно и нараспев; ее говор показался Филипу до странности знакомым. — Ательни говорит, что вы были очень добры к нему в больнице.

— Теперь вас надо познакомить со всем нашим поголовьем, — продолжал Ательни. — Вот Торп, — указал он на круглолицего, кудрявого мальчика, — он мой старший сын, наследник титула, поместий и долгов нашего семейства. Вот Ательстан, Гарольд, Эдвард.

Он поочередно показал пальцем на трех мальчиков поменьше — все они были румяные, здоровые и улыбались во весь рот, однако поймав на себе смеющийся взгляд Филипа, смущенно опустили глаза в тарелки.

— А теперь перечислим по порядку девочек: Мария дель Соль...

— Мордашка, — пояснил один из мальчиков.

— У тебя первобытное чувство юмора, сын мой. Мария де лос Мерседес, Мария дель Пилар, Мария де ла Консепсьон, Мария дель Розарио.

— Я зову их Салли, Молли, Конни, Розы и Джейн, — сказала миссис Ательни. — Ну-ка, Ательни, ступай в свою комнату, вам принесут обед. Потом, когда я умою детей, я позволю им к вам заглянуть.

— Милая, если бы мне довелось выбирать имя тебе, я бы назвал тебя Мария Мыльная Пена. Вечно ты мучаешь мылом этих заморышей.

— Идите вы вперед, мистер Кэри, не то мне никогда не заставить его сесть за стол и пообедать.

Ательни и Филип опустились в огромные монастырские кресла, Салли принесла им две тарелки с ростбифом, йоркширским пудингом, печеным картофелем и капустой. Ательни вынул из кармана шестипенсовик и послал ее за кувшином пива.

— Надеюсь, вы накрыли здесь стол не из-за меня, — сказал Филип. — Я отлично пообедал бы с детьми.

— Нет, я всегда ем отдельно. Люблю старинные обычаи. Мне кажется, женщинам вообще не следует сидеть за столом с мужчинами: это губит беседу, да и для них самих это вредно. Набираются всяких идей, а женщинам всегда не по себе, когда у них в голове какая-нибудь мысль.

Хозяин и гость с аппетитом принялись за обед.

— Вы когда-нибудь ели такой йоркширский пудинг? — спросил Ательни. — Никто не умеет так его готовить, как моя жена. Вот что получаешь, когда женишься не на светской даме. Вы ведь заметили, что она не светская дама?

Вопрос был щекотливый, и Филип не знал, что ответить.

— Я как-то об этом не думал, — неуверенно сказал он.

Ательни рассмеялся. У него был на редкость заразительный смех.

— Нет, она не светская дама и даже вовсе на даму не похожа. Отец ее ходил за плугом, и она так никогда и не научилась говорить по-городскому. У нас было двенадцать детей, девять из них живы. Я сказал, что пора остановиться, но она женщина упрямая, да это и вошло у нее в привычку — думаю, она не успокоится, пока не народит человек двадцать.

Тут вошла Салли с пивом, налив кружку Филипу, она обогнула стол, чтобы налить и отцу. Он обнял ее за талию.

— Видали вы когда-нибудь такую хорошенькую, крепкую девчурку? Ей только пятнадцать, а можно дать все двадцать. Поглядите на ее щеки. Ни разу в жизни ничем не хворала. Вот повезет тому, кто на ней женится, правда, Салли?

Салли слушала все это с легкой сдержанной улыбкой, не слишком смущаясь — ибо давно уже привыкла к отцовским выходкам, — но вела себя так естественно и скромно, что на нее приятно было смотреть.

— У тебя остынет обед, — сказала она, освобождаясь из его объятий. — Позови, когда пора будет подавать сладкое, ладно?

Мужчины остались одни, и Ательни поднес к губам оловянную пивную кружку. Он сделал большой глоток.

— Честное слово, на свете нет ничего лучше английского пива, — сказал он. — Возблагодарим Господа за простые маленькие радости — за ростбиф и рисовый пудинг, за хороший аппетит и за пиво. Прежде я был женат на светской даме. Бог ты мой! Не женитесь на светской даме, мой мальчик!

Филип смеялся. Его веселила эта сцена; смешной человек в своем странном наряде, комната со старинной резной панелью, испанская мебель, английская еда; во всем этом, вместе взятом, была какая-то удивительная несуразность.

— Вы смеетесь, мой мальчик, вы не можете себе представить брака с женщиной из низов. Вам нужна жена, которая была бы вам ровней по духу. Голова у вас забита всякими бреднями насчет товарищества между мужчиной и женщиной. Чепуха, мой мальчик! Мужчине вовсе не хочется разговаривать с женой о политике, и какое мне дело до взглядов Бетти на дифференциальное исчисление? Мужчине нужна жена, которая умеет вкусно готовить обед и воспитывать детей. Я знаю это по опыту. Давайте перейдем к сладкому.

Он хлопнул в ладоши, и вошла Салли. Когда она убирала тарелки, Филип хотел подняться и помочь, но Ательни его остановил.

— Предоставьте это ей, мой мальчик. Салли, ты ведь не хочешь, чтобы он путался у тебя под ногами? Она вовсе не сочтет вас грубияном, если вы будете спокойно сидеть на месте, пока она подает к столу. К черту рыцарство! Верно, Салли?

— Да, отец, — потупившись, ответила она.

— А ты понимаешь, о чем я говорю?

— Нет. Но ты же знаешь — мать не любит, когда ты чертыхаешься.

Ательни громко расхохотался. Салли принесла тарелки с рисовым пудингом — пряным, жирным и сочным. Ательни с аппетитом принялся его уплетать.

— Один из законов этого дома гласит, что воскресный обед у нас всегда один и тот же. Это наш ритуал. Ростбиф и рисовый пудинг — пятьдесят воскресений в году. В Пасхальное

воскресенье — телятина с зеленым горошком, на Михайлов день — жареный гусь с яблочным соусом. Так мы поддерживаем народные традиции. Когда Салли выйдет замуж, она позабудет много премудростей, которым я ее учил, но всегда будет помнить, что, если человек хочет быть добрым и веселым, ему надо есть по воскресеньям ростбиф и рисовый пудинг.

— Крикни, когда пора будет подавать сыр, — бесстрастно сказала Салли.

— Знаете легенду о зимородке? — спросил Ательни; Филип уже привык к тому, что он перескакивает с одного предмета на другой. — Когда зимородок летит над морем и выбивается из сил, самка подлетает к нему снизу, подхватывает и несет его на своих крепких крыльях. Вот чего ждет от жены и мужчина. Я прожил с первой женой три года. Она стала настоящая леди, имела тысячу пятьсот фунтов в год, и мы давали званые обеды в нашем красном кирпичном домике в Кенсингтоне. Она была очаровательной женщиной; все так утверждали — адвокаты и их жены, которых мы угощали обедами, баловавшиеся литературой биржевые маклеры и подававшие надежды юные политики; ох, какая это была очаровательная женщина! Она заставляла меня ходить в церковь во фраке и в цилиндре, водила на концерты классической музыки, особенно же она любила воскресные лекции.

Каждое утро она садилась завтракать ровно в восемь тридцать, а если я опаздывал, мне подавали завтрак холодным; она читала те книги, которые полагается читать, восхищалась теми картинами, которыми полагается восхищаться, обожала ту музыку, которую полагается обожать. Боже мой, как надоела мне эта женщина! Она и сейчас все такая же очаровательная и по-прежнему живет в красном кирпичном домике в Кенсингтоне, где стены оклеены модными обоями, увешаны модными гравюрами, а за обедом собирается все та же премилая маленькая компания и к столу подают телятину под бешемелью и мороженое из ресторана — совсем как двадцать лет назад.

Филип не стал спрашивать, как расстроился этот неудачный брак, но Ательни и не подумал ничего скрывать.

— Знаете, мы ведь с Бетти не женаты: моя жена отказалась дать мне развод. Дети мои незаконнорожденные — все до единого, но разве им от этого хуже? Бетти была одной из горничных в красном кирпичном домике в Кенсингтоне. Лет пять назад я остался без гроша в кармане, а у

меня уже было семеро детей; я пошел к моей супруге и попросил мне помочь. Она сказала, что назначит мне пособие, если я брошу Бетти и уеду за границу. Можете себе представить — чтобы я бросил Бетти! Нет уж, мы предпочли некоторое время поголодать. Супруга моя утверждает, что меня влечет к подонкам. Пусть я опустил, упал в глазах света, зарабатываю три фунта в неделю в качестве рекламного агента мануфактурной фирмы, но я денно и ночью благодарю Бога за то, что не живу в красном кирпичном домике в Кенсингтоне.

Салли принесла чеддерский сыр, и Ательни продолжал свою речь:

— Величайшее заблуждение на свете — считать, что без денег нельзя вырастить детей. Деньги нужны, чтобы сделать из них леди и джентльменов, но я не желаю, чтобы мои дети были леди и джентльмены. Через год Салли будет зарабатывать себе на жизнь. Она поступит в учение к портнихе, правда, Салли? А мальчики послужат своей родине. Хочу, чтобы все они пошли во флот: жизнь там веселая и здоровая, пища хорошая, жалование тоже, а к концу своих дней они будут обеспечены пенсией.

Филип закурил трубку. Ательни скручивал себе сигареты из гаванского табака. Салли убрала со стола. Филип был человек скрытный, и такая словоохотливость его смущала. Удивительное создание этот Ательни со своим чужеземным видом и мощным голосом в крохотном теле, со своей кичливостью и высокопарной речью! Во многом он напоминал Филипу Кроншоу. У него та же независимость мысли, та же любовь к веселой, беспорядочной жизни; но у Ательни куда более жизнерадостный характер и куда менее утонченный ум, чем у Кроншоу: он не питал той склонности к отвлеченным материям, которая делала беседу с поэтом такой увлекательной.

Ательни очень гордился своим древним родом. Он показал Филипу несколько фотографий усадьбы Елизаветинской эпохи и заявил:

— Род Ательни жил здесь в течение семи столетий. Ах, если бы вы видели, какие там каминные и потолки!

В стенной панели был потайной шкафчик; он достал оттуда свиток со своей родословной и показал его Филипу с ребяческим удовольствием. Родословная и в самом деле была внушительная.

— Видите, как повторяются наши семейные имена — Торп, Ательстан, Гарольд, Эдвард; я дал их своим мальчикам. А девочкам, как видите, я дал имена испанские.

В душе Филипа шевельнулось неприятное подозрение, что вся эта история была только выдумкой, рассказанной, правда, без всякой низменной цели, просто из желания произвести впечатление, удивить, поразить. Ательни сообщил ему, что учился в знаменитой школе в Винчестере, но Филипу, тонко различавшему оттенки людского поведения, не верилось, что тот воспитывался в одном из лучших закрытых учебных заведений.

Когда Ательни объяснил ему, какие родовитые браки заключали его предки, Филип подумал, не был ли он сыном какого-нибудь торговца в Винчестере, комиссионера или владельца угольного склада и просто однофамильцем тех именитых дворян, чье родословное дерево он показывал с такой гордостью.

ГЛАВА 88

В дверь постучали, вошел весь выводок детей. Теперь они были умыты и опрятно одеты; лица сияли чистотой, и волосы были приглажены; под предводительством Салли они отправлялись в воскресную школу. Ательни принялся с ними шутить, как всегда по-актерски, с преувеличенным жаром, но не мог скрыть, что души в них не чает. Он трогательно гордился их красотой и здоровьем. Филип заметил, что они несколько робеют в его присутствии; когда отец их выпроводил, они убежали с явным облегчением. Через несколько минут появилась миссис Ательни. Она сняла свои папильотки, и волосы у нее были замысловато причесаны. На ней были простое черное платье и шляпа с искусственными цветами, и она с трудом натягивала черные лайковые перчатки на свои красные натруженные руки.

— Я ухожу в церковь, — объявила она. — Вам ведь больше ничего не нужно?

— Что ж, помолись за меня, — сказал Ательни.

— Мои молитвы тебе уже не помогут: слишком поздно, — улыбнулась она. Потом, повернувшись к Филипу, произнесла нараспев: — Никак не могу заставить его ходить в церковь. Чем он лучше какого-нибудь атеиста?

— Ну, разве она не похожа на вторую жену Рубенса? — воскликнул Ательни. — Как бы она великолепно выглядела в костюме семнадцатого века! Вы только на нее поглядите!

— Ты кому угодно заморочишь голову, Ательни, — спокойно отозвалась его жена.

Ей наконец удалось застегнуть перчатки; уходя, она сказала Филипу с доброй, немного смущенной улыбкой:

— Вы останетесь пить чай? Ательни так бывает рад, когда у него есть с кем поговорить, а ему ведь не часто удастся залучить образованного человека.

— Конечно, он останется пить чай, — сказал Ательни. Когда жена ушла, он добавил: — Я за то, чтобы дети посещали воскресную школу, и рад, что Бетти ходит в церковь. По-моему, женщина должна быть набожной. Сам я неверующий, но мне нравится, когда женщины и дети верят в Бога.

Пуританина Филипа слегка покорило такое легкомыслие.

— Но разве можно позволять, чтобы ваших детей учили тому, во что вы сами не верите? — спросил он.

— Лишь бы их учили тому, что прекрасно, — мне все равно, правда это или нет. Нельзя же требовать, чтобы одно и то же удовлетворяло и ваш рассудок и ваше эстетическое чувство. Я хотел, чтобы Бетти стала католичкой — мне было бы приятно видеть, как ее крестят в венце из бумажных роз, — но она закоренелая протестантка. Помимо всего прочего религия — вопрос темперамента: если у вас религиозный склад ума, вы поверите во что угодно, а если нет, то, какую бы веру вам ни внушали, вы от нее все равно отречетесь. Думаю, что религия — лучший воспитатель нравственности. Она похожа на одно из тех лекарств, применяемых у вас в медицине, в раствор которого вводят другое вещество; сам по себе раствор не оказывает целебного действия, но он помогает организму усвоить основное снадобье. Вы усваиваете нравственные понятия потому, что они связаны с религией, и, когда вы теряете веру, нравственные понятия остаются. Человеку легче стать порядочным, впитав в себя порядочность через веру в Бога, чем изучив Герберта Спенсера.

Эта теория противоречила всем убеждениям Филипа. Он по-прежнему считал христианскую религию позорным рабством, бремя которого надо сбросить во что бы то ни стало; подсознательно он ассоциировал ее с тоскливыми службами в Теркенберийском соборе и долгими, томительными часами в холодной церкви Блэкстебла. Мораль, о которой говорил Ательни, была для него всего лишь пережитком религиозных убеждений, за который цепляется робкий

ум, сумевший все же проститься с верой, хотя она одна только и придавала морали какой-то смысл. Но пока Филипп обдумывал, что ему ответить, Ательни, предпочитавший не спорить, а слушать самого себя, пустился разглагольствовать о католицизме. Он считал, что католицизм — неотъемлемая часть Испании, а Испания ему дорога: туда он бежал от условностей, которые так угнетали его в годы брачной жизни. Бурно жестикулируя и со всегдашним своим пафосом, придававшим всему, о чем он говорил, такую выразительность, Ательни описывал Филипу испанские соборы, настолько громадные, что дальние углы их теряются во мгле, массивное золото алтарей, великолепные кованые решетки со стертой позолотой, воздух, пропитанный ладаном, тишину. Филипп видел чуть ли не воочию каноников в коротких батистовых стихарях, облаченных в красное служек, шествующих из ризницы на хоры; в ушах его звучало монотонное церковное пение. Имена, которые называл Ательни, — Авила, Таррагона, Сарагоса, Сеговия, Кордова — трубным гласом отзывались в его душе. Перед его глазами вставали серые гранитные громады, высившиеся посреди старинных испанских городов на фоне бурого, дикого, овеянного ветрами пейзажа.

— Мне всю жизнь хотелось поехать в Севилью, — заметил он, когда Ательни на секунду замолчал, красноречиво воздев руку.

— В Севилью? — вскричал Ательни. — Нет, нет, только не туда! Севилья вызывает у меня в памяти девушек, пляшущих с кастаньетами, пение в садах на берегу Гвадалквивира, бой быков, апельсиновые деревья в цвету, мантильи — *mantones de Manila*¹. Это опереточная Испания, та Испания, которую вам показывают в кабачках Монмартра. Доступная прелесть Севильи может надолго увлечь лишь поверхностный ум. Теофиль Готье взял от Севильи все, что она может дать. Мы теперь способны лишь воспроизводить его ощущения. Он прикоснулся своими большими жирными руками к тому, что сразу бросается в глаза — а в Севилье и нет ничего другого; теперь там все захватано и затаскано. Мурильо — вот ее художник!

Ательни вскочил с кресла, подошел к испанскому шкафчику и отпер затейливый замок; передняя стенка откинулась на больших позолоченных петлях, открыв ряды небольших ящичков. Он вынул пачку фотографий.

¹ Мантильи из манильских кружев (*исп.*).

— Вы знаете Эль Греко? — спросил он.

— Помню, им страшно увлекался один мой знакомый в Париже.

— Эль Греко был художником Толедо. Бетти не нашла фотографии, которую я хотел вам показать. Это любимый город Эль Греко, написанный им самим, — картина, которая правдивее любого снимка. Пойдем сядем к столу.

Филип подвинул кресло, и Ательни положил перед ним фотографию. Филип молча с любопытством ее разглядывал. Потом он протянул руку за другими снимками, и Ательни стал их ему передавать один за другим. Никогда еще он не видел работ этого загадочного мастера. С первого взгляда его неприятно поразила условность рисунка: фигуры были чрезмерно удлинены, головы слишком малы, позы неправдоподобны. Это не было реализмом, и все-таки, несмотря ни на что, даже фотографии передавали волнующее ощущение правды. Ательни с жаром что-то объяснял, но Филип едва слушал. Он был ошеломлен. Его странно встревожили эти снимки. Ему казалось, что в картинах Эль Греко скрыт какой-то особый смысл, но он не знал, какой именно. Тут были портреты мужчин с большими глазами, выразившими неведомую муку, — высокие монахи в рясах францисканцев или доминиканцев с безумными лицами и непонятными жестами; были тут «Успение богородицы» и «Распятие», где художник каким-то чудом создавал впечатление, что плоть мертвого Христа — не просто человеческая, но божественная плоть; было тут, наконец, «Вознесение» — чудилось, что Спаситель несется ввысь, в эмпирию, и все-таки стоит в воздухе так же твердо, как на земле, а воздетые руки апостолов, их развевающиеся одежды, их восторженные жесты передавали чувство ликования и священной радости. Фоном почти всех картин служило ночное небо, глухая ночь человеческой души, мрачные тучи носились по воле таинственных адских ветров в мертвенно-бледном сиянии луны.

— Я много раз видел в Толедо такое небо, — сказал Ательни. — Когда Эль Греко впервые прибыл в Толедо, стояла, наверно, вот такая ночь, и от этого поразившего его впечатления он всю жизнь уже не мог избавиться.

Филип вспомнил, как захватил Клаттона этот странный мастер, чьи работы он сейчас увидел впервые. Он подумал, что Клаттон был самым интересным человеком, которого он встретил в Париже. Его язвительность, неприязненный холодок, с которым он относился к людям, мешали ему с

ними сойтись, но теперь, оглядываясь назад, Филип был уверен, что в нем жила какая-то трагическая мощь, которая тщетно пыталась проявить себя в живописи. Он был личностью необыкновенной, своеобразным мистиком в эпоху, не признававшую никакой мистики, человеком, вечно недовольным жизнью, ибо ему не удавалось выразить смутные порывы своей души. Ум его был не соразмерен его духу. Неудивительно, что он чувствовал такое сильное влечение к Эль Греко, создавшему новую технику, чтобы выразить свое душевное томление. Филип снова проглядел портреты испанских дворян в брыжах, с остроконечными бородками: бледность их лиц резко подчеркивали строгий черный костюм и темный фон. Эль Греко был художником человеческой души; эти дворяне, изнуренные и высохшие не от лишений, а от умерщвления плоти и мучительства духа, которому они себя подвергали, не ведали красот мира сего — их глаза были обращены в глубь собственного сердца и ослеплены сиянием непостижимого. Ни один художник не показал с большей беспощадностью, что наш мир — только временное пристанище. Глаза людей, которых он рисовал, отражали невыразимую тоску души; чувства этих людей до крайности обострены — но не для того, чтобы воспринимать звук, запах или цвет, а для того, чтобы улавливать тончайшие движения собственной души. Какой-нибудь испанский гранд, в груди которого бьется сердце монаха, бродит по свету, видит то незримое, что видят святые в своих кельях, и ничуть этому не удивляется. Губы его не созданы для улыбки.

Все так же молча Филип взял в руки вид Толедо — он был самой потрясающей картиной из всех. Ему трудно было оторвать глаза от этого снимка. У него появилось странное ощущение: ему показалось, что он стоит на пороге чего-то нового в жизни. Все в нем дрожало от предчувствия каких-то удивительных событий. На мгновение он вспомнил о любви, которая его опалила, — какой она была пошлой и будничной рядом с волнением, схватившим теперь его сердце. На картине, которую он разглядывал, высоко на холме громоздились дома, в одном углу картины мальчик держал большую карту города, в другом была изображена аллегорическая фигура — река Тахо; в небе парила Богородица, окруженная сонмом ангелов. Пейзаж противоречил всем представлениям Филипа — ведь вкус его созрел в кругу людей, поклонявшихся реализму; и все-таки, как ни странно, он здесь почувствовал куда большую правду жизни,

чем та, которой достигали мастера, чьему примеру он когда-то покорно следовал. По словам Ательни, изображение города было настолько точным, что, когда жители Толедо приходили смотреть картину, они узнавали свои дома. Художник написал то, что видел, но видел он глазами своего духа. Было что-то неземное в этом бледно-сером городе. Это был горный град, озаренный тусклым сиянием, которое не было ни светом дня, ни светом ночи. Он стоял на зеленом холме, но зелень эта была не от мира сего, и окружали его тяжелые стены и бастионы, неприступные для машин и орудий, изобретенных человеком; их можно было одолеть лишь молитвой и постом, покаянными вздохами и умерщвлением плоти. То была твердыня господня. Эти серые дома сложены из камней, неведомых каменщикам; самый их вид устрашал, и вы спрашивали себя, что за люди в них обитают. Можно было бродить по этим улицам и не удивляться, найдя их пустынными, — они не были покинуты: вы чувствовали здесь чье-то невидимое присутствие, ощущали его внутренним чутьем. Это был таинственный город, пугавший воображение, словно вы вступили из света во мрак; нагая душа бродила здесь, познавая непостижимое и сокровенное, в каком-то чудном таинстве причащаясь началу всех начал. И вас не поражало, что в этом голубом небе, реальность которого познавалась не столько глазом, сколько душой, в небе, истерзанном бледными облаками, несомыми нездешним ветром, словно вздохи потерянных душ, парила непорочная дева в красном платье и синей мантии, окруженная крылатыми ангелами. Филипп чувствовал, что обитатели этого города ничуть не удивились бы этому видению и глядели бы на него с благочестивой признательностью, продолжая свой путь.

Ательни рассказывал об испанских писателях-мистиках — о Тересе де Авила, Сан-Хуане де ла Круссе, фрай Луисе де Леоне — в каждом из них жил тот страстный порыв к незримому, который Филипп почувствовал в картинах Эль Греко: казалось, и у них есть дар осязать бестелесное и видеть недоступное глазу. Все они были детьми своего века — озаренными могучими подвигами великого народа; им снились сокровища Америки и зеленые острова Карибского моря; в их жилах струилась сила, накопленная вековыми битвами с маврами; они были горды, ибо стали владыками мира; в своем сердце они хранили широкие просторы, бурные пустыни и снежные вершины Кастилии, солнечное сияние, синее небо и цветущие долины Анда-

лузии. Жизнь была бурной и многоликой; но потому, что она давала так много, они томились по чему-то, чего у них не было, и, как свойственно человеку, испытывали вечную неудовлетворенность, обращали свою жажду жизни в неистовое стремление к неведомому. Ательни не скрывал своего удовольствия: наконец-то он нашел слушателя для переводов, которыми уже давно забавлялся в часы досуга; своим прекрасным, звучным голосом он продекламировал песнь о душе и ее возлюбленном — Христе, прелестную поэму, начинающуюся со слов «En una noche oscura»¹ и «Noche serena»², фрай Луиса де Леона. Он перевел эти стихи с большой простотой, не без умения, нашел слова, которые хоть в какой-то мере давали почувствовать первобытное величие оригиналов. Картины Эль Греко объясняли эти стихи, а стихи объясняли картины. У Филипа выработалось безразличное отношение к идеализму. Он всегда страстно любил жизнь, и опыт подсказывал ему, что идеализм — чаще всего трусливое бегство от жизни. Идеалист уходит в себя, потому что страшится напора человеческой толпы; у него не хватает сил для борьбы, и потому он считает ее занятием для черни; он тщеславен, а так как ближние не соглашаются с его оценкой самого себя, он утешается тем, что платит им презрением. Для Филипа типичным идеалистом был Хейуорд: белокурый, томный, теперь уже тучный и полысевший, он все еще кичился остатками былой красоты и все еще намекал на то, что в один прекрасный день создаст нечто нетленное, а за всем этим скрывались пьянство и грязные похождения с уличными девками. Восставая против всего, что олицетворял собой Хейуорд, Филип утверждал жизнь такой, как она есть, — со всей ее грязью, пороками, убожеством; он заявлял, что хочет видеть человека во всей его наготе; когда он сталкивался с низостью, жестокостью, корыстью, похотью, он только потирал руки: ура, вот она, правда жизни! В Париже он постиг, что нет ни уродства, ни красоты, есть только правда; погоня за красотой — глупая сентиментальность. Разве он не нарисовал когда-то реклама шоколада «Менье» на пейзаже, чтобы не поддаться произволу красоты?

Но вот теперь он, кажется, разгадал что-то иное. Он приближался к нему исподволь, робко и только сейчас это осознал; он смутно чувствовал, что находится на пороге

¹ Ночью непроглядной (*исп.*).

² Тихая ночь (*исп.*).

какого-то открытия. У него появилось ощущение, будто здесь — нечто более совершенное, чем реализм, которому он так поклонялся; однако это не имело ничего общего с малокровным идеализмом, отрешившимся от жизни по слабости; тут были подлинная сила, настоящее мужество; жизнь принималась во всех ее проявлениях, с ее уродством и красотой, убожеством и героизмом; итак, это все-таки был реализм, но реализм, поднявшийся на какую-то новую ступень, где все явления были преображены более ярким освещением. Филипу казалось, что он глубоко постигает сущее, глядя на него печальными глазами мертвых грандов Кастилии, а жестикуляция святых, такая на первый взгляд судорожная и дикая, приобретала тайный смысл.

Филип не мог объяснить, в чем этот смысл. Это было точно послание, которого он жадно ждал, но оно было написано на незнакомом языке, и он не мог его понять. Он всегда искал смысл жизни, и здесь ему как будто раскрывался ее смысл, но он был темен и загадочен. Филип был глубоко взволнован. Он увидел проблеск правды, как в темную бурную ночь можно при свете зарниц увидеть дальнюю гряду гор. Он понял, казалось, что человек не должен обрекать свою жизнь на произвол случайности, ибо воля его могуча; он, казалось, увидел, что самоограничение может быть не менее страстным и решительным, чем покорность страстям, а внутренняя жизнь может быть столь же разнообразной, многогранной, содержательной и богатой событиями, как жизнь покорителя чужих стран и исследователя неведомых земель.

ГЛАВА 89

Разговор Филипа с Ательни был прерван топотом на лестнице. Ательни отворил дверь детям, вернувшимся из воскресной школы, — они вбежали со смехом и криками, и он весело их спросил, чему они научились. На минуту появилась Салли — она сказала, что мать поручает отцу поиграть с детьми, пока она готовит чай; Ательни принялся рассказывать им сказку Андерсена. Дети отнюдь не отличались робостью и быстро решили, что Филип не такой уж страшный. Джейн подошла, встала возле него, а потом забралась к нему на колени. Впервые в своей одинокой жизни Филип очутился в семейном кругу; он глядел на этих красивых детей, поглощенных волшебной сказкой, и глаза его потеплели. Жизнь его нового друга, казавшаяся ему сначала

сплошным чудачеством, была полна красоты, которую может дать только полнейшая естественность.

В дверях снова появилась Салли.

— Ну, дети, чай готов, — сказала она.

Джейн соскользнула с колен Филипа, и малыши ушли на кухню. Салли накрыла скатертью длинный испанский стол.

— Мать спрашивает, надо ли ей прийти пить с вами чай? — спросила она. — А я могу напоить детей.

— Передай матери, что она окажет нам большую честь, если украсит наше общество, — ответил Ательни.

Филип подумал, что хозяин его слова не может выговорить в простоте.

— Тогда я поставлю прибор и ей, — послушно сказала Салли.

Через минуту она вернулась, неся на подносе круглый хлеб, кусок масла и банку с земляничным джемом. Пока она расставляла посуду, отец над ней подтрунивал. Он говорил, что ей пора завести знакомство с молодыми людьми, но тут же объяснил Филипу, что Салли гордячка и воротит нос от кавалеров, которые выстраиваются в две шеренги у дверей воскресной школы, добиваясь чести проводить ее до дому.

— Ну и выдумщик же ты, отец, — откликнулась Салли со своей сдержанной, доброй улыбкой.

— Глядя на нее, ни за что не согласишься, что портновский подмастерье ушел в армию потому, что она не удостоила его поклоном, а некий электромонтер — заметьте, электромонтер! — пьет горькую из-за того, что как-то в церкви она не позволила ему заглянуть в ее молитвенник. Меня дрожь берет при мысли о том, что будет, когда она перестанет ходить с косичками.

— Мать сама принесет чай, — сказала Салли.

— Салли никогда не обращает на меня ни малейшего внимания, — рассмеялся Ательни, глядя на дочку нежно, с гордостью. — Она делает свое дело, невзирая на войны, революции и прочие катаклизмы. Вот будет жена для какого-нибудь честного парня!

Миссис Ательни принесла чай. Сев за стол, она нарезала хлеб. Филипу забавно было видеть, что она обращается с мужем как с ребенком. Нарезав ему хлеб небольшими ломтиками, она намазала их маслом и джемом. Теперь она была без шляпы; в немного тесном для нее воскресном платье

она выглядела совсем как одна из тех крестьянок, которых Филип иногда посещал в детстве с дядей. Тут он понял, почему ему так знакома ее манера говорить: именно так разговаривали в окрестностях Блэкстебла.

— Откуда вы родом? — спросил он.

— Из Кента. Родилась в Фарне.

— Я так и предполагал. Мой дядя — священник в Блэкстебле.

— Ну и ну, — сказала она. — А я как раз подумала в церкви, не родня ли вы мистеру Кэри. Сколько раз его видела! Моя двоюродная сестра замужем за мистером Баркером с фермы Роксли, неподалеку от блэкстеблской церкви, — я часто гостила у них, когда была девушкой. Вот смешно!

Она смотрела теперь на Филипа с живым любопытством, ее выцветшие глаза блеснули. Она спросила его, бывал ли он в Фарне. Это была живописная деревня в каких-нибудь десяти милях от Блэкстебла; фарнский священник иногда приезжал в Блэкстебл на благодарственный молебен по случаю урожая. Миссис Ательни стала называть окрестных фермеров. Ей было так приятно поговорить о местах, где протекла ее молодость, припомнить случай из своей жизни, старых знакомых, которых она и сейчас себе живо представляла, обладая памятью людей ее круга. Странное волнение испытывал и Филип. В эту комнату, отделанную панелью, в самый центр Лондона, словно ворвалось дыхание полей. Перед ним встали тучные нивы Кента, обсаженные стройными вязами; его ноздри снова вдыхали знакомый воздух, пропитанный солью Северного моря и потому такой свежий и живительный.

Филип ушел только в десять часов вечера. В восемь пришли пожелать спокойной ночи дети и без церемоний потянулись к Филипу, чтобы он поцеловал их на прощание. У него стало тепло на сердце. Одна только Салли протянула ему руку.

— Салли никогда не целуется с мужчинами при первой встрече, — пошутил Ательни.

— Тогда пригласите меня еще, — сказал Филип.

— Не обращайтесь внимания на то, что говорит папа, — отозвалась Салли с улыбкой.

— Эту молодую женщину нелегко сбить с толку, — заметил ее отец.

Пока миссис Ательни укладывала детей, мужчины поужинали хлебом с сыром и пивом; когда Филип пошел на

кухню попрощаться с миссис Ательни, хозяйка дома отдыхала, читая «Уикли диспетч»; она радушно пригласила его заходить.

— Пока у Ательни есть работа, у нас всегда хороший обед по воскресеньям, — сказала она, — а для него это будет сущим благодеянием, если вы зайдете поболтать с ним.

В следующую субботу Филип получил от Ательни открытку — тот приглашал его назавтра к обеду; но, опасаясь, что из-за недостатка средств его новые друзья не слишком обрадуются новому нахлебнику, Филип написал в ответ, что может прийти только к чаю. Чтобы не быть хозяевам в тягость, он купил большой сливовый пирог. Все семейство обрадовалось его приходу, а пирог окончательно покорила детвору. Филип настоял на том, чтобы чаепитие происходило со всеми вместе на кухне, и за столом было шумно и весело. Вскоре у Филипа вошло в привычку каждое воскресенье посещать семейство Ательни. Простота и естественность сделали его всеобщим любимцем, к тому же дети чувствовали, что и он к ним привязался. Как только у входной двери раздавался звонок, кто-нибудь из ребят высывал из окна голову, проверяя, он ли это, а затем вся ватага с шумом неслась вниз по лестнице. Они всем скопом бросались ему на шею. Когда садились пить чай, разгоралась борьба за право сидеть с ним рядом. Скоро они уже звали его дядей Филипом.

Ательни был очень словоохотлив, и Филип понемногу узнал все злоключения его жизни. Он переменял множество профессий, и, как понял Филип, дело у него всегда кончалось крахом. Он служил на чайной плантации на Цейлоне и агентом по продаже итальянских вин в Америке; дольше всего он проработал секретарем в компании водоснабжения Толедо; был и журналистом: сперва — судебным репортером вечерней газеты, потом — помощником редактора в провинции и, наконец, заведующим отделом одной из газет на Ривьере. О каждой своей работе он мог рассказать кучу забавных историй, что с удовольствием и делал, гордясь умением быть душой общества. Он много читал, но излюбленным его чтением были книги редкие; он засыпал собеседника самыми неожиданными сведениями по различным вопросам, как ребенок радуясь его удивлению. Три-четыре года назад крайняя нищета заставила его поступить рекламным агентом в большую мануфактурную фирму; и, хотя

он считал, что нынешняя работа не соответствует его способностям — а он их ставил очень высоко, — непреклонность жены и нужды многочисленного семейства заставляли его держаться за эту службу.

ГЛАВА 90

Покидая новых друзей, Филип всегда прогуливался по Чансери-лейн и Стренду до остановки омнибуса в конце Парламент-стрит. В одно из воскресений, месяца через полтора после первого знакомства с семейством Ательни, он отправился домой обычной дорогой, однако кенсингтонский омнибус оказался переполненным. Стоял июнь, но весь день шел дождь, и вечер был сырой и холодный. Филип решил пройти назад, до остановки на площади Пикадилли; омнибус останавливался там возле фонтана, и в нем редко сидело больше двух-трех человек. Ходил он по этой линии с перерывом в пятнадцать минут, и Филипу пришлось подождать. Он принялся рассеянно разглядывать толпу. Приближался час закрытия кабачков, и на улицах былолюдно. В голове у Филипа все еще вертелись мысли, на которые с таким завидным мастерством умел натолкнуть собеседника Ательни.

Вдруг у него замерло сердце. Он увидел Милдред. Он о ней не думал уже несколько недель. Переходя площадь со стороны Шефтсбери-авеню, она остановилась, чтобы переждать вереницу экипажей. Она так внимательно глядела на дорогу, что не замечала ничего вокруг. На ней были большая черная соломенная шляпа с пышными страусовыми перьями и черное шелковое платье — по моде того времени оно было со шлейфом; когда путь освободился, Милдред пересекла площадь и, волоча за собой шлейф, пошла вниз по Пикадилли. С бьющимся сердцем Филип последовал за ней. Он не собирался с ней заговаривать, но его удивило, что она куда-то направляется в такой поздний час, и ему хотелось увидеть ее лицо. Она шла медленным шагом, свернула на Эр-стрит и вышла на Риджент-стрит. Оттуда она пошла обратно к площади Пикадилли. Филип был озадачен: он не понимал, что она делает. Может быть, ждет кого-нибудь? Он сгорал от любопытства узнать, кого именно. Милдред обогнала низенького мужчину в котелке, который неторопливо шагал в одном с ней направлении; проходя

мимо, она искоса на него поглядела. Затем она дошла до магазина «Суон и Эдгар» и остановилась лицом к мостовой. Когда мужчина в котелке с ней поравнялся, она улыбнулась. Тот смерил ее долгим взглядом, отвернулся и пошел дальше. Тогда Филип понял все. Его охватил ужас. На миг он почувствовал такую слабость, что едва удержался на ногах; потом догнал ее и дотронулся до ее локтя.

— Милдред...

Она вздрогнула и круто повернулась. Ему показалось, что она покраснела, но в темноте трудно было разобрать. Мгновение они стояли и молча смотрели друг на друга. Наконец она сказала:

— Ах, это ты!

Он не нашелся что ответить; ему нелегко было прийти в себя от потрясения, слова, которые вертелись на языке, казались чересчур ходульными.

— Какой ужас! — с трудом выговорил он.

Она молча уставилась себе под ноги. Он чувствовал, что лицо его искажено от горя.

— Где бы нам поговорить? — спросил он.

— А я вовсе не желаю с тобой разговаривать, — угрюмо ответила она. — Оставь меня в покое, слышишь?

Ему пришло в голову, что ей позарез нужны деньги и она не может позволить себе отсюда уйти.

— Если тебе нужны деньги, — выпалил он, — у меня найдется при себе фунта два.

— Не понимаю, о чем ты говоришь. Я просто прогуливалась по дороге домой. Мы должны были встретиться с одной девушкой, с которой я работаю.

— Ради Бога, не лги, — сказал он.

Тут он увидел, что она плачет, и опять спросил:

— Где бы нам поговорить? Можно зайти к тебе?

— Нет, нельзя, — всхлипнула она. — Мне не разрешают приходить с мужчинами. Если хочешь, встретимся завтра.

Он был уверен, что она его обманет. Нет, он ее не отпустит.

— Мы должны пойти куда-нибудь сейчас же.

— Я знаю одну комнату, но там берут шесть шиллингов.

— Все равно. Где она?

Милдред сказала адрес, он позвал извозчика. Они доехали до неказистой улицы за Британским музеем, и она остановила экипаж на углу.

— Там не любят, когда подъезжают к самой двери, — пояснила она.

Это были первые слова, которые были произнесены с тех пор, как они сели на извозчика. Они сделали несколько шагов. Милдред подошла к двери и громко постучала три раза. Филип заметил над дверью объявление о том, что здесь сдаются квартиры. Дверь бесшумно открылась, их впустила высокая пожилая женщина. Она пристально поглядела на Филипа и вполголоса заговорила с Милдред. Милдред провела Филипа по коридору в одну из комнат, выходивших во двор. Было совершенно темно; она попросила у него спичку и зажгла газ; колпака на рожке не было, газ с шипением вспыхнул. Филип увидел, что они находятся в убогой спальне; выкрашенная под сосну мебель была для нее чересчур громоздка, кружевные занавески посеребри от грязи, очаг был прикрыт большим бумажным веером. Милдред опустилась на стул у камина. Филип сел на кровать. Ему было стыдно. Теперь он разглядел, что щеки у Милдред ярко накрашены, а брови насурьмлены; она исхудала и выглядела совсем больной, а румяна лишь подчеркивали землистую бледность щек. Она вяло уставилась на бумажный веер. Филип не знал, что сказать; к горлу у него подступил комок, он чувствовал, что вот-вот заплачет. Он закрыл лицо руками.

— Боже, какой ужас, — простонал он.

— Тебе-то что. Наверно, ты даже доволен.

Филип не ответил, и она всхлипнула.

— Ты думаешь, я занимаюсь этим для своего удовольствия?

— Что ты! — воскликнул он. — Мне так тебя жаль, у меня просто нет слов...

— Очень мне это поможет.

Филип снова замолчал, не зная, что сказать. Он больше всего боялся, что она примет его слова за упрек или издевку.

— Где ребенок? — спросил он наконец.

— Со мной, в Лондоне. У меня не было денег, чтобы держать девочку в Брайтоне, пришлось взять ее к себе. У меня есть комната возле Хайбери. Хозяйке я сказала, что служу в театре. Далеко каждый день добираться до Вест-энда, но не так-то просто найти хозяев, которые сдадут комнату одинокой женщине.

— Тебя не взяли обратно в кафе?

— Я нигде не могла найти работу. Ходила, искала, чуть не падала с ног. Как-то раз мне повезло, но потом я заболела, а когда через неделю пришла, мне сказали, что я им теперь без надобности. Да и разве можно их винить? В таких местах девушки должны быть крепкие.

— Ты и сейчас неважно выглядишь, — сказал Филип.

— Мне нездоровится, я не должна была сегодня выходить, но что поделаешь, нужны деньги. Я написала Эмилю, что осталась без гроша, а он мне даже не ответил.

— Могла бы написать мне.

— После того, что случилось? Я не хотела, чтобы ты даже знал, в каком я положении. Нисколько бы не удивилась, если бы ты сказал, что так мне и надо.

— Ты все еще меня не знаешь как следует — даже теперь.

Он тут же вспомнил, сколько из-за нее пережил, и ему стало дурно от одной мысли об этом. Но это были только воспоминания. Глядя на нее, он понял, что больше ее не любит. Как ни жалел он ее, но, слава Богу, теперь он был от нее свободен. Печально ее рассматривая, Филип спрашивал себя, почему его прежде так дурманила эта страсть.

— Ты — настоящий джентльмен в полном смысле слова, — сказала она. — Другого такого я не встречала. — Она помедлила и покраснела. — Мне очень неприятно тебя просить, но не дашь ли ты мне хоть немножко денег?

— К счастью, какие-то деньги у меня с собой есть. Жаль, что мало — всего два фунта.

Он отдал ей деньги.

— Я тебе их верну, Филип, — сказала она.

— Пустяки, — улыбнулся он. — Не беспокойся.

Он не сказал ей того, что мог бы сказать. Они разговаривали так, словно их встреча была совершенно естественной; ей оставалось только вернуться назад, в ту ужасную жизнь, которую она вела, а он был бессилен этому помешать. Она поднялась, чтобы взять деньги, и он встал тоже.

— Я тебя задерживаю? — спросила она. — Наверно, ты торопишься домой.

— Нет, я не спешу, — ответил он.

— Я рада, что могу хоть немножко посидеть.

Эти слова и то, что под ними подразумевалось, ударили его в самое сердце; нестерпимо было видеть, с какой уста-

лостью откинулась она на стуле. Молчание тянулось так долго, что Филип от смущения закурил.

— Спасибо тебе, что ты ничем меня не попрекнул. Мало ли что ты мог бы мне сказать.

Он увидел, что она снова плачет. Филип вспомнил, как она пришла к нему в слезах, когда ее бросил Эмиль Миллер. Воспоминания о том, что ей пришлось пережить, и о своем собственном унижении, казалось, усугубляли жалость, которую он к ней испытывал.

— Если бы я только смогла из этого выкарабкаться! — простонала она. — Мне все это так противно. Не гожусь я для этой жизни, я совсем не такая. Чего бы я только не дала, чтобы выбраться, — даже в прислуги пойду, если меня возьмут. Лучше бы мне умереть!

От жалости к самой себе она громко расплакалась. Ее худое тело дергалось от истерических рыданий.

— Разве ты поймешь, что это за жизнь? Никто этого не поймет, пока сам не испытал.

Филип не мог смотреть, как она плачет.

Ужас ее положения был для него просто пыткой.

— Бедняжка, — шептал он. — Бедняжка.

Он был взволнован до глубины души. Внезапно ему пришла в голову мысль. Она привела его самого в восторг.

— Послушай, — начал он, — если тебе хочется бросить эту жизнь, я вот что придумал. Мне сейчас живется очень туго, и я должен экономить на всем; но у меня что-то вроде маленькой квартирки в Кенсингтоне, и там есть лишняя комната. Если хочешь, можешь переселиться туда с ребенком и жить у меня. Я плачу женщине три шиллинга шесть пенсов в неделю за уборку и кое-какую стряпню. Ты могла бы взять это на себя, а твое питание обойдется немногим дороже этих денег, которые я ей плачу. Прокормиться вдвоем или одному — стоит почти одинаково, а ребенок меня не обьест.

Она перестала плакать и смотрела на него во все глаза.

— Неужели ты примешь меня обратно после того, что было?

Филип, слегка покраснев, вынужден был ей объяснить:

— Я не хочу, чтобы ты поняла меня превратно. Я просто даю тебе комнату, которая мне ничего не стоит, и буду тебя кормить. Я ничего от тебя не жду взамен, кроме того, что делает женщина, которая меня обслуживает. Помимо

этого, мне от тебя ничего не надо. Думаю, что со стряпней ты как-нибудь справишься.

Она вскочила и хотела к нему броситься.

— Какой ты добрый, Филип!

— Нет, пожалуйста, не подходи ко мне, — поспешно сказал он, вытянув руку, словно для того, чтобы ее отстранить.

Он не очень хорошо понимал почему, но даже от мысли о том, что она может к нему прикоснуться, его корбило.

— Я могу быть для тебя только другом, — добавил он.

— Ты такой добрый, — повторяла она. — Такой добрый...

— Значит, ты переедешь?

— Ну конечно, я на все готова, лишь бы из этого выкарабкаться. Ты не пожалеешь о том, что сделал, Филип, никогда. И я могу сейчас же переехать?

— Лучше завтра.

Неожиданно она снова разразилась слезами.

— Чего же ты опять плачешь? — улыбнулся он.

— Я так тебе благодарна. Как я сумею тебе отплатить?

— Ерунда. А сейчас поезжай-ка домой.

Он записал свой адрес и сказал, что, если она приедет в половине шестого, он ее встретит. Час был поздний, и ему пришлось идти домой пешком, но дорога не показалась ему далекой: он был на седьмом небе от счастья — ноги несли его сами.

ГЛАВА 91

На следующий день он встал пораньше, чтобы приготовить комнату для Милдред. Женщине, приходившей убирать квартиру, он сказал, что ее услуги ему больше не понадобятся. Милдред приехала около шести часов вечера, и Филип, карауливший ее у окна, спустился вниз, чтобы отворить дверь и помочь внести вещи; весь ее багаж состоял из трех узелков, завернутых в оберточную бумагу, — ей пришлось продать все, кроме самого необходимого. На ней было то же черное шелковое платье, что и накануне; щеки ее, правда, не были нарумянены, но вокруг глаз все еще лежала тушь: видно, утром она умылась на скорую руку; эти темные круги придавали ей совсем больной вид. Выйдя из кареты с ребенком на руках, Милдред выглядела необычайно жалкой. Лицо у нее было немного смущенное, и оба

не нашли друг для друга ничего, кроме самых банальных фраз.

— Значит, ты благополучно добралась?

— Я никогда еще не жила в этой части Лондона.

Филип показал ей комнату, ту самую, в которой умер Кроншоу. Хотя Филип и сознавал, что это глупо, ему не хотелось там спать; после смерти Кроншоу он так и остался в тесной каморке, куда он переселился, чтобы устроить друга поудобнее, и спал на складной кровати.

Ребенок невозмутимо посапывал во сне.

— Тебе ее, верно, не узнать, — сказала Милдред.

— Я не видел девочку с тех пор, как мы отвезли ее в Брайтон.

— Куда мне ее положить? Она такая тяжелая, прямо руки отнимаются!

— К сожалению, у меня нет для нее колыбели, — сказал Филип с нервным смешком.

— Ну, спать она будет со мной. Она всегда спит со мной.

Милдред положила девочку на кресло и оглядела комнату. Она узнала большинство вещей, которые были у него на старой квартире. Новым был только рисунок Лоусона, сделанный им прошлым летом, — голова Филипа; он висел над камином. Милдред поглядела на него критически.

— Чем-то он мне нравится, а чем-то — нет. Мне кажется, что ты красивее, чем на портрете.

— Мои дела идут в гору, — рассмеялся Филип. — Ты никогда раньше не говорила, что я красивый.

— Я не из тех, кому важно, какая у мужчины внешность. Красавцы мне никогда не нравились. Очень уж они много о себе воображают.

Глаза ее инстинктивно поискали зеркало, но в комнате его не было; она подняла руку и пригладила челку.

— А что скажут соседи, когда узнают, что я здесь живу? — спросила она вдруг.

— Кроме меня, в доме живут одни хозяева. Хозяина целыми днями нет, а с хозяйкой я встречаюсь только по субботам, когда плачу за квартиру. Их никогда не видно. С тех пор как я здесь поселился, мы и двух слов не сказали друг другу.

Милдред пошла в спальню, чтобы распаковать свои вещи. Филип попытался читать, но ему мешало радостное возбуждение; он откинулся на стуле, дымя папирсой, и с

улыбкой в глазах смотрел на спящего ребенка. Он был счастлив. Филип был совершенно уверен, что больше не любит Милдред. Его даже удивляло, что бывшее чувство улетучилось безвозвратно: теперь он испытывал к Милдред даже легкое физическое отвращение; он знал, что, если дотронется до нее, у него побегут мурашки по коже. Это было ему непонятно. Раздался стук в дверь, и Милдред снова вошла в комнату.

— Послушай, зачем ты стучишь? — спросил он. — Ты уже осмотрела наши хоромы?

— Я еще никогда не видела такой маленькой кухни.

— Не бойся, она достаточно велика, чтобы готовить наши роскошные яства, — весело ответил он.

— В доме ничего нет. Пожалуй, надо пойти и купить чего-нибудь.

— Хорошо, но разреши тебе напомнить, что мы должны из всех сил экономить.

— Что взять на ужин?

— Что сумеешь приготовить, — рассмеялся Филип.

Он дал ей денег, и она ушла. Через полчаса она вернулась и положила покупки на стол. Поднявшись по лестнице, она совсем запыхалась.

— Послушай-ка, у тебя малокровие, — сказал Филип. — Придется тебе попринимать пилюли Бло.

— Я не сразу нашла лавку. Купила печенку. Правда, вкусно? А много ее не съешь, так что она выгоднее мяса.

На кухне была газовая плита. Милдред поставила печенку жариться и вернулась в гостиную, чтобы накрыть на стол.

— Отчего ты ставишь только один прибор? — спросил Филип. — Разве тебе не хочется есть?

Милдред вспыхнула.

— Я думала, что ты не захочешь есть со мной вместе...

— С чего ты это взяла?

— Я же только прислуга, правда?

— Не будь душой. Что за глупости!

Он улыбнулся, но ее смирение как-то странно его кольнуло. Бедняжка! Филип вспомнил, какой она была, когда они познакомились. Он помолчал в нерешительности.

— Ты, пожалуйста, не думай, что я оказываю тебе милость, — сказал он. — У нас с тобой деловое соглашение: я предоставляю тебе жилье и стол в обмен на твой труд. Ты мне ничем не обязана. И для тебя в этом нет ничего зазорного.

Она ничего не ответила, но по щекам ее покатались крупные слезы. Филип знал по своему больничному опыту, что женщины ее круга считают работу прислуги унижительной; помимо своей воли он почувствовал легкое раздражение, однако тут же себя выругал: ведь она устала и была больна. Он помог ей поставить еще один прибор. Ребенок проснулся, и Милдред сварила ему кашку. Когда печенка поджарилась, они сели за стол. Из экономии Филип пил теперь только воду, но у него сохранилось пол-бутылки виски, и он решил, что Милдред полезно выпить глоточек. Он старался как мог, чтобы ужин прошел весело, но Милдред сидела усталая и подавленная. Когда они поели, она пошла укладывать ребенка.

— Да и тебе следовало бы лечь пораньше, — сказал Филип. — У тебя совсем измученный вид.

— Пожалуй, я так и сделаю, вот только вымою посуду.

Филип зажег трубку и сел за книгу. Приятно было слышать, что за стеной кто-то шевелится. Иногда одиночество его угнетало. Милдред появилась, чтобы убрать со стола, и он услышал звон посуды, которую она мыла. Филип улыбнулся при мысли о том, как это на нее похоже — хлопотать по хозяйству в черном шелковом платье. Но у него было много работы, и, взяв книгу, он пошел к столу. Он читал «Медицину» Ослера, которой студенты недавно стали отдавать предпочтение перед трудом Тейлора, много лет бывшим самым распространенным из учебников. Вскоре вошла Милдред, опуская закатанные рукава; Филип кинул на нее беглый взгляд, но не двинулся с места; необычность обстановки заставляла его чуть-чуть нервничать. Может быть, Милдред думает, что он начнет к ней приставать, испугался он, не зная, как разуверить ее поделикатнее.

— Да, кстати, — сказал он, — у меня в девять утра лекция, так что мне нужно позавтракать не позже четверти девятого. Ты успеешь?

— Конечно. Когда я служила на Парламент-стрит, я каждое утро поспевала на поезд, отходивший из Хернхилла в восемь двенадцать.

— Надеюсь, тебе здесь будет удобно. Завтра, когда как следует выспишься, ты почувствуешь себя другим человеком.

— А ты, наверно, поздно занимаешься?

- Обычно до одиннадцати или половины двенадцатого.
- Тогда спокойной ночи.
- Спокойной ночи.

Между ними стоял стол. Он не протянул ей руки, и она тихонько прикрыла дверь. Какое-то время он слышал ее шаги в спальне, потом скрипнула кровать, и она легла.

ГЛАВА 92

На следующий день был вторник. Как всегда, Филип на скорую руку позавтракал и помчался на лекцию, которая начиналась в девять. Он успел обменяться с Милдред только несколькими словами. Когда он вернулся домой вечером, она сидела у окна и штопала его носки.

— А ты, оказывается, работага, — улыбнулся он. — Что поддельвала целый день?

— Убрала как следует квартиру, а потом погуляла с ребенком.

На ней было старенькое черное платье — то самое, которое служило ей формой, когда она работала в кафе; в этом поношенном платье она все же выглядела лучше, чем накануне в шелковом. Ребенок сидел на полу. Девочка посмотрела на Филипа большими загадочными глазами и засмеялась, когда он уселся рядом и стал щекотать пальцы ее босых ножек. Вечернее солнце заглядывало в окна и мягко освещало комнату.

— Ну и приятно же прийти домой и застать кого-нибудь в квартире, — сказал Филип. — Женщина с ребенком очень украшает комнату.

Филип забежал в больничную аптеку и взял пузырек с пилюлями Бло. Он дал их Милдред и велел принимать после еды. К этому лекарству она уже привыкла — ей прописывали его время от времени с шестнадцатилетнего возраста.

— Я уверен, что Лоусону очень понравилась бы твоя бледность, — сказал Филип. — Он бы сказал, что этот зеленоватый оттенок так и просится на полотно, но я теперь стал человеком прозаическим и не успокоюсь до тех пор, пока ты у меня не станешь кровью с молоком, словно кормилица.

— Мне уже лучше.

После скромного ужина Филип наполнил табаком свой кисет и взялся за шляпу. По вторникам он обычно посе-

шал кабачок на Бик-стрит и теперь был рад, что этот день настал сразу после переезда Милдред: ему хотелось внести ясность в их отношения.

— Ты уходишь? — спросила она.

— Да, по вторникам я устраиваю себе выходной вечер. Увидимся завтра. Спокойной ночи.

Филип шел в кабачок, как всегда, с удовольствием. Обычно он находил там Макалистера — биржевого маклера и философа, вечно готового спорить о чем угодно; постоянно заходил туда и Хейуорд, когда бывал в Лондоне; оба они терпеть не могли друг друга, но встречаться каждую неделю вошло у них в привычку. Макалистер считал Хейуорда ничтожеством и любил поиздеваться над его тонкими переживаниями; он иронически справлялся о литературных трудах Хейуорда и выслушивал с презрительной улыбкой его посулы создать в туманном будущем какой-нибудь шедевр. Между ними разгорались ожесточенные споры; но пунш был отменный, и оба питали к нему одинаковое пристрастие; к концу вечера они улаживали свои разногласия и были вполне довольны друг другом. В этот вечер Филип застал в кабачке не только их обоих, но и Лоусона. Последний теперь заходил сюда реже: он уже приобрел в Лондоне кое-какие знакомства и его часто приглашали на званые обеды. Все они в этот вечер были в отличном настроении: Макалистер подсказал им выгодное дельце на бирже и Хейуорд с Лоусоном выручили по пятьдесят фунтов каждый. Для Лоусона это было целое событие: он любил сорить деньгами, а зарабатывал мало; карьера вознесла портретиста уже так высоко, что его стали замечать критики и многие аристократические дамы позволили ему писать с себя портреты — правда, бесплатно (это было рекламой для обеих сторон, а знатым дамам придавало ореол покровительниц искусства), но ему еще редко попадался зажиточный обыватель, готовый заплатить кругленькую сумму за портрет своей жены. Лоусон был вне себя от удовольствия.

— Это самый приятный способ зарабатывать деньги, какой я знаю, — кричал он. — Мне не пришлось выложить даже шести пенсов из собственного кармана!

— Вы много потеряли, молодой человек, оттого что не пришли сюда в прошлый вторник, — сказал Макалистер Филипу.

— Господи, почему же вы мне не написали? — спросил Филип. — Если бы вы только знали, как мне пригодилась бы сейчас лишняя сотня фунтов!

— Писать тут некогда. Важно быть на месте в нужную минуту. В прошлый вторник я узнал про одно верное дельце и спросил ребят, не хотят ли они рискнуть. В среду утром я купил им по тысяче акций — к вечеру они подскочили и я сразу же их продал. Обоим я устроил по пятидесяти фунтов, а сам заработал несколько сотен.

Филипа мучила зависть. Недавно он продал последнюю из закладных, в которые было вложено его маленькое состояние, и сейчас у него осталось только шестьсот фунтов. Стоило ему подумать о будущем, и его охватывала паника. Ему нужно было просуществовать еще два года до получения диплома, и потом он собирался поработать ординатором в больнице — словом, еще три года он не мог надеяться на какой-либо заработок. Даже при самой строгой экономии к концу этих лет у него останется не больше ста фунтов. Это — очень небольшое подспорье на случай болезни или безработицы. Удачная биржевая спекуляция была бы для него спасением.

— Ну ничего, — утешил его Макалистер. — Наверно, еще что-нибудь подвернется. Южноафриканские акции очень скоро снова должны подскочить, и тогда я посмотрю, что можно будет для вас сделать.

Южноафриканские бумаги были специальностью Макалистера, и он часто рассказывал приятелям об огромных состояниях, нажитых год или два назад, когда на бирже был большой бум.

— Ладно, не забудьте меня в следующий раз, — сказал Филип.

Они проболтали почти до полуночи; Филип, который жил дальше других, ушел первым. Ему нужно было поймать последний трамвай — иначе придется идти пешком и он попадет домой очень поздно. Даже на трамвае он добрался к себе лишь около половины первого. Поднявшись наверх, он, к своему удивлению, нашел Милдред сидящей в кресле.

— Как, ты еще не ложишься? — воскликнул он.

— Мне не хотелось спать.

— Все равно надо было лечь в постель. Ты бы отдохнула.

Она не двинулась с места. Филип заметил, что после ужина она снова переделалась в свое черное шелковое платье.

— Я подумала, что мне лучше тебя дожидаться, а вдруг тебе что-нибудь понадобится.

Она взглянула на него, и на ее тонких бескровных губах мелькнула тень улыбки. Филип не был уверен, правильно ли он ее понял. Он почувствовал неловкость, но ответил весело и непринужденно:

— С твоей стороны это очень мило, но ты, пожалуйста, не дури! Марш скорей в постель, не то завтра утром глаз не продерешь.

— Мне еще не хочется ложиться.

— Глупости, — холодно отрезал он.

Она немного надулась, поднялась и ушла в свою комнату. Он улыбнулся, когда она громко щелкнула ключом.

Несколько дней прошли спокойно. Милдред осваивалась с новой обстановкой. Когда Филип убегал после завтрака, у нее оставалось свободным все утро для домашних дел. Ели они самые незатейливые блюда, но ей нравилось обходить все лавки, делая свои скромные покупки; готовить себе одной она не хотела и днем ела хлеб с маслом, запивая его какао; потом она выносила колясочку и отправлялась гулять с ребенком, а вернувшись домой, сидела сложа руки до самого вечера. Она чувствовала такую усталость, что ей не хотелось лишних хлопот. Филип поручил Милдред заплатить за квартиру, и она завела дружбу с его замкнутой хозяйкой; через неделю она могла рассказать Филипу о его соседях больше, чем он узнал о них за год.

— Хозяйка — очень симпатичная женщина, — заявила как-то раз Милдред. — Настоящая леди. Я ей сказала, что мы женаты.

— Ты думаешь, без этого нельзя?

— Надо же мне было ей что-то сказать. Ведь это выглядит странно, что я здесь живу, раз мы не женаты. Уж и не знаю, что она может обо мне подумать!

— Сомневаюсь, чтобы она тебе поверила.

— Пари держу, что поверила. Я ей сказала, что мы женаты уже два года — понимаешь, из-за ребенка, — но твои родные и слышать об этом не хотят, пока ты еще студент; вот нам и приходится все держать в секрете. Но теперь они согласились, и мы все поедem к ним на лето.

— Ты известная мастерица придумывать всякие сказки, — сказал Филип.

Его немножко злило, что Милдред по-прежнему любит приврать. За последние два года она ровно ничему не научилась. Но он только пожал плечами. «В конце концов от кого было ей научиться?» — подумал он.

Вечер был прекрасный — теплый и безоблачный; казалось, все население южного Лондона высыпало на улицы. В воздухе было что-то будоражащее; лондонцы сразу же чувствуют перемену погоды — их неудержимо влечет вон из дома. Убрав со стола, Милдред подошла к окну. Снизу доносился уличный шум — голоса прохожих, стук колес, дальние звуки шарманки.

— Тебе, наверно, нужно работать? — грустно спросила Милдред.

— Не мешало бы, но надо мной не каплет. А что?

— Мне бы так хотелось пройтись. Мы не можем показаться на империале?

— Если хочешь.

— Пойду надену шляпку, — радостно сказала она.

В такой вечер было почти невозможно усидеть дома. Ребенок спал, и его спокойно можно было оставить одного; Милдред говорила, что всегда оставляла его по вечерам, когда выходила из дому, — он никогда не просыпался. Милдред, надев шляпу, вернулась; она была очень оживлена. По случаю прогулки она чуть-чуть подрумянила щеки. Филип решил, что она порозовела от удовольствия; он был тронут ее ребяческой радостью и упрекал себя за то, что был с ней слишком суров. Выйдя на воздух, она засмеялась. Первый же трамвай, который им попался, шел к Вестминстерскому мосту, и они сели. Филип курил трубку; сверху они разглядывали людные улицы. Магазины были открыты и ярко освещены, в них толпились покупатели. Они проезжали мимо мюзик-холла, и Милдред воскликнула:

— Ах, Филип, пойдем в мюзик-холл! Я там не была целую вечность.

— Ты ведь знаешь, партер нам теперь не по карману.

— Все равно, мне хорошо будет и на галерке.

Они сошли с трамвая и вернулись назад, к подъезду мюзик-холла. Им достались превосходные места по шесть пенсов — правда, далеко, но все же не на галерке, а вечер был так хорош, что народу пришло немного, и им было отлично видно. У Милдред блестели глаза. Она от души веселилась. Ее непосредственность трогала Филипа, Милдред

была для него загадкой. Кое-какие ее черты ему по-прежнему нравились; в ней, казалось ему, немало хорошего; она не виновата, что ее скверно воспитали и жизнь у нее была нелегкая; прежде он зря осуждал ее за многое. Глупо требовать от нее добродетелей, которыми она не обладала. В других условиях из нее, может быть, получилась бы прелестная девушка. Она совсем не приспособлена к борьбе за существование. Глядя теперь сбоку на ее лицо с полуоткрытым ртом и слегка порозовевшими щеками, он подумал, что она выглядит удивительно целомудренной. Филип почувствовал к ней глубочайшую жалость и от души простил ей страдания, которые она ему причинила. У него заболели глаза от табачного дыма, но, когда он предложил уйти, она повернулась к нему с умоляющим видом и попросила досидеть до конца. Он улыбнулся и не стал возражать. Она взяла его за руку и держала ее, пока в зале не зажгли свет. Когда они вместе с толпой зрителей вышли на людную улицу, ей все еще не хотелось домой; они пошли бродить по Вестминстер-Бридж-роуд, рассматривая прохожих.

— Я давно не получала такого удовольствия, — сказала она.

У Филипа было хорошо на душе, и он благодарил судьбу за то, что поддался внезапному порыву и взял к себе Милдред с ребенком. Приятно было видеть, как она радуется. Наконец она устала, они сели в трамвай; было уже поздно, и когда они сошли и свернули в свою улицу, кругом не было ни души. Милдред взяла его под руку.

— Совсем как прежде, Фил, — сказала она.

Она еще никогда так его не звала. Филом называл его Гриффитс; он почувствовал, даже теперь, спустя столько времени, что его словно кольнуло. Филип помнил, как ему хотелось тогда умереть; мучения его были ужасны, и он всерьез помышлял о самоубийстве. Господи, до чего же это было давно! Он усмехнулся, думая о том, каким был прежде. Теперь он не испытывал к Милдред ничего, кроме беспредельной жалости. Они пришли домой, и Филип зажег газ в гостиной.

— Спит ребенок? — спросил он.

— Пойду посмотрю.

Вернувшись, она сказала, что девочка даже не шевельнулась с тех пор, как она ее положила. Замечательный ребенок! Филип протянул руку.

— Ну, спокойной ночи.

— Ты уже хочешь спать? — спросила Милдред.

— Скоро час. Я не привык ложиться так поздно.

Она взяла его руку и, задержав в своей, заглянула ему в глаза с легкой улыбкой.

— Фил, тогда вечером, в той комнате, помнишь, когда ты предложил мне переехать к тебе... я ведь думала совсем не то, что ты имел в виду, что, мол, я нужна тебе только для того, чтобы готовить обед и убирать комнаты...

— Вот как? — переспросил Филипп, отдергивая руку. — А я имел в виду именно это.

— Не будь глупышкой, — рассмеялась она.

Он покачал головой.

— Я говорил совершенно серьезно. Иначе я бы не предложил тебе переехать.

— Почему?

— Потому что не смог бы. Не знаю, как тебе объяснить, но это все бы испортило.

Она пожала плечами.

— Что ж, как угодно. Я не из тех, кто станет ползать перед тобой на коленях.

И она вышла, хлопнув дверью.

ГЛАВА 93

На другое утро Милдред молчала и дулась. Было воскресенье; она просидела в своей комнате, пока не пришло время готовить обед. Готовила Милдред плохо — все, что она умела, это поджарить котлеты или бифштексы; к тому же она не знала, как по-хозяйски использовать отходы, так что Филиппу приходилось тратить больше, чем он рассчитывал. На этот раз, подав на стол, она уселась напротив, но есть не стала; он спросил ее, в чем дело; она сказала, что у нее разболелась голова и нет аппетита. Филипп был рад, что ему не надо сидеть вечером дома: Ательни встречали его с распростертыми объятиями; Филипп был не избалован, и ему приятно было сознавать, что все в этом многочисленном семействе ждут его прихода. Когда он вернулся домой, Милдред уже легла спать, но на следующий день она все еще дулась. За ужином она сидела, надменно нахмутив брови. Филиппа это раздражало, но он повторял себе, что должен быть чутким и прощать ей многое.

— Что это ты все время молчишь? — спросил он ее с улыбкой.

— Мне платят за стряпню и уборку, я не знала, что от меня ждут еще и разговоров.

Ответ был нелюбезный, но, если им предстояло жить бок о бок, ему лучше было постараться наладить отношения.

— Ты, верно, рассердилась на меня за тот вечер, — сказал он.

Тема была довольно щекотливая, но ее, по-видимому, нельзя было обойти.

— Ты это о чем? — спросила она.

— Пожалуйста, не сердись. Я не стал бы просить тебя переселиться ко мне, если бы не хотел, чтобы наши отношения оставались чисто дружескими. Я предложил это потому, что, как мне казалось, тебе нужен свой угол и время, чтобы оглядеться и поискать работу.

— Ах, не воображай, будто для меня это так важно.

— Я вовсе этого не воображаю, — поспешил он ответить. — И не думай, что я тебе не благодарен. Я ведь понимаю, что третьего дня ты заботилась только обо мне. Но у меня к этому не лежит душа, и тут уж ничего не поделаешь, не то мне все покажется ужасной гнусностью.

— Вот чудак, — сказала она, глядя на него с любопытством. — Что-то я тебя не пойму.

Теперь она на него не сердилась, но была озадачена; она никак не могла взять в толк, чего он хочет, однако пришлось подчиниться; ей даже казалось, что он ведет себя как-то очень благородно и заслуживает уважения, но в то же время он был ей смешон, она его несколько презирала.

«Он тронутый», — думала она.

Жизнь потекла своим чередом. Филип проводил весь день в больнице, а по вечерам занимался дома, если не ходил к Ательни или в кабачок на Бик-стрит. Однажды он был приглашен на парадный обед к врачу, у которого проходил практику; несколько раз его звали на вечеринки товарищи по институту. Милдред покорно сносила однообразие своего существования. Если она и обижалась, что Филип иногда оставлял ее по вечерам одну, она никогда об этом не заговаривала. Изредка он водил ее в мюзик-холл. Он настоял на своем: единственное, что их связывало, была ее работа по дому, которую она несла в обмен за жилище и стол. Она вбила себе в голову, что летом не стоит искать

службу, и с его согласия решила не предпринимать ничего до осени. Ей казалось, что тогда легче будет найти место.

— Что до меня, — сказал Филип, — ты можешь остаться здесь и после того, как найдешь работу. Комната в твоём распоряжении, а женщина, которая прежде тут убирала, сможет присматривать за девочкой.

Филип очень привязался к ребенку Милдред. Он был от природы человек ласковый, но не часто мог это проявить. Нельзя сказать, чтобы Милдред относилась к девочке плохо. Она старательно за ней ухаживала, а раз, когда ребенок сильно простудился, не отходила от него ни на шаг; но девочка ей надоедала, и мать часто на нее покрикивала. Милдред по-своему любила ее, но у нее не было материнского инстинкта, который заставлял бы ее забывать о себе ради ребенка. Внешне такая холодная, она находила всякие нежности просто смешными. Когда Филип брал ребенка на колени, играл с ним и целовал его, она над ним потешалась.

— Ну чего ты с ней так нянчишься, можно подумать, что ты ей родной отец! — говорила она. — Прямо помешался на этой девчонке.

Филип краснел — он всегда ужасно злился, когда над ним смеялись. Глупо было так привязаться к чужому ребенку, и он немножко этого стеснялся. Но сердце его было переполнено нежностью, и девочка, чувствуя, что ее любят, прижималась щечкой к его лицу или свертывалась калачиком у него на руках.

— Тебе-то хорошо, — говорила Милдред. — Ты знать не знаешь всех неприятностей, которые терпишь из-за ребенка. А вот как бы тебе понравилось сидеть возле нее посреди ночи оттого, что ее милости расхотелось спать?

В душе Филипа пробуждались воспоминания детства, казалось, давным-давно позабытые. Он пересчитывал пальчики на ножках ребенка:

— Раз, два, три, четыре, пять — вышел зайчик погулять...

Возвращаясь вечером домой и входя в гостиную, Филип прежде всего искал взглядом девочку, игравшую на полу; у него становилось тепло на душе, когда увидев его, она принималась лепетать от удовольствия. Милдред научила девочку звать его папой, и, когда ребенок впервые назвал его так без подсказки, она хохотала до слез.

— Интересно, отчего ты ее так любишь? — спросила Милдред. — Потому, что она моя, или ты точно так же любил бы всякого ребенка?

— Я никогда не знал других детей, так что не могу тебе ничего сказать, — ответил Филип.

К концу второго семестра, проведенного им в больнице на практике, Филипу повезло. Дело было в середине июля. В один из вторников он отправился в кабачок на Бик-стрит и встретил там Макалистера. Они посидели, поговорили об отсутствующих друзьях; немного погодя Макалистер ему сказал:

— Да, между прочим, мне посчастливилось сегодня услышать об одном заманчивом дельце — акции Нью-Клейн-фонтейна, это золотой прииск в Родезии. Если хотите рискнуть, сможете немножко заработать.

Филип с нетерпением ожидал такого случая, но теперь, когда он представился, им овладела нерешительность. Он отчаянно боялся потерять деньги. По натуре он не был игроком.

— Мне бы очень хотелось, — сказал он, — но я не знаю, могу ли я позволить себе рисковать. Сколько я потеряю, если дела пойдут плохо?

— Видно, зря я затеял этот разговор. А мне казалось, что вы так об этом мечтали, — холодно возразил Макалистер.

Филип почувствовал, что Макалистер считает его непроходимым ослом.

— Да, мне страшно хочется немного поднажиться, — засмеялся он.

— Нельзя нажать деньги, если боишься рискнуть деньгами.

Макалистер переменял тему разговора. Филип отвечал ему, но из головы у него не выходило, что в случае удачи маклер станет прохаживаться на его счет. У Макалистера был злой язык.

— Если вы не возражаете, я все-таки хочу рискнуть, — взволнованно сказал Филип.

— Ладно. Куплю вам двести пятьдесят акций и, как только увижу, что они поднялись на два с половиной шиллинга, тут же их продам.

Филип быстро подсчитал, сколько это составит, и у него даже слюнки потекли: тридцать фунтов — ведь это

для него настоящая находка, а судьба явно перед ним в долгу.

На следующее утро за завтраком он рассказал об этом Милдред. Она считала, что он сглупил.

— Никогда еще не видела, чтобы кто-нибудь заработал деньги на бирже, — сказала она. — Да и Эмиль всегда говорил: на бирже денег не зашибешь — вот что он говорил!

По дороге из больницы домой Филип купил вечернюю газету и сразу же отыскал в ней биржевой бюллетень. Он ничего не смыслил в этих делах, и ему нелегко было найти акции, о которых говорил Макалистер. Он увидел, что они поднялись. Сердце его дрогнуло от радости, и он с ужасом подумал, что Макалистер мог забыть об их уговоре или отказаться от покупки акций по каким-нибудь соображениям. Макалистер обещал прислать ему телеграмму. Филип не стал дожидаться трамвая. Он вскочил на извозчика, хотя это было непозволительной роскошью.

— Мне нет телеграммы? — спросил он, врываясь в квартиру.

— Нет, — ответила Милдред.

Лицо его вытянулось; огорченный до глубины души, он тяжело опустился на стул.

— Значит, он все-таки не купил на мою долю. Черт бы его побрал, — пробормотал он сердито. — Вот не везет! А я целый день только и думал, что я сделаю с этими деньгами.

— А что ты хотел с ними сделать? — спросила она.

— Чего сейчас об этом говорить? Ох, как мне нужны были эти деньги!

Она рассмеялась и протянула ему телеграмму.

— Я пошутила. На, я ее распечатала.

Он вырвал телеграмму у нее из рук. Макалистер купил ему двести пятьдесят акций и продал их с барышом в два с половиной шиллинга, как и предполагал. На следующий день должен был прийти перевод, Филип был зол на Милдред за ее жестокую выходку, но злость тут же прошла.

— Для меня это так важно, — радостно закричал он. — Если хочешь, я куплю тебе новое платье.

— Да, мне давно не мешает купить что-нибудь новое, — ответила она.

— Знаешь, что я придумал? Я сделаю себе в конце июля операцию...

— Ну? У тебя что-нибудь болит? — перебила она его.

Милдред подумала, что какая-то тайная болезнь была причиной непонятного ей поведения Филипа.

Он покраснел: ему было неприятно разговаривать о своей хромоте.

— Нет, врачи полагают, будто могут что-то сделать с моей ногой. Раньше мне нельзя было позволить себе терять на это время, а теперь можно. Я начну работать в перевязочной не в будущем месяце, а только в октябре. В больнице я пролежу всего несколько недель, а потом мы сможем поехать к морю. Это будет полезно нам всем — и тебе, и ребенку, и мне.

— Ах, Филип, поедem в Брайтон! Я так люблю Брайтон — там очень приличная публика.

Филип, правда, подумывал о какой-нибудь рыбацкой деревушке в Корнуэлле, но, услышав это, понял, что Милдред умрет там со скуки.

— Мне все равно, куда ехать, лишь бы к морю, — сказал он.

Неизвестно почему, его вдруг неудержимо потянуло на море. Ему захотелось поплавать, и он представлял себе, как с наслаждением нырнет в соленую воду. Он был хорошим пловцом, и ничто не радовало его так, как бурное море.

— Вот будет чудесно! — воскликнул он.

— Совсем как медовый месяц, — сказала она. — Сколько ты можешь дать мне на новое платье. Фил?

ГЛАВА 94

Филип попросил сделать ему операцию доктора Джекобса — помощника главного хирурга, у которого он проходил практику. Джекобс охотно согласился: его как раз интересовало запущенное искривление стопы, он собирал материал для диссертации. Хирург предупредил Филипа, что нога его не станет нормальной, но можно рассчитывать на значительное улучшение; Филип не избавится от хромоты, но будет носить менее уродливый ботинок. Филип вспомнил, как когда-то молился Богу, который может сдвинуть горы ради того, кто имеет веру, и горько усмехнулся.

— Я не жду чуда, — сказал он.

— Вы умно поступаете, что даете мне возможность рискнуть. Сильная хромота помешала бы вашей врачебной

практике. У обывателя много всяких причуд, ему не нравится, если у врача что-нибудь не в порядке.

Филипу отвели «маленькую палату» — это была комната на лестничной площадке, примыкавшая к общей палате, — ее оставляли для особых случаев. Он пролежал там месяц: хирург не разрешил ему выписаться, пока он не начал ходить. Филип очень хорошо перенес операцию и провел время не без приятности. Его навещали Лоусон и Ательни, а как-то раз миссис Ательни привела двух своих детей; время от времени забегали поболтать знакомые студенты; два раза в неделю заходила Милдред. Все были к нему очень предупредительны, и Филип, которого всегда удивляло малейшее внимание к нему, был растроган. Он наслаждался полной беззаботностью своего существования; здесь ему нечего было тревожиться о будущем — хватит ли ему денег и выдержит ли он выпускные экзамены; он мог читать, сколько душе угодно. Последнее время ему мало приходилось читать — мешала Милдред: стоило ему сесть за книгу, как она отпускала какое-нибудь бессмысленное замечание и не успокаивалась до тех пор, пока не получала ответа, и всякий раз, как он, устроившись поудобнее, углублялся в чтение, она непременно просила его сделать что-нибудь по дому и совала ему то бутылку, которую не могла откупорить, то молоток, чтобы вбить гвоздь.

Они условились поехать в Брайтон в августе. Филип хотел снять комнаты, но Милдред заявила, что ей тогда придется хозяйничать, а отдохнет она только в том случае, если они поселятся в пансионе.

— И так каждый день приходится готовить обед. Как мне это осточертело! Я хочу хоть на время избавиться от кухни.

Филип согласился. Милдред случайно знала один пансион в Кемптауне, где, по ее словам, брали не больше двадцати пяти шиллингов в неделю с человека. Филип договорился с ней, что она туда напишет и попросит оставить им комнаты, но, вернувшись домой из больницы, выяснил, что она ничего не сделала. Он рассердился.

— Неужели ты так была занята? — спросил он.

— Не могу же я обо всем помнить. Разве я виновата, что забыла?

Филипу не терпелось поскорее попасть на море, и он не захотел затевать переписку.

— Мы оставим багаж на вокзале, — сказал он, — и отправимся в пансион; если у них будут свободные комнаты, мы пошлем за вещами швейцара.

— Как тебе угодно! — сухо сказала Милдред.

Она терпеть не могла упреков. Обиженно замкнувшись в высокомерном молчании, она безучастно смотрела, как Филип готовится к отъезду. От августовского солнца в тесной квартирке было жарко, улица дышала в раскрытое окно зловонным зноем. Лежа в тесной больничной палате, в четырех стенах, выкрашенных красной клеевой краской, Филип истомился по свежему воздуху и по морской волне, бьющей в грудь пловца. Он чувствовал, что сойдет с ума, если ему придется провести в Лондоне хотя бы одну ночь.

Милдред снова пришла в хорошее расположение духа, когда увидела улицы Брайтона и толпы отдыхающих; по дороге в пансион оба они были в отличном настроении. Филип поглаживал щечки ребенка.

— Мы покрасим их совсем в другой цвет, дайте только срок, — говорил он, улыбаясь.

Подъехав к пансиону, они отпустили извозчика. Дверь открыла неряшливая горничная; когда Филип спросил, есть ли свободные комнаты, она ответила, что узнает, и позвала хозяйку. Сверху деловито спустилась толстая пожилая женщина; она оглядела их испытующим оком, как положено людям ее профессии, и спросила, что им угодно.

— Нам нужны две небольшие комнаты, а если у вас найдется детская кроватка, поставьте ее в одну из них.

— К сожалению, у меня нет двух комнат. Есть большая комната на двоих, и я могла бы поставить туда еще кроватку.

— Это нам, пожалуй, не подойдет, — сказал Филип.

— На этой неделе я смогу дать вам еще одну комнату. В Брайтоне сейчас полно людей, и приходится мириться с неудобствами.

— Филип, если это только на несколько дней, может, мы обойдемся? — вставила Милдред.

— Нас больше устроили бы две комнаты. Вы не могли бы порекомендовать другой пансион?

— Конечно, но не думаю, что у них дело обстоит лучше.

— Дайте мне все-таки адрес.

Пансион, который порекомендовала толстуха, находился на соседней улице, и они пошли туда пешком. Филип

ходил уже неплохо, хотя был еще слаб и ему приходилось опираться на палку. Милдред несла ребенка. Часть пути они прошли молча, но вдруг он заметил, что Милдред плачет. Это его разозлило, и он решил не обращать на нее внимания, но она не дала ему этой возможности.

— Одолжи мне платок. Я не могу достать свой из-за ребенка, — произнесла она, отвернув лицо и всхлипывая.

Не говоря ни слова, он протянул ей носовой платок. Она вытерла глаза и, так как он молчал, продолжала:

— Можно подумать, что я заразная!

— Пожалуйста, не устраивай сцен на улице.

— Это выглядит так странно, когда настаивают на отдельных комнатах. Что они о нас подумают?

— Если бы они больше о нас знали, они, вероятно, поразились бы нашей добродетели.

Она искоса на него поглядела.

— А ты не проговоришься, что мы не женаты? — поспешно спросила она.

— Нет.

— Отчего же ты не хочешь жить со мной в одной комнате, как будто мы женаты?

— Милая, мне трудно тебе объяснить. Я не хочу тебя обижать, но я просто не могу. Возможно, это глупо, бессмысленно, но это сильнее меня. Я так тебя любил, что теперь... — Он прервал себя. — Ей-Богу же, тут ничего не поделаешь.

— Нечего сказать, здорово ты меня любил!

Пансион, куда их направили, содержала суетливая старая дева с хитрыми глазами и болтливый языком. Да, они могут получить одну большую комнату на двоих (тогда им придется платить двадцать пять шиллингов в неделю с каждого и еще пять шиллингов за ребенка) или же две небольшие комнаты, что будет стоить на целый фунт дороже.

— За лишнюю комнату приходится брать больше, — извиняющимся тоном пояснила женщина, — ведь в крайнем случае я могу поставить вторую кровать и в комнату для одного.

— Ничего, это нас не разорит. Как ты думаешь, Милдред?

— Ну что ж, пожалуй. Мне-то все равно! — откликнулась она.

Рассмеявшись, он кое-как замял разговор. Хозяйка пансиона послала за их вещами, а они сели отдохнуть. У Филипа ныла нога, он рад был положить ее на стул.

— Надеюсь, ты не возражаешь, что я сижу с тобой в одной комнате? — вызывающе начала Милдред.

— Не будем ссориться, — мягко попросил он.

— Видно, ты очень богат, что можешь сорить деньгами.

— Не сердись. Уверяю тебя, только так мы и сможем жить вместе.

— Да, ты меня презираешь, в этом все дело.

— Что ты, какая ерунда. С чего бы я стал тебя презирать?

— Все у нас не так, как у людей.

— Почему? Разве ты меня любишь?

— Я? За кого ты меня принимаешь?

— Ты ведь не очень-то темпераментная женщина, верно?

— Это меня унижает, — сердито сказала она.

— На твоём месте я не стал бы считать себя униженным.

В пансионе жило человек десять. Ели они в узкой темной комнате за длинным столом, во главе которого сидела хозяйка, раскладывая порции. Кормили плохо. Хозяйка утверждала, что у нее французская кухня, а на самом деле ее невкусно приготовленные соусы должны были скрывать скверное качество продуктов; дешевая камбала выдавалась за дорогую, а мороженая баранина — за ягненка. Кухня была маленькая, неудобная, к столу все подавалось едва теплым. В пансионе жила скучная, претенциозная публика: пожилые дамы с незамужними великовозрастными дочками, смешные, сюсюкающие старые холостяки; малокровные конторщики средних лет со своими женами, любившие поговорить о дочках, сделавших выгодную партию, и сыновьях, занимавших отличные должности в колониях. За столом обсуждался последний роман мисс Корелли; некоторые предпочитали картины лорда Лейтона полотнам мистера Альма-Тадемы, другие — полотна мистера Альма-Тадемы — картинам лорда Лейтона. Вскоре Милдред поведала дамам о своем романтическом браке с Филипом, и он стал предметом всеобщего внимания: еще бы, ведь его знатная семья отреклась от него и оставила без гроша за то, что он женился, не кончив института, а отец Милдред, владевший крупным поместьем где-то в Девоншире, невзлюбил Филипа и ничем не хотел им помочь. Вот почему им приходится жить в дешевом пансионе и обходиться

без няни для ребенка; но им просто необходимы две комнаты — оба они привыкли к комфорту и не терпят тесноты. Другие обитатели пансиона тоже приводили всяческие объяснения своего пребывания здесь: один из холостяков всегда проводил отпуск в «Метрополе», но он любит веселую компанию, а ее не найдешь в шикарных отелях; пожилая дама с великовозрастной дочкой как раз в это время ремонтировала свой прекрасный лондонский особняк и сказала дочке: «Гвенни, милочка, этим летом мы не сможем позволить себе больших расходов», — поэтому им пришлось приехать сюда, хотя это совсем не то, к чему они привыкли. Милдред чувствовала, что попала в избранное общество, а она ненавидела грубое простонародье. Ей нравилось, чтобы джентльмены были джентльменами в полном смысле этого слова.

— Если имеешь дело с джентльменами и леди, — говорила она, — я люблю, чтобы это были настоящие джентльмены и леди.

Это замечание показалось Филипу несколько загадочным, но, когда он услышал, как она повторяет его разным лицам, встречая при этом горячее сочувствие, он пришел к заключению, что оно было непонятно ему одному. Впервые Филип и Милдред проводили все время вдвоем. В Лондоне он не видел ее целыми днями, а когда приходил домой, их развлекали разговоры о домашних делах, о ребенке, о соседях, пока он не принимался за свои книги. Теперь он бывал с ней весь день. После завтрака они спускались на пляж; утро проходило незаметно — они купались и прогуливались по берегу. Вечер, который они просиживали на набережной, уложив ребенка спать, тоже был сносен — можно было слушать музыку и разглядывать непрерывный поток людей (Филип забавлялся, строя разные догадки о прохожих и сочиняя о них маленькие новеллы, — он научился отвечать Милдред, не слушая ее, так что мысли его могли течь свободно). Но послеобеденное время тянулось долго и скучно. Они сидели на пляже. Милдред повторяла, что надо попользоваться всю «Доктором Брайтоном»; Филип не мог читать, так как она беспрестанно о чем-нибудь разглагольствовала. Если он не обращал на нее внимания, она негодовала.

— А, брось ты эту дурацкую книгу! Тебе вредно все время читать. Забиваешь себе голову всякой чепухой, скоро совсем обалдеешь!

— Ерунда! — отвечал он.

— И потом, это с твоей стороны невежливо.

Выяснилось, что с ней трудно разговаривать. Она не умела сосредоточиться даже на том, что говорит сама: если пробегала собака или проходил человек в пестрой куртке, она не могла удержаться от замечания и сразу забывала, что хотела сказать раньше. У нее была плохая память на имена, и это его раздражало: она часто останавливалась посреди разговора и начинала ломать себе голову, вспоминая какое-нибудь имя. Иногда это ей так и не удавалось, зато оно приходило ей на память потом, когда Филип говорил уже о чем-то другом, тогда она прерывала его возгласом:

— Коллинз, вот как его звали! Я же знала, что в конце концов припомню. Коллинз — совсем из головы вон. Помнишь, я забыла имя того человека?

Это выводило его из себя — значит, она его не слушает! Однако когда он молчал, она упрекала его в том, что он невежа; мозг у нее был совершенно лишен способности мыслить, и стоило Филипу поддаться своей страсти к общению, как она, не стесняясь, показывала, что скучает. Она часто видела сны, и на них у нее была хорошая память: сны она рассказывала ежедневно со всеми подробностями.

Однажды утром Филип получил длинное письмо от Торпа Ательни. Тот проводил отпуск на свой романтический лад, в котором, как всегда, было немало здравого смысла. Вот уже десять лет он проделывал одно и то же. Он увозил семью на хмельник в Кенте, поблизости от деревни, где родилась миссис Ательни, и там все они три недели собирали хмель. Это позволяло им побыть на свежем воздухе и одновременно — к великому удовольствию миссис Ательни — немножко подработать; к тому же они обновляли узы, связывающие их с матерью-землей, на что особенно напирал сам мистер Ательни. Жизнь на лоне природы придавала им новые силы; по словам Ательни, они словно прикасались к животворному источнику, который возвращал им молодость, крепость мышц и душевный покой; Филипу не раз приходилось слышать, как он произносил по этому поводу самые фантастические и витиеватые речи. Теперь Ательни приглашал его приехать к ним на денек; у него родились новые идеи, как относительно Шекспира, так и о возможности исполнять серьезную музыку на стеклянных стаканчиках, и он хочет поделиться ими с другом, а дети без конца требуют, чтобы им подали дядю Филипа.

Филип перечитал это письмо после обеда, сидя на пляже возле Милдред. Он вспомнил миссис Ательни — веселую мать многочисленного семейства, ее радушное гостеприимство и неизменно хорошее настроение; не по годам серьезную Салли, ее забавную материнскую манеру и авторитетный тон, ее длинные светлые косы и высокий лоб; наконец, всю ватагу веселых, шумных, здоровых и красивых ребятшек. Ему отчаянно захотелось к ним. Они обладали одним качеством, которого он раньше не замечал в людях, — добротой. До сих пор ему это не приходило в голову, но его, по-видимому, привлекала к ним душевность и доброта. Теоретически он в нее не верил: если мораль была всего-навсего житейской необходимостью, добро и зло теряли всякий смысл. Но, хотя Филипу и хотелось быть последовательным, тут он столкнулся с безыскусственной добротой, простой и естественной, и он находил ее прекрасной. Погруженный в раздумье, он медленно разорвал письмо на мелкие клочки; он не знал, как ему поехать без Милдред, а ехать с ней он не хотел.

Стояла отчаянная жара, небо было безоблачно, и они нашли прибежище в тенистом уголке. Ребенок сосредоточенно играл камешками на пляже: он то и дело подползал к Филипу, протягивал ему камешек, потом снова отнимал и осторожно клал на место. Девочка была поглощена своей загадочной и сложной игрой, понятной лишь ей одной. Милдред спала. Она лежала, закинув голову, приоткрыв рот и вытянув ноги; из-под нижней юбки некрасиво торчали ботинки. Филип бессознательно скользнул по ней взглядом, потом стал пристально всматриваться. Он вспоминал, как страстно ее любил, и удивлялся, что сейчас совершенно к ней равнодушен. Мысль о такой перемене причиняла ему тупую боль. Стало быть, все его страдания были напрасны. Нечаянное прикосновение ее руки наполняло его восторгом; он жаждал проникнуть к ней в душу, чтобы разделить с ней все помыслы и чувства; он страдал, когда какое-нибудь ее слово показывало, как далеки они друг от друга; его приводила в бешенство непреодолимая стена, отделявшая одну человеческую личность от другой. Ему казалось трагичным, что прежде он ее так безумно любил, а теперь разлюбил совсем. Иногда он ее просто ненавидел. Она ничему не могла научиться, и уроки жизни прошли для нее даром. Она сохранила все свои скверные привычки. Филипа

глубоко возмущало ее наглое обращение с прислугой в пансионе, работавшей не покладая рук.

Он стал обдумывать свои планы на будущее. К концу четвертого года обучения он сдаст экзамены по акушерству, а еще через год получит диплом. Быть может, ему удастся поехать тогда в Испанию. Он хотел увидеть картины, которые знал только по фотографиям; в глубине души он верил, что Эль Греко владеет тайной, имеющей особое для него значение; ему казалось, что, попав в Толедо, он разгадает эту тайну. Потребности у него были скромные, и на сотню фунтов он сможет прожить в Испании добрых полгода; если Макалистер подбросит ему еще одно выгодное дельце, такой расход будет ему по силам. У него потеплело в груди при мысли о прекрасных старинных городах и ржавых равнинах Кастилии. Он был убежден, что жизнь способна дать ему больше, чем дает сейчас, и верил, что в Испании она будет полнее. Возможно, что в одном из этих старинных городов ему удастся заняться практикой — проездом или постоянно там живет немало иностранцев, и, пожалуй, он обеспечит себе кое-какой заработок. Но все это еще далеко; сперва он должен поработать в больнице — это дает опыт и облегчает потом получение места. Ему хотелось поступить судовым врачом на один из больших грузовых пароходов, которые не слишком торопятся и дают человеку возможность повидать кое-что в портах, куда они заходят. Он мечтал побывать в Азии: воображение рисовало ему заманчивые картины Бангкока, Шанхая, прибрежных городов Японии; он видел пальмы и раскаленную солнцем синь, темнокожих людей и пагоды; ароматы Востока дурманили его. Сердце билось от страстного желания изведать красоту и чудеса далеких стран.

Милдред проснулась.

— Кажется, я задремала, — сказала она. — Ах ты, гадкая девчонка, что ты натворила! Вчера только надела на нее чистое платье, а посмотри-ка, во что она его превратила, Филип.

ГЛАВА 95

Вернувшись в Лондон, Филип перешел на практику в перевязочную хирургического отделения. Хирургия интересовала его не так, как терапия, которая больше опирается

на опыт и оставляет простор воображению. Теперь ему приходилось труднее, чем прежде. От девяти до десяти он слушал лекции; в десять отправлялся в обход — промывать раны, снимать швы, менять перевязки, Филип втайне гордился своим умением делать перевязки, и ему приятно было выслушивать похвалы сестер. По определенным дням производились операции; тогда он стоял посреди операционного зала в белом халате, подавая хирургу инструменты или смывая губкой кровь. Когда операция была сложная, зал наполнялся студентами, но, как правило, приходило всего несколько человек, и тогда обстановка была интимнее и больше нравилась Филипу. В те годы весь мир словно помещался на аппендиците и множество больных ложилось на операционный стол; хирург, у которого проходил практику Филип, соревновался с одним из своих коллег, кто быстрее удалит аппендикс, сделав как можно меньший разрез.

В положенное время Филипа перевели в «Скорую помощь». Студенты, проходившие хирургическую практику, работали по сменам; смена длилась три дня, в течение которых студенты жили в больнице и питались в общей столовой. Комната практиканта находилась на первом этаже, рядом с палатой неотложной хирургии; там была складная кровать, днем убиравшаяся в шкаф. Дежурный не мог отлучаться ни днем, ни ночью, принимая пострадавших. Почти все время он проводил на ногах; по ночам не проходило и часа без того, чтобы прямо над его головой не зазвонил колокол и его не подняли с постели. Труднее всего, разумеется, приходилось в ночь на воскресенье, особенно в те часы, когда закрывались питейные заведения. Полицейские доставляли мертвецы пьяных, которым необходимо было сделать промывание желудка; женщины, которые и сами-то были не очень трезвы, приходили с пробитой головой или расквашенным носом — знаком мужнего рукоприкладства; одни клялись, что подадут на изверга в суд, другие, напротив, стыдливо уверяли, что произошел несчастный случай. Все, с чем мог справиться дежурный практикант, он делал сам, но если увечье было серьезным, он посылал за дежурным хирургом; однако злоупотреблять этим не следовало: хирург не очень-то радовался, если его вытаскивали с пятого этажа по пустякам. Случаи бывали самые разные: от пореза на пальце до перерезанного горла. Приходил мальчик с рукой, раздробленной станком; доставляли мужчин, попавших под карету, детей, сломавших

руку или ногу во время игры. Изредка полицейские приносили самоубийц; однажды Филипу попался мертвенно-бледный человек с блуждающим взглядом и огромной раной от уха до уха — несколько недель он потом лежал в одной из палат под неусыпным наблюдением полицейского; молчаливый, мрачный и озлобленный тем, что ему спасли жизнь, он ничуть не скрывал, что снова попытается покончить с собой, как только окажется на свободе. Палаты были набиты до отказа, и, когда полиция доставляла пострадавшего, дежурный хирург не знал, как ему быть: отошлешь больного в полицейский участок, а он там умрет, вот и жди ругательной заметки в газетах; иногда трудно было отличить умирающего от мертвецки пьяного. Филип старался подольше не ложиться спать — все равно приходилось вскакивать чуть не каждый час; он засиживался в палате, болтая с ночной сиделкой. Это была мужеподобная женщина с седыми волосами, которая работала в этом отделении уже двадцать лет. Она любила свое дело — здесь она была сама себе хозяйка и ей не докучала сестра. Двигалась она неторопливо, но была мастером своего дела и никогда не терялась в трудную минуту. Неопытные студенты, которым часто не хватало выдержки, надеялись на нее, как на каменную стену. Она перевидала на своем веку тысячи студентов и не могла всех запомнить; каждого она звала «мистер Браун», а когда кто-нибудь недовольно поправлял ее, она только кивала головой и продолжала величать его «мистером Брауном». Филип любил посидеть с ней в пустой комнате, где стояли лишь две набитые волосом кушетки, и послушать при свете газового рожка ее рассказы. Она давно перестала видеть в пациентах людей: для нее они были просто алкогольным отравлением, переломом руки или перерезанным горлом. Пороки, страдания и жестокости этого мира она принимала как должное; человеческие поступки не заслуживали в ее глазах ни похвалы, ни порицания. При всем том она была не лишена мрачного юмора.

— Помню одного самоубийцу, — рассказывала она Филипу, — он бросился в Темзу. Его вытащили из воды и доставили сюда, а через десять дней он заболел брюшным тифом оттого, что наглотался речной воды.

— Он умер?

— Конечно, умер. Я до сих пор не пойму, надо ли считать это самоубийством или нет... Чудные типы эти самоубийцы.

Помню одного безработного; у него умерла жена, он заложил всю одежду и купил револьвер, но так у него ничего и не вышло — только прострелил себе глаз и поправился. А тут, извольте видеть, потеряв глаз и изуродовав себе лицо, он пришел к убеждению, что мир вовсе не так уж плох, и жил потом в свое удовольствие. Но вот что я заметила: люди никогда не накладывают на себя руки из-за любви, как надо было бы ожидать, если послушать писателей; люди кончают с собой потому, что им не на что жить. Ума не приложу, отчего это так бывает.

— Может, потому, что деньги важнее любви, — неуверенно сказал Филип.

Мысли о деньгах в те дни поглощали Филипа. Он убедился в том, как мало правды в легкомысленном утверждении, которое он и сам подчас повторял, будто вдвоем прожить не дороже, чем одному, и его расходы начинали его тревожить. Милдред была не очень-то хорошей хозяйкой, и они тратили не меньше, чем если бы питались в ресторанах; ребенка надо было одевать, а сама Милдред нуждалась в ботинках, зонтике и всяких других вещах, без которых она никак не могла обойтись. Вернувшись из Брайтона, она объявила о своем намерении искать работу, но ничего определенного не предприняла, а вскоре простудилась и слегла недели на две. Поправившись, она сходила по двум-трем объявлениям, но из этого ничего не вышло: то она опаздывала и вакансия была уже занята, то работа казалась ей непосильной. Однажды подвернулось подходящее место, но платили только четырнадцать шиллингов в неделю, а она считала, что заслуживает больше.

— Нельзя, чтобы тобой помыкали, — заявила она. — Никто тебя не будет уважать, если согласишься работать за гроши.

— Четырнадцать шиллингов — не такие уж гроши, — сухо заметил Филип.

Он поневоле думал о том, какгодились бы дома эти четырнадцать шиллингов, а Милдред стала намекать, что не может получить работы из-за того, что у нее нет приличного платья для переговоров с хозяевами. Он купил ей новое платье, и она сделала еще одну или две попытки найти место, но Филип понял, что все это несерьезно. Ей просто лень было работать. Единственным способом выйти из денежных затруднений была игра на бирже, и

ему очень хотелось повторить удачный летний опыт, но разразилась война с Трансваалем, и южноафриканские акции никто не покупал. Макалистер сообщил ему, что через месяц генерал Редверс Буллер вступит в Преторию и тогда на бирже будет бум. Оставалось набраться терпения и ждать. Пока что нужно, чтобы англичане отступили, тогда акции упадут и можно будет их прикупить.

Филип стал прилежно читать финансовый отдел своей газеты. Он сделался нервным и раздражительным. Разок-другой он резко осадил Милдред, а так как она не обладала ни терпением, ни тактом и отвечала запальчиво, дело у них кончилось ссорой. Филип всегда извинялся потом за грубость, но Милдред была злопамятна и дулась по нескольку дней. Всем своим поведением она начинала действовать ему на нервы: и тем, как держала себя за столом, и неряшливостью, с которой разбрасывала в гостиной предметы своего туалета. Филипа волновала война — утром и вечером он с жадностью читал газеты; ее же не интересовало ничто. Она познакомилась с несколькими соседками, и одна из них спросила, не хочет ли она, чтобы к ним зашел священник. Милдред носила обручальное кольцо и именвала себя миссис Кэри. У них на стенах висело несколько рисунков, сделанных Филипом в Париже, — обнаженные фигуры двух женщин и Мигеля Ахурии, крепко стиснувшего кулаки и упершегося ногами в землю. Филип берег эти рисунки — они были его лучшими работами и напоминали о счастливых днях. Милдред давно уже на них косо поглядывала.

— Мне бы очень хотелось, Филип, чтобы ты снял эти картинки, — сказала она наконец. — Вчера заходила миссис Формен из дома тринадцать, и я не знала, куда глаза девать. Она так на них уставилась!

— А что в них плохого?

— Сплошное неприличие! Это просто гадость — держать на стенах картинки с голыми людьми. И для ребенка нехорошо. Девочка уже начинает понимать.

— Как ты можешь говорить такие пошлости?

— Пошлости? Если хочешь знать, меня просто стыд берет. Я тебе ни слова не говорила, но ты думаешь, мне приятно целый день глазеть на голых баб?

— Неужели у тебя совсем нет чувства юмора? — сухо спросил он.

— При чем тут чувство юмора? Вот возьму да и сниму их сама. Гадость это, и больше ничего, вот что я тебе скажу.

— А меня не интересует, что ты скажешь. Я запрещаю тебе трогать эти рисунки.

Когда Милдред на него злилась, она вымещала злость на ребенке. Девочка привязалась к Филипу не меньше, чем он к ней, и величайшим ее удовольствием было забираться по утрам к нему в комнату (ей шел второй год, и она довольно хорошо ходила) и влезать с его помощью к нему на постель. Когда Милдред ей это запретила, бедная девчушка горько расплакалась. В ответ на уговоры Филипа Милдред отвечала:

— Я совсем не желаю, чтобы она привыкала Бог знает к чему.

А если он продолжал настаивать, она добавляла:

— Не твое дело, это мой ребенок. Послушать тебя, можно подумать, что ты ей отец! Я мать, и мне виднее, что ей можно и чего нельзя!

Ее глупость раздражала Филипа, но теперь он был так равнодушен к Милдред, что ей редко удавалось вывести его из себя. Он привык к ней. Наступило рождество, а с ним — несколько свободных дней для Филипа. Он принес ветки остролиста и украсил ими комнаты, а в рождественское утро сделал Милдред и ребенку маленькие подарки. Традиционная индюшка была бы слишком велика для двоих, — Милдред зажарила цыпленка и разогрела рождественский пудинг, купленный в соседней лавке. Они разорились на бутылку вина. После обеда Филип закурил трубку и устроился в кресле у огня; захмелев с непривычки, он забыл на время о денежных заботах, которые не покидали его теперь ни на минуту. Он испытывал полное довольство. Вошла Милдред; она сказала, что ребенок хочет поцеловать его на ночь, и, улыбнувшись, он пошел к ней в спальню. Филип велел девочке спать, потушил газ и, оставив на всякий случай дверь открытой, вернулся в гостиную.

— Куда ты хочешь сесть? — спросил он у Милдред.

— Ты сиди в кресле. Я сяду на пол.

Когда он уселся, она устроилась у огня, прислонившись к его коленям. Он вспомнил, что так они сидели в ее квартире на Воксхолл-Бридж-роуд, но теперь роли переменялись; тогда на полу сидел он, и его голова покоилась на ее коленях. Как страстно он в то время ее любил! В нем

пробудилась нежность, какой он давно к ней не чувствовал. На шее у себя он все еще ощущал мягкие ручки ребенка.

— Тебе удобно? — спросил он.

Она подняла на него глаза, чуть улыбнулась и кивнула. Мечтательно глядели они на огонь, не говоря ни слова. Потом она повернулась и посмотрела на него с любопытством.

— Знаешь, — сказала она вдруг, — ты ведь не поцеловал меня ни разу с тех пор, как я сюда переехала.

— А тебе этого хочется? — улыбнулся он.

— Наверное, я тебе больше не нравлюсь?

— Я к тебе очень привязан.

— Ты куда больше привязан к ребенку.

Он не ответил, и она прижалась щекой к его руке.

— Ты на меня больше не сердишься? — спросила она, не поднимая глаз.

— За что я на тебя должен сердиться?

— Я никогда не любила тебя так, как сейчас. Только пройдя через огонь, я научилась тебя любить.

Филипа передернуло, когда он услышал эту фразу: Милдред явно вычитала ее из дешевых романов, которые поглощала пачками. Он подумал о том, имеют ли эти слова для нее какой-нибудь смысл — может быть, она просто не умеет выразить свои чувства, не прибегая к высокопарному языку «Фэмили геральд».

— Странно жить вместе так, как мы живем.

Он долго не отвечал, и снова наступило молчание; наконец он заговорил, словно никакой паузы не было:

— Не сердись на меня. Тут уж ничего не поделаешь. Помню, я считал тебя злой и жестокой потому, что ты поступала так, как тебе хотелось, но это было глупо с моей стороны. Ты меня не любила, и попрекать тебя этим нелепо. Мне казалось, я сумею заставить тебя полюбить, но теперь я знаю, что это было невозможно. Понятия не имею, откуда берется любовь, но откуда бы она ни бралась, в ней-то все и дело, а если ее нет, нельзя ее вызвать ни лаской, ни великодушием, ни чем бы то ни было еще.

— А я думаю, что если бы ты когда-нибудь меня любил, то, наверно, любил бы и сейчас.

— Я тоже так думал. Помню, мне казалось, что любовь моя будет вечной и лучше умереть, чем жить без тебя; мне даже хотелось, чтобы поскорей наступило время, когда ты

увянешь, постареешь, никому больше не сможешь нравиться и будешь только моей.

Милдред промолчала, но скоро она поднялась и сказала, что ложится спать.

Она робко улыбнулась.

— Сегодня Рождество, Филип, неужели ты не поцелуешь меня на прощание?

Он рассмеялся, чуть-чуть покраснел и поцеловал ее. Она ушла к себе в спальню, а он взялся за книгу.

ГЛАВА 96

Кризис наступил через две или три недели. Поведение Филипа довело Милдред до полного иступления. В ней боролись самые противоречивые чувства, и она легко переходила от одного настроения к другому. Милдред подолгу оставалась одна, утрумо размышляя о своем положении. Она не смогла бы выразить своих ощущений словами, да и не отдавала себе в них ясного отчета, но некоторые обстоятельства приобретали в ее глазах преувеличенное значение, и она не переставала о них думать. Милдред никогда не понимала Филипа, и он ей не особенно нравился, но ей приятно было иметь с ним дело — она считала его джентльменом. Ей очень импонировало, что его отец был врачом, а дядя священником. Она его немножко презирала за то, что он позволял ей водить себя за нос, и в то же время ей всегда было как-то не по себе в его обществе — с ним ей приходилось все время следить за собой; она чувствовала, что ему не нравятся ее манеры.

В первые дни, когда она только что переехала в маленькую квартиру в Кеннингтоне, она была сама не своя от усталости и стыда. Она радовалась, что ее не трогают. Хорошо было не думать о том, что надо платить за квартиру, надо выходить на улицу в любую погоду, можно спокойно полежать в постели, если тебе нездоровится. Прошлая жизнь ей была ненавистна. До чего же противно быть услужливой и подобострастной! Она и теперь еще плакала от жалости к себе, вспоминая грубость мужчин и невозддержанность их речи. Впрочем, она вспоминала об этом не часто. Милдред была признательна Филипу за то, что он ее спас, а когда ей приходило на память, как искренне он ее любил и как плохо она с ним обошлась, она даже испытывала утрызения совести. Вознаградить его было так просто. Ей бы это ниче-

го не стоило. Она удивилась, когда он не ответил на ее заигрывание, но сперва только пожала плечами: пусть себе задается, если хочет, — ей все равно; скоро сам будет к ней приставать, тогда придет ее черед капризничать; если он думает, что для нее это такое уж лишение, он жестоко ошибается. Милдред не сомневалась в своей власти над ним. Он был чужак, но она знала его как облупленного. Он часто с ней ссорился и клялся, что никогда больше не придет, но через несколько дней ползал на коленях, моля о прощении. Ей очень приятно было вспоминать, что он перед ней пресмыкался. Он готов был целовать землю, по которой она ступала. Она видела его в слезах. Она-то уж знает, как с ним себя вести, — не обращать на него никакого внимания; делать вид, будто не замечаешь его вспышек; безжалостно оставлять его одного. Глядишь, и он снова будет валяться у нее в ногах. Она добродушно посмеивалась втихомолку, думая о том, как он, бывало, унижался перед ней. Теперь она перебесилась. Она уже знала мужчин и больше не желала иметь с ними дело. Ничего, теперь для нее сойдет и Филип. В конце концов он джентльмен в полном смысле слова, а это ведь теперь редкость. Так или иначе ей некуда торопиться, и она навязываться не будет. Ее радовало, что он так нежен к ребенку, хоть это ее порядком и забавляло: смешно, что чужой ребенок ему так дорог. Да, он чужак, форменный чужак.

Но кое-что ее удивляло. Она привыкла, чтобы он ей угождал; в прежние дни он готов был ради нее на все; одно ее слово могло повергнуть его в уныние или привести в восторг. За последний год он переменялся, и, по ее мнению, далеко не к лучшему. Ей и в голову не приходило, что перемена могла коснуться его чувств; она была уверена, что он только делает вид, будто не обращает внимания на ее дурное настроение. Иногда ему хотелось читать, и он просил ее помолчать; она не знала, рассердиться ей или надуться, и от неподдельного удивления не делала ни того, ни другого. Затем произошел разговор, в котором он сообщил ей, что их отношения должны остаться платоническими; вспомнив один эпизод из прошлого, она решила, что он боится, как бы она не забеременела. Милдред постаралась его успокоить. Но это не помогло. Такой женщине, как она, трудно было поверить, что мужчина может быть равнодушен к вопросам пола, которые ее поглощали целиком; в ее жизни отношения с мужчинами были вполне

определенными: она не могла допустить, что у мужчин могут быть и другие интересы. Ей даже пришло в голову, что Филип влюбился; она стала следить за ним, подозревая сестер в больнице и женщин, с которыми он встречался на стороне, но искусные расспросы привели ее к выводу, что в семействе Ательни не крылось никакой опасности; она убедилась также и в том, что Филип, подобно большинству медиков, просто не считает сестер, с которыми сталкивается на работе, женщинами. Ему казалось, что от них слегка пахнет йодоформом. Филип не получал писем и не хранил женских фотографий. Если он в кого-нибудь и влюбился, он очень ловко это скрывал: на все вопросы Милдред он отвечал с полной откровенностью, по-видимому не подозревая у нее никаких задних мыслей.

«Как-то не похоже, что он влюбился в другую», — сказала она себе в конце концов.

Это ее утешило: в таком случае он, разумеется, все еще любит ее, но его поведение становилось тогда совершенно загадочным. Если он собирается обходиться с ней таким образом, зачем он предложил ей переселиться к нему? Это было противоестественно. Такие понятия, как жалость, благородство или доброта, были ей недоступны. Все ее рассуждения сводились к тому, что Филип чудак. Потом она вообразила, что он корчит из себя рыцаря; ее голова была забита ходульными сентенциями из бульварных романов, и она находила возвышенные объяснения тому, как он себя ведет. Ее воображение было напичкано историями роковых недоразумений между влюбленными и очищения огнем, образами угнетенной невинности, замерзающей на улице в студеную Рождественскую ночь. Она твердо решила положить конец его глупостям во время поездки в Брайтон: они останутся одни, все будут считать их мужем и женой, а кроме того, там будут прогулки по берегу моря и оркестр. Когда она убедилась в том, что Филипа нельзя заставить спать с ней в одной комнате, а он заговорил с ней тоном, какого она никогда еще от него не слышала, Милдред вдруг поняла, что он и в самом деле к ней равнодушен. Это ее потрясло. Она вспомнила все, что он говорил ей когда-то и как самозабвенно ее любил. Она была вне себя от унижения и злобы, но ей помогла врожденная наглость. Пусть не воображает, будто она в него влюблена, — как бы не так! Порой она его ненавидела, ей до смерти хотелось его унижить, но она чувствовала себя совершенно беспомощной:

она больше не имела над ним власти. Понемногу он стал действовать ей на нервы. Разок-другой она поплакала. Разок-другой постаралась быть с ним особенно ласковой; но, как только она брала его под руку, когда они прогуливались по вечерам вдоль пляжа, он находил какой-нибудь предлог, чтобы освободить свою руку, точно ее прикосновение было ему противно. Все это казалось ей просто непостижимым. Она сохраняла некоторое влияние на него только благодаря ребенку, к которому он, по-видимому, все больше и больше привязывался: стоило ей шлепнуть или толкнуть девочку, и он белел от злости; бывая нежность появлялась в его глазах только тогда, когда он видел ее с ребенком на руках. Она это заметила, когда ее снимал фотограф на пляже, и потом часто брала при Филипе ребенка на руки.

Когда они вернулись в Лондон, Милдред стала искать работу, которую, как она уверяла, совсем нетрудно было найти. Теперь она не хотела больше зависеть от Филипа; она предвкушала, с каким торжеством объявит ему, что переезжает от него в собственную комнату и забирает ребенка. Но, когда дошло до дела, у нее на это не хватило духу. Она отвыкла от долгого рабочего дня, ей не хотелось быть на побегушках у заведующей, и все ее нутро бунтовало при мысли, что ей снова придется надеть форму. Соседям она объяснила, что они с Филипом люди состоятельные; она уронит себя в их глазах, если станет известно, что ей пришлось поступить на работу. Сказалась и ее врожденная лень. Она и не думала уходить от Филипа: к чему это, пока он согласен ее содержать? Правда, с деньгами у них было туговато, но кровом и пищей она была обеспечена, а его дела могли измениться к лучшему. Его дядя уже старик, может умереть каждый день, и тогда Филипу кое-что останется; впрочем, даже сейчас ей жилось лучше, чем если бы она надрывалась с утра до ночи за несколько жалких шиллингов в неделю. Милдред относилась к поискам работы с прохладцей; она еще продолжала читать объявления в газете, но только для того, чтобы показать, как она хочет трудиться, если, конечно, подвернется что-нибудь стоящее. По временам ее охватывал страх, что Филипу надоест ее содержать. У нее сейчас не было над ним никакой власти, и она считала, что он разрешает ей оставаться здесь только из любви к ребенку. Эта черная мысль точила ее беспрестанно; она клялась себе, что в один прекрасный день заплатит ему за

все. Разве можно примириться с тем, что он ее больше не любит? Но она его заставит! Самолюбие ее было задето, и порою ее до странности тянуло к Филипу. Он был так холоден, что она готова была рвать и метать. Теперь она думала о нем беспрестанно. Она считала, что он к ней плохо относится, и не понимала, в чем ее вина. Она то и дело твердила себе, что противоестественно жить так, как живут они. Ей казалось, что если бы дело обстояло иначе и она бы забеременела, он бы непременно на ней женился. Каким бы он ни был чудачком, он был джентльменом в полном смысле слова. Этого у него не отнимешь. В конце концов эта мысль превратилась у нее в навязчивую идею — она твердо решила добиться перемены в их отношениях. Он ее даже не целовал, а ей этого хотелось: она еще помнила горячее прикосновение его губ. Воспоминания непривычно ее волновали. Она подолгу не сводила глаз с его рта.

Однажды вечером в начале февраля Филип сказал ей, что пойдет обедать к Лоусону — тот устраивал в мастерской вечеринку по случаю дня рождения — и вернется поздно; Лоусон купил в кабачке на Бик-стрит несколько бутылок их любимого пунша, и они надеялись весело провести вечер. Милдред спросила, будут ли там женщины, Филип ответил, что приглашены только мужчины; они просто посидят, поболтают и покурят. Милдред казалось, что им будет не очень-то весело; будь она художником, она непременно пригласила бы с полдюжины натурщиц. Она легла спать, но заснуть не могла, и вдруг ее осенило: она встала и заперла входную дверь на задвижку. Филип вернулся около часа ночи. Милдред услышала, как он выругался, найдя дверь закрытой. Она поднялась с постели и открыла дверь.

— Зачем ты заперлась? — сказал он. — Извини, что я тебя поднял.

— Я оставила дверь открытой. Понять не могу, что с ней случилось.

— Иди скорей обратно в постель, а то простудишься.

Он вошел в гостиную и зажег газ. Она последовала за ним и подошла к камину.

— Хочу погреть ноги. Они совсем заledenели.

Он сел и стал снимать ботинки. Глаза его блестели, щеки пылали. Она подумала, что он выпил.

— Тебе было весело? — спросила она с улыбкой.

— Да, я чудесно провел время.

Филип был совершенно трезв, но все еще возбужден веселыми разговорами и смехом. Этот вечер напомнил ему жизнь в Париже. У него было отличное настроение. Он вынул из кармана трубку и набил ее.

— Разве ты не собираешься лечь? — спросила она.

— Пока нет. Сна ни в одном глазу. Лоусон был великолепен. С самого моего прихода и до конца вечера он слова никому не дал сказать.

— О чем же вы говорили?

— А Бог его знает о чем! Обо всем на свете. Поглядела бы ты, как мы кричали наперебой во все горло и никто друг друга не слушал.

Филип рассмеялся от удовольствия при одном воспоминании, и Милдред тоже рассмеялась. Она была уверена, что он выпил больше, чем следует. На это она как раз и рассчитывала. Уж она-то знала мужчин.

— Можно мне сесть? — спросила она.

Не успел он ответить, как она уже сидела у него на коленях.

— Если ты не собираешься ложиться, тебе лучше накинуть халат, — заметил он.

— Ничего, мне приятно и так. — Обняв его за шею и прижавшись щекой к его щеке, она спросила: — Отчего ты со мной такой нехороший?

Он попытался встать, но она его не пустила.

— Я люблю тебя, Филип.

— Не болтай чепухи.

— Это не чепуха, это правда. Я без тебя жить не могу. Я хочу тебя.

Он освободился от ее объятий.

— Пожалуйста, отойди. Не валяй дурака и не ставь меня в идиотское положение.

— Я люблю тебя, Филип. Я тебе сделала много плохого, дай мне это загладить. Так больше продолжаться не может, это противно человеческой натуре.

Ему удалось соскользнуть с кресла, и она осталась одна.

— Поздно!

Она разразилась душераздирающими рыданиями.

— Но почему? Как ты можешь быть таким жестоким?

— Наверно, я тебя слишком любил. Страсть перегорела без остатка. Сама мысль о близости приводит меня в ужас. Я не могу на тебя сейчас смотреть, не вспоминая и Эмиля,

и Гриффитса. Тут уж ничего не поделаешь: наверно, все дело в нервах.

Она схватила его руку и осыпала ее поцелуями.

— Не смей! — закричал он.

Она снова упала в кресло.

— Я больше так не могу. Если ты меня не любишь, я лучше уйду.

— Не дури, тебе некуда уйти. Можешь тут жить сколько захочешь, но лишь при одном условии: мы будем друзьями, и только.

Тогда она вдруг перестала изображать неутоленную страсть и засмеялась мягким, вкрадчивым смешком. Подбежав к Филипу, она прижалась к нему. Голос ее стал тихим и заискивающим.

— Ну, не будь же глупышкой! Ты, видно, просто боишься. Ты еще не знаешь, какой я могу быть хорошей.

Она потерлась щекой о его лицо. Ее улыбка показалась Филипу отвратительным оскалом, а чувственный блеск ее глаз вызвал у него ужас. Он отшатнулся.

— Ни за что! — сказал он.

Но она его не отпускала. Ее губы искали его рот. Он схватил ее руки, с силой оторвал их от себя, оттолкнув ее прочь.

— Ты мне противна, — сказал он.

— Я?

Чтобы удержаться на ногах, она схватилась одной рукой за каминную полку. Мгновение она смотрела на него молча, на щеках у нее выступили красные пятна. Она грубо и злобно захохотала.

— Ах, это я тебе противна?..

Она остановилась, перевела дух, а потом вылила на него целый поток бешеной брани. Она кричала истошным голосом. Она ругала его всеми похабными словами, какие могла припомнить. Она выкрикивала такие непристойности, что просто ошеломила Филипа: она ведь всегда была до того жеманной и так возмущалась всякой грубостью, — ему и в голову не приходило, что ей известна такая грязная ругань. Она подбежала и приблизила свое лицо чуть не вплотную к его лицу. Черты ее были искажены ненавистью, она захлабывалась и брызгала слюной.

— Я тебя никогда не любила, ни единой минуты, и только водила тебя за нос, с тобой была такая тоска, у меня от тебя челюсти сводило со скуки, я тебя ненавидела, я

бы не позволила тебе и пальцем меня коснуться, если бы не деньги: меня мутило, когда ты меня целовал, как мы над тобой смеялись, Гриффитс и я! Какой же ты был болван! Болван! Болван!

И она снова разразилась отвратительной руганью. Она обвиняла его во всех пороках; кричала, что он скупердяй, сквалыга, что с ним помрешь от тоски, что он чванный эгоист. Она злобно насмехалась над всем, что ему было дорого. Наконец она повернулась к двери, истерически выкрикивая обидные, грязные слова. Схватившись за ручку двери, она распахнула ее настежь. Потом повернулась и бросила ему в лицо оскорбление, которое, как она знала, одно только и могло причинить ему боль. Она вложила в это слово всю свою ярость, весь свой яд. Она выплюнула ему в лицо:

— Калека!

ГЛАВА 97

Наутро Филип вскочил как ужаленный, чувствуя, что проспал, и, взглянув на часы, увидел, что уже девять. Он встал и побежал на кухню за горячей водой для бритья. Милдред не было видно, вчерашняя посуда лежала немытой в раковине. Он постучал к ней в дверь.

— Милдред, проснись. Уже очень поздно.

Но она не отозвалась, даже когда он постучал громче, и Филип решил, что она дуется. Он слишком спешил, чтобы с ней объясняться. Поставив кипятить воду, он окунулся в ванну — ее всегда наливали с вечера, чтобы вода успела согреться. Филип рассчитывал, что, пока он одевается, Милдред приготовит завтрак и накроет стол в гостиной. Она так поступала и раньше, когда бывала не в духе. Но в квартире была тишина, Милдред не было слышно, и Филип понял, что, если он хочет позавтракать, ему надо позаботиться о еде самому. Он рассердился, что она подводит его как раз в то утро, когда он проспал. Филип уже оделся, а Милдред все не показывалась, хотя и слышно было, как она ходит у себя в комнате. По-видимому, она вставала. Он приготовил себе чай и хлеб с маслом, проглотил завтрак, пока надевал ботинки, спустился с лестницы и переулком выбежал на улицу, где останавливался его трамвай. Глазами он пробежал газетные афиши у киосков, где печатались сообщения с театра войны, но мысли его были поглощены ночной ссорой. Теперь, когда он выспался и

отошел, вся сцена показалась ему карикатурной; наверно, он и сам был изрядно смешон, но ведь чувству не прикажешь, а в ту минуту он целиком был во власти своих чувств. Он был зол на Милдред за то, что она поставила его в такое дурацкое положение; потом снова с удивлением припомнил ее припадок ярости и площадную брань; оскорбление, брошенное ею напоследок, и сейчас заставило его покраснеть, но он сразу же презрительно пожал плечами. Он давно знал, что всякий, кто на него сердится, не упустит случая поиздеваться над его хромотой. В больнице он не раз подмечал, как люди передразнивают его походку, — правда, не открыто, как когда-то в школе, а у него за спиной. Теперь он понимал, что тут даже нет злого умысла, просто человек — животное, склонное к подражанию, да и чем еще так легко рассмешить окружающих? Филип все понимал, но примириться с этим не мог.

Он с удовольствием окунулся в работу. Палата показалась ему приветливой и уютной. Сестра, встретив его, деловито улыбнулась.

- Вы сегодня здорово опоздали, мистер Кэри.
- Кутнул вчера вечером.
- Оно и видно.
- Благодарю.

Посмеиваясь, он подошел к первому из своих больных — мальчику, страдавшему волчанкой, — и снял повязку. Мальчик обрадовался, а Филип, накладывая свежую повязку, стал над ним подшучивать. Филип был любимцем всей палаты: он ласково обращался с больными, и у него были нежные чуткие руки, которые не причиняли боли, — другие практиканты бывали грубоваты и недостаточно внимательны. Филип поел с приятелями в студенческой столовой; его скромная трапеза состояла из булочки с маслом, которую он запил чашкой какао; разговор шел о войне. Кое-кто из бывших студентов отправился на фронт, но военные власти были придирчивы и не брали тех, кто не прошел практики в больнице. Один из собеседников высказал мысль, что, если война затянется, будут рады каждому, кто имеет диплом врача. Но, по мнению всех, война должна была через месяц кончиться; теперь, когда там появился фельдмаршал Робертс, дела быстро пойдут на лад. Такого же мнения держался и Макалистер; он сказал Филипу, что им следует быть начеку и купить акции до того, как будет заключен мир. Тогда на бирже непременно поднимется паника и они смогут подзаработать. Филип поручил

Макалистеру купить ему акции, как только подвернется подходящий случай. Тридцать фунтов стерлингов, доставшиеся ему летом, разожгли его аппетит, и теперь ему хотелось увеличить свой капитал еще сотни на две.

Кончив работу, он вернулся на трамвае в Кеннингтон. Его интересовало, как будет вести себя в этот вечер Милдред. Противно, если она решит дуться и перестанет с ним разговаривать. Вечер был теплый не по сезону, и даже на безрадостных улицах южного Лондона чувствовалось весеннее томление: в феврале природа полна беспокойства после долгих месяцев зимы, растения просыпаются от сна и даже в самой земле словно слышится шорох — предвестник весны, пробуждения, начало извечного круговорота. Филип охотно поехал бы дальше: ему противно было возвращаться домой и хотелось подышать воздухом, но внезапно его охватило такое желание увидеть ребенка, что даже сердце заныло; он улыбнулся, представляя себе, как девочка, радостно лепеча, заковыляет ему навстречу. Его удивило, когда, дойдя до дома и машинально взглянув на свои окна, он не увидел в них света. Он поднялся по лестнице и постучал — никто не откликнулся. Когда Милдред уходила из дому, она оставляла ключ под половиком, там он его и нашел. В гостиной он зажег спичку. Что-то случилось, он не сразу понял, что именно; он зажег газ — свет залил комнату, и он огляделся. У него замерло сердце. Квартира была разгромлена. Все, что в ней находилось, было намеренно уничтожено. Вне себя от ярости он бросился в комнату Милдред. Там было темно и пусто. Он зажег свет и увидел, что нет ни ее вещей, ни вещей ребенка (входя в квартиру, он заметил, что на площадке не было детской коляски, но подумал, что Милдред пошла с ребенком погулять). Все вещи на умывальнике были разбиты, сиденья обоих стульев разрезаны крест-накрест ножом, подушка вспорота, в простынях и одеяле прорваны огромные дыры, зеркало, по-видимому, расколото молотком. Филип был потрясен. Он прошел в свою комнату — там тоже царил хаос. Таз и кувшин были разбиты, зеркало — в осколках, постельное белье превращено в лохмотья. Милдред проковыряла в подушке дыру, в которую можно было просунуть руку, и пустила пух по всей комнате. Одеяло она истыкала ножом. На туалетном столике стояли фотографии матери Филипа — рамки были сломаны, стекла разлетелись вдребезги, Филип

заглянул в кухню. То, что можно было разбить, было разбито — стаканы, формы для пудинга, тарелки, блюда...

Филип был ошеломлен. Милдред не оставила даже письма — свою ярость она выразила этим разгромом; он представил себе ее застывшее лицо, когда она все это продельвала. В гостиной он огляделся снова. Он был так изумлен, что уже не сердился. С любопытством он разглядывал кухонный нож и угольный молоток, забытые ею на столе. Потом он заметил в камине большой столовый нож — он тоже был сломан. Милдред понадобилось немало времени, чтобы все это уничтожить! Его портрет, нарисованный Лоусоном, зиял со стены уродливыми отверстиями, изрезанный крест-накрест. Его собственные рисунки были искромсаны на куски; фотокопии «Олимпии» Мане, «Одалиски» Энгра и «Филиппа IV» — уничтожены ударами угольного молотка. Скатерть, занавески, сиденья обоих кресел — все было в дырах. Вся обстановка была вконец испорчена. Над столом, за которым занимался Филип, висел на стене маленький персидский коврик, подаренный ему Кроншоу. Милдред терпеть его не могла.

— Если это ковер, ему место на полу, — говорила она, — но это просто грязная, вонючая тряпка, вот и все.

Ее бесило, когда Филип ей говорил, что коврик содержит разгадку величайшей тайны. Она думала, что он над ней издевается. Она трижды распорола ножом персидский коврик — это потребовало с ее стороны немалых усилий, — и теперь от него остались лоскутья. У Филипа было несколько белых с синим тарелок; они не представляли никакой ценности, он покупал их по одной, очень дешево, но у него были связаны с ними дорогие воспоминания. Пол был усеян их осколками. Корешки книг были изрезаны ножом, и Милдред не поленилась вырвать листы из переплетенных французских книг. Осколки безделушек с камина валялись в очаге. Все, что могли истребить нож и молоток, было истреблено.

Пожитки Филипа нельзя было бы продать и за тридцать фунтов, но его связывала с ними долгая дружба; Филип был домоседом и привязался к своим вещам потому, что они окружали его постоянно; он гордился своим скромным жилищем и, почти ничего не истратив, сделал его уютным и не таким, как у других. Он в отчаянии опустился в кресло, спрашивая себя, как она могла таить в себе столько жестокости. Внезапный страх заставил его вскочить и бро-

ситься в коридор, где стоял шкаф с одеждой. Открыв его, он вздохнул с облегчением. Вероятно, Милдред о нем забыла, и одежда осталась нетронутой.

Вернувшись в гостиную и обозревая царящий в ней хаос, Филип раздумывал, что ему делать. У него не хватило духа взяться за уборку; к тому же в доме не было еды, а ему хотелось есть. Он вышел что-нибудь купить. По дороге он успокоился. Только при мысли о ребенке у него сжималось сердце: он подумал, будет ли девочка по нем скучать; сперва немножко поскучает, а через неделю забудет; зато он был рад, что избавился от Милдред. Мысль о ней вызывала у него не злобу, а невыносимую скуку.

— Дай Бог, чтобы я никогда ее больше не увидел, — произнес он вслух.

Ему оставалось только отказаться от квартиры, и он решил заявить об этом на следующее утро. У него не хватило бы средств привести все в прежний вид, к тому же денег оставалось так мало, что пора было подыскать квартиру еще дешевле. Ему хотелось отсюда уехать. Его давно уже тревожило, что он много платит за квартиру, а теперь с этими стенами было связано воспоминание о Милдред. Филип был человек нетерпеливый и не знал покоя, пока не осуществлял того, что задумал; на следующий же день он пригласил торговца старой мебелью, который предложил ему три фунта за все его испорченное и целое имущество; через два дня он переселился в тот дом напротив больницы, где снимал комнаты, когда поступил в институт. Хозяйка этого дома была славная женщина. Он занял комнату под самой крышей за шесть шиллингов в неделю; это была крошечная каморка с одним окном, выходившим на соседний двор, но теперь все его пожитки состояли из одежды и ящика с книгами, и он радовался, что устроился дешево.

ГЛАВА 98

А затем случилось так, что на судьбе Филипа Кэри, которая имела значение только для него самого, отразились события, захватившие всю его страну. В те дни творилась история, в борьбу вступили грозные силы — казалось бы, что им за дело до жизни незаметного студента-медика? Сражение за сражением — Магерсфонтейн, Коленсо, Спайн-Коп — были проиграны золотой молодежью; эти поражения унизили нацию и нанесли смертельный удар престижу

аристократии и поместных дворян, хотя до тех пор никто не решался оспаривать их утверждение, будто они одни обладают даром управлять страной. Старый режим был сметен: да, в эти дни и в самом деле творилась история. Потом колосс собрался с силами и, все еще тычась вслепую, припелся наконец к некоему подобию победы. Кронье сдался у Пардеберга, была снята осада с Ледисмита, и в начале марта лорд Робертс вступил в Блумфонтейн.

Через два-три дня после того, как эти вести достигли Лондона, Макалистер появился в кабачке на Бик-стрит с радостным сообщением, что дела на бирже пошли веселее. Мир был не за горами — не пройдет и нескольких недель, как Робертс возьмет Преторию; акции уже поднимались. Биржевой бум был неизбежен.

— Настало время действовать, — сказал он Филипу. — Нечего ждать, пока публика раскачается. Теперь или никогда!

У Макалистера была своя информация. Управляющий одной из южноафриканских золотых копей телеграфировал главе своей фирмы, что рудник не пострадал. Работа начнется, как только будет возможно. Поместить деньги в это дело было не спекуляцией, а капиталовложением! В доказательство того, какого высокого мнения был об этом сам глава фирмы, Макалистер сообщил Филипу, что тот купил по пятьсот акций двум своим сестрам, а он никогда не вкладывал их денег в предприятие, если оно не было таким же надежным, как Английский банк.

— Я сам вложу в эти бумаги все, до последней рубашки, — сказал Макалистер.

Акции котировались от двух фунтов с восьмой до двух фунтов с четвертью. Биржевой маклер советовал Филипу не жадничать и удовольствоваться повышением в десять шиллингов. Макалистер покупал себе триста акций и предлагал Филипу приобрести столько же. Придержав акции, Макалистер продаст их, когда сочтет нужным. Филип безгранично верил в Макалистера, отчасти потому, что тот был шотландцем и обладал природной шотландской осторожностью, отчасти же потому, что все его предсказания до сих пор сбывались. Он ухватился за предложение маклера.

— Я полагаю, что мы сумеем продать акции до двухнедельного подведения итогов, — сказал Макалистер. — Если же нет, я устрою, чтобы ваш платеж перенесли на следующий срок.

Такая процедура показалась Филипу превосходной. Надо только выждать, и ты получишь свою прибыль, даже деньги выкладывать не придется. Он стал с жадным интересом следить за биржевым отделом газеты. На следующий день акции немного поднялись, и Макалистер известил его письмом, что пришлось заплатить за акцию по два фунта с четвертью. Маклер писал, что рынок устойчив. Но через день-другой произошла заминка. Известия, поступавшие из Южной Африки, стали менее утешительными, и Филип с тревогой увидел, что его акции упали до двух фунтов. Но Макалистер был полон оптимизма: буры не могли долго продержаться, он готов был проакладывать все и вся, что Робертс вступит в Йоганнесбург раньше середины апреля. При подведении итогов Филип потерял почти сорок фунтов. Это его не на шутку встревожило, но он решил, что отступать уже поздно: в его нынешнем положении такая потеря была бы слишком чувствительной. Две-три недели прошли без всяких происшествий: буры никак не хотели понять, что они разбиты и должны сдаться на милость победителя; наоборот, они выиграли два небольших сражения, и акции Филипа упали еще на пол-кроны. Стало ясно, что война пока еще не кончена. Акции распродавались вовсю. Когда Макалистер в следующий раз встретился с Филипом, он был настроен пессимистически.

— Не знаю, может, лучше примириться с потерей, — сказал он. — Я уже выплатил на разнице больше, чем рассчитывал.

Филипа пожирала тревога. Он не спал по ночам, проглатывал наспех завтрак, состоявший теперь из куска хлеба с маслом и чашки чая, и бежал в студенческую читальню, чтобы поскорее просмотреть газету; порой вести были плохими, порой их не было вовсе, но если курс акций менялся, он менялся только в сторону понижения. Филип не знал, что делать. Продать акции сейчас означало потерять почти триста пятьдесят фунтов; у него осталось бы в кармане всего восемьдесят. Он от всей души жалел, что по глупости впутался в биржевую игру, но теперь оставалось только держаться: со дня на день что-нибудь может случиться и акции поднимутся; он уже не надеялся на выигрыш, а хотел только вернуть вложенные деньги. На это была вся надежда. Ему надо было кончить институт. В мае начиналась летняя сессия, и он собирался сдать экзамены по акушерству. Тогда ему останется только год; он произвел тщательные подсчеты и

пришел к выводу, что, внеся плату за учение, он сможет дотянуть, имея сто пятьдесят фунтов; но уже меньше никак нельзя!

В начале апреля он отправился в кабачок на Бикстрит, надеясь встретить там Макалистера. Разговоры с ним его немножко успокаивали; когда он думал о том, что тысячи людей потеряли не меньше, чем он, своя беда казалась ему не такой невыносимой. Но, придя в кабачок, он нашел там только Хейуорда, и не успел Филип сесть за стол, как тот объявил:

— В воскресенье отплываю в Южную Африку.

— Да ну? — поразился Филип.

Он меньше всего ожидал подобного поступка от Хейуорда. Из больницы уезжало теперь на войну много врачей — власти были рады заполучить всякого, кто имел медицинское образование; студенты, ушедшие на войну рядовыми, писали, что, как только выяснялось, чему они прежде обучались, их тут же определяли в госпитали. Страну захлестнула волна патриотического подъема; в армию вступали добровольцы из всех слоев общества.

— Кем же вы едете? — спросил Филип.

— Я поступил в Дорсетский добровольческий кавалерийский полк. Рядовым.

Филип был знаком с Хейуордом уже восемь лет. Юношеской близости, начавшейся с восторженного увлечения человеком, способным приобщить его к искусству и литературе, давно как не бывало; на смену ей пришла привычка: когда Хейуорд бывал в Лондоне, они встречались раза два в неделю. Хейуорд по-прежнему (с тонким чутьем) рассуждал о книгах. Но Филип все еще был нетерпим, и беседы с Хейуордом часто его раздражали. Он уже не верил так слепо, как раньше, что все на свете, кроме искусства, — тлен и суета! Его бесило презрительное отношение Хейуорда к любой деятельности, ко всякому успеху. Помешивая свой пунш, Филип вспомнил былую дружбу и свою горячую веру в то, что Хейуорду суждено великое будущее; он давно утратил эту иллюзию и знал, что Хейуорд способен лишь на болтовню. В тридцать пять лет Хейуорду труднее было прожить на триста фунтов в год, чем тогда, когда он был молодым человеком; Одежду свою, хоть и по-прежнему заказанную у хорошего портного, он носил куда дольше, чем счел бы приличным в юности. Хейуорд растолстел, и даже самая искусная прическа не могла скрыть того прискорбного

факта, что он полысел. Его голубые глаза выцвели и потеряли свой блеск. Нетрудно было догадаться, что он слишком много пьет.

— Что же все-таки побуждает вас отправиться на войну? — спросил его Филип.

— Сам не знаю. Мне показалось, что так надо.

Филип молчал. Ему почему-то было неловко. Он понял, что Хейуорда влекла душевная тревога, в которой он и сам не отдавал себе отчета. Какой-то внутренний импульс вынуждал его пойти сражаться за свою страну. Это было странно: ведь Хейуорд считал патриотизм предрассудком и, хвастаясь своим космополитизмом, смотрел на Англию как на место ссылки. Соотечественники, когда их было много, действовали ему на нервы. Филип задумался о том, что именно вынуждает людей поступать вопреки своим убеждениям. Для Хейуорда было бы естественно отойти в сторонку и с улыбкой наблюдать, как варвары истребляют друг друга. Да, видно, люди — и в самом деле только марионетки, которыми движет неведомая сила; иногда они прибегают к помощи разума, чтобы оправдать свои поступки, но, если это невозможно, они действуют наперекор рассудку.

— Станные существа люди, — сказал Филип. — Вот не ожидал, что вы пойдете в солдаты.

Хейуорд улыбнулся, почувствовав в свою очередь какую-то неловкость, и ничего не ответил.

— Вчера меня освидетельствовали, — сообщил он потом. — Это ужасно неприятно, но зато я узнал, что совершенно здоров.

В кабачке наконец появился Макалистер.

— Я хотел вас видеть, Кэри, — сказал он. — фирма больше не желает держать эти акции — на бирже творится Бог знает что. Придется вам их забрать.

У Филипа упало сердце. Он знал, что не может расплатиться. Оставалось только признать проигрыш. Гордость вынудила его ответить спокойно:

— Не знаю, стоит ли их брать. Лучше вы их продайте.

— Легко сказать «продайте». Еще вопрос, удастся ли это сделать. На бирже застой, покупателей нет.

— Но они котируются по фунту с восьмой.

— Ну да, но это ничего не значит. Столько вы за них сейчас не получите.

Филип помолчал. Он старался взять себя в руки.

— Вы хотите сказать, что они не стоят ни гроша?

— Нет, этого я не говорю. Конечно, чего-то они стоят, но их сейчас никто не покупает.

— Значит, продайте их, за сколько удастся.

Макалистер пристально посмотрел на Филипа. Он спрашивал себя, не слишком ли тяжел для него этот удар.

— Мне очень жаль, старина, но все мы в одинаковом положении. Я втянул вас в эту сделку, но и сам увяз в ней тоже.

— Что поделаешь! Риск — благородное дело.

Филип вернулся к своему столику. Он был совершенно убит; у него смертельно разболелась голова; но ему не хотелось, чтобы его считали тряпкой. Он просидел в кабаке еще час и неестественно хохотал над каждой шуткой. Наконец он поднялся.

— У вас завидное спокойствие, — сказал Макалистер, пожимая ему руку. — Кому же приятно потерять триста или четыреста фунтов?

Вернувшись в свою убогую комнатку, Филип бросился на кровать; ему больше не надо было скрывать своего отчаяния. Он горько сожалел о своем безумстве; повторял себе, что жалеть о нем бессмысленно — ведь то, что случилось, было неизбежно, раз оно случилось, — но ничего не мог с собой поделать. Горе его не знало границ. Всю ночь он не сомкнул глаз. Он припоминал все ненужные траты, которые позволял себе в последние годы. Голова его раскалывалась от боли.

На следующий день к вечеру он получил выписку из своего счета. Он заглянул в свою банковскую книжку. После уплаты по обязательствам у него останется семь фунтов. Семь фунтов! Хорошо еще, что он вообще сможет расплатиться. Какой ужас, если бы ему пришлось признаться Макалистеру, что у него не хватает денег. Во время летнего семестра он проходил практику в глазном отделении и купил у одного из студентов офтальмоскоп. Филип за него еще не рассчитался, но у него не было мужества отказаться от покупки. К тому же ему нужны кое-какие книги. На жизнь оставалось всего около пяти фунтов. На эти деньги он протянул шесть недель. Потом он написал дяде письмо, которое показалось ему вполне деловым: он сообщал, что в связи с войной потерял много денег и не сможет продолжать учиться без его помощи. Он просил священника одолжить ему сто пятьдесят фунтов и высылать их равными частями

в течение полутора лет. Филип обязывался вернуть их с процентами, как только начнет зарабатывать. Он получит диплом не позднее чем через полтора года, и тогда ему будет обеспечено место ассистента с жалованьем три фунта в неделю. Но дядя ответил, что ничем не сможет ему помочь; было бы несправедливо заставлять его самого продавать ценные бумаги, когда дела на бирже так плохи; его долг перед самим собою — сохранить на случай болезни то немногое, что у него осталось. Письмо заканчивалось небольшой проповедью. Он неоднократно предупреждал Филипа, а тот не внимал его предостережениям; откровенно говоря, он ничуть не удивлен: он и раньше знал, к чему приведут Филипа мотовство и неуравновешенность.

Филип читал это письмо, и его бросало то в жар, то в холод. Он никак не предполагал, что дядя может ответить отказом, и теперь был вне себя от бешенства; но гнев сменился полной растерянностью: если дядя ему не поможет, как он будет продолжать учиться? В ужасе, отбросив всякую гордость, он снова, с еще большей настойчивостью написал блэкстеблскому священнику. Может быть, он не сумел объяснить как следует и дядя не понял, в какое отчаянное положение он попал. Но священник ответил, что не изменит своего решения: Филипу уже двадцать пять лет, и ему пора самому зарабатывать на хлеб. После его смерти Филипу достанется маленькое наследство, но до той поры он не получит ни гроша. Филип почувствовал в письме злорадство человека, который многие годы порицал его поведение и теперь получил доказательство своей правоты.

ГЛАВА 99

Филип стал закладывать одежду. Он урезал расходы, питаясь только два раза в день: утром он завтракал и в четыре часа ел хлеб с маслом, запивая его чашкой какао, с таким расчетом, чтобы не чувствовать голода до утра. Но часам к девяти вечера он бывал так голоден, что приходилось ложиться спать. Он подумывал занять денег у Лоусона, но его удерживала боязнь получить отказ; наконец он решился попросить у него пять фунтов. Лоусон одолжил их с удовольствием, но сказал при этом:

— Только, пожалуйста, верни через недельку, ладно? Мне надо расплачиваться с мастером за рамы, а я как раз сижу без гроша.

Филип знал, что не сможет вернуть долг; мысль о том, что подумает о нем Лоусон, так его мучила, что через несколько дней он принес деньги обратно, даже не притронувшись к ним. Лоусон шел обедать и пригласил его с собой. Филип столь обрадовался настоящей пище, что с трудом ее глотал. По воскресеньям он всегда мог рассчитывать на хороший обед у Ательни. Но он так и не решился рассказать им, что с ним стряслось: они считали его человеком обеспеченным, и Филип боялся, что, узнав правду, они станут хуже к нему относиться.

Хотя он всегда был беден, ему и в голову не приходило, что человек может жить впроголодь: с людьми его круга никогда ничего подобного не случалось; он испытывал теперь такой жгучий стыд, словно заразился дурной болезнью. Положение, в котором он очутился, было для него полной неожиданностью. Он так растерялся, что машинально продолжал посещать больницу — ничего другого он не мог придумать. В душе он питал смутную надежду, что дела его как-нибудь поправятся; ему просто не верилось, что все это правда; Филип вспомнил, как в первый год пребывания в школе ему часто казалось, что его жизнь — это только сон: вот он проснется и очутится снова дома. Но вскоре он понял, что через неделю останется без гроша. Нужно было немедленно попытаться найти какой-нибудь заработок. Если бы у него был диплом, он мог бы пойти на войну, несмотря даже на хромоту, — там была большая нужда в медиках. Не будь он калекой, он мог бы поступить в один из непрерывно формировавшихся добровольческих кавалерийских полков. Он пошел к секретарю медицинского института и попросил порекомендовать его репетитором к одному из отстающих студентов, но секретарь не подал ему никакой надежды. Филип читал объявления в медицинских журналах, он предложил свои услуги в качестве недипломированного ассистента владельцу амбулатории на Фулэм-роуд. Когда Филип к нему явился, он заметил, что врач покосился на его хромую ногу; Филип не успел и рта открыть, как тот ему объявил, что у него недостает опыта. Филип понял, что это только отговорка: врач не хотел брать ассистента, которому трудно двигаться. Пришлось искать другого заработка. Он знал французский и немецкий и рассчитывал, что может найти конторскую работу; как ни тяжело ему было, он пошел на это, стиснув зубы; ничего другого ему не оставалось. Он слишком робел, чтобы самому

ходить по объявлениям, и написал несколько писем; однако у него не было ни опыта, на который он мог бы сослаться, ни рекомендаций; он понимал, что его знание языков не распространяется на область коммерции — деловые термины были ему неизвестны; он не умел ни стенографировать, ни печатать на машинке. Он поневоле пришел к заключению, что положение его безнадежно. Мелькнула мысль написать поверенному, который был душеприказчиком его отца, но Филип так и не смог заставить себя взяться за перо: ведь он продал закладные вопреки его совету. Он знал от дяди, что мистер Никсон его всячески осуждает. Годичное пребывание Филипа в бухгалтерской конторе убедило поверенного, что он лентяй и рохля.

— Лучше подохну с голоду, — пробормотал Филип сквозь зубы.

Изредка он помышлял о самоубийстве: достать какого-нибудь яда в больничной аптеке было нетрудно, и его тешила мысль, что на худой конец у него всегда остается эта возможность; но всерьез он о самоубийстве не думал. Когда Милдред бросила его ради Гриффитса, он испытывал такие страдания, что хотел умереть, лишь бы от них избавиться. Сейчас умирать ему не хотелось. Он вспомнил утверждение ночной сиделки из своей палаты, будто люди чаще кончают самоубийством из-за денег, чем из-за любви, и усмеялся при мысли о том, что является исключением из этого правила. Ему только очень хотелось поговорить о своих невзгодах, но он не мог заставить себя кому-нибудь открыться. Его мучил стыд.

Филип продолжал искать работу. Он не платил за комнату уже три недели, объяснив домохозяйке, что получит деньги к концу месяца; она промолчала, но зловеще поджала губы. В конце месяца она спросила, не уплатит ли он сколько-нибудь в счет долга; с чувством мучительного стыда он заставил себя ответить, что не может, но обещал, что напишет дяде и безусловно расплатится в будущую субботу.

— Что ж, надеюсь, вы заплатите, мистер Кэри; мне ведь тоже пора вносить арендную плату, и я не могу залезать в долги. — В голосе ее не было злобы, но в нем звучала решимость, которая его пугала. Помедлив, она добавила: — Если вы не заплатите в будущую субботу, мне придется пожаловаться секретарю института.

— Ладно, все будет в порядке.

Она посмотрела на него, оглядела голые стены комнаты, а потом сказала, как будто между прочим, словно это было самой естественной вещью на свете:

— Внизу у меня сочное жаркое; если хотите, спуститесь ко мне на кухню, и я охотно угощу вас обедом.

Филип покраснел до корней волос и с трудом проглотил подступивший к горлу комок.

— Большое спасибо, миссис Хиггинс, я совсем не голоден.

— Как угодно.

Когда она вышла из комнаты, Филип бросился на кровать. Он изо всех сил стиснул кулаки, чтобы не разрыдаться.

ГЛАВА 100

Настала суббота. В этот день он обещал расплатиться с хозяйкой. Всю неделю он надеялся на какой-нибудь счастливый случай. Работы он так и не нашел. Никогда еще он не был в таком отчаянном положении; он совсем растерялся и не знал, что делать. Где-то в глубине души ему казалось, что все это нелепая шутка. В кармане у него оставалось всего несколько медяков, он продал всю одежду, без которой мог обойтись. У него сохранилось несколько книг да кое-какой хлам, за который он мог выручить шиллинг-другой; но хозяйка не спускала с него глаз, и он боялся, что она его задержит, если он вынесет еще какую-нибудь вещь из комнаты. Ему оставалось только сказать ей, что он не сможет с ней расплатиться. Но на это у него не хватало решимости.

Была середина июня. Ночь стояла сухая и теплая, Филип решил не возвращаться домой. Он медленно прошелся по набережной — река катилась бесшумно и дышала покоем; устав, он сел на скамью и задремал. Сколько он проспал, неизвестно; проснулся он от страха: ему приснилось, будто полицейский будит его и гонит прочь; но, открыв глаза, он увидел, что кругом не было ни души. Сам не зная зачем, он пошел дальше, а потом поспал снова, но лежать на скамье было жестко, и он проснулся. Ночь тянулась бесконечно. Его пробирав озноб. До него вдруг дошло, как он несчастен; он не знал, что делать; ему было стыдно, что он спит на улице, — это почему-то казалось ему особенно унижительным; в темноте он почувствовал, как при мысли

об этом у него горят щеки. Он вспомнил рассказы о бездомных — среди них были офицеры, священники, лица с университетским образованием; он подумал, не придется ли и ему превратиться в бродягу и стоять в очереди за тарелкой супа, раздаваемого какой-нибудь благотворительной организацией. Куда лучше покончить с собой. Так дольше продолжаться не может. Лоусон даст ему денег, если узнает, в какой он беде; глупо из самолюбия отказываться от помощи. И почему он такой неудачник? Он всегда старался поступать как можно лучше, и ничего у него не получалось. Он помогал людям, если мог, и вряд ли был хуже других; какая страшная несправедливость, что он очутился в таком тупике.

Но что толку об этом думать? Он тронулся дальше. Начинало светать; река была прекрасна в своем безмолвии; занимался день, неизвестно было, что он принесет, но погода обещала быть чудесной; бледное в предрассветный час небо было безоблачно. Филипп почувствовал смертельную усталость, у него сосало под ложечкой от голода, но он не мог усидеть на месте: его одолевал неотвязный страх, что его прогонит полицейский. Это было бы чересчур унижительно. К тому же он чувствовал себя грязным, хотелось умыться. Наконец он очутился в Хэмптон-корте. От голода он готов был расплакаться. Выбрав дешевую харчевню, он вошел; от запаха горячей еды стало мутить; он хотел съесть что-нибудь сытное, чтобы продержаться весь день, но желудок заупрямился. Он взял чашку чая и хлеба с маслом. Было воскресенье, и Филипп мог сходить к Ательни; он подумал о ростбифе и о йоркширском пудинге, которые они будут сегодня есть, но был слишком измучен, чтобы пойти в это счастливое, шумное семейство. Он был угрюм и очень несчастен. Ему не хотелось никого видеть. Он решил пойти в дворцовый парк и полежать на траве. Кости его ныли. Может быть, он найдет колонку, сможет умыться и попить воды; его мучила жажда; теперь, когда он не чувствовал больше голода, он с тоской думал о цветах, лужайках и высоких тенистых деревьях. В парке ему скорее придет какая-нибудь спасительная мысль. Он растянулся на траве в тени и закурил трубку. Из экономии он уже давно ограничил себя двумя трубками в день; теперь он был рад, что у него полный кисет. Интересно, что делают люди, когда у них совсем нет денег? Раздумывая об этом, он заснул. Когда он проснулся, был уже полдень, он решил, что скоро надо будет пуститься

в путь, чтобы к утру прийти в город и поискать по объявлениям работу. В голове вертелась мысль о дяде, который обещал оставить ему небольшое состояние; Филип понятия не имел, сколько у дяди денег, — во всяком случае, не больше нескольких сот фунтов. Он подумал, можно ли раздобыть денег под залог наследства. Нет, без согласия старика нельзя, а он этого согласия ни за что не даст.

«Единственное, что остается, — это как-нибудь перебиться, пока он не умрет».

Филип прикинул, сколько лет дяде. Блэкстеблскому священнику было далеко за семьдесят. Он страдал хроническим бронхитом, но ведь хронический бронхит был у многих стариков, которые и не думали умирать. Придется подождать, а тем временем что-нибудь подвернется. Он не мог избавиться от ощущения, что случай с ним — исключительный: люди его круга не умирают с голоду. Он никак не мог поверить в реальность того, что с ним происходит, — только это и не давало ему впасть в полное отчаяние и опустить руки. Он решил взять в долг полфунта у Лоусона. Филип провел целый день в парке, куря трубку, чтобы побороть приступы голода; он не собирался есть до тех пор, пока не тронется в обратный путь: идти было далеко, и надо было подкрепиться. Он отправился в дорогу с наступлением вечерней прохлады и, когда одолевала усталость, засыпал на скамьях. Никто его не трогал. Он умылся, почистился и побрился на вокзале Виктории, взял в буфете чаю и хлеба с маслом и за завтраком просмотрел в утренней газете отдел объявлений. Одно из них привлекло его внимание: отделу драпировочной фурнитуры крупного универмага требовался приказчик. У него как-то странно сжалось сердце: предрассудки людей его класса заставляли его чураться работы в магазине, но он только пожал плечами: в конце концов, какое это имеет значение? Он решил попытать счастья. Ему казалось, что, соглашаясь на все унижения и даже идя им навстречу, он может обезоружить судьбу. Когда, не помня себя от смущения, он явился к девяти утра в универмаг, он обнаружил, что многие его опередили. Тут были люди всех возрастов, от шестнадцатилетних подростков до сорокалетних мужчин; некоторые разговаривали друг с другом вполголоса, но большинство ждало молча; когда он встал в очередь, он поймал на себе враждебные взгляды. Филип расслышал, как кто-то сказал:

— Все, чего я добиваюсь, — это поскорее получить отказ, чтобы успеть сходить в другое место.

Человек, стоявший в очереди рядом с Филипом, спросил у него:

— У вас есть опыт такой работы?

— Нет, — ответил Филип.

Тот помолчал, а потом заметил:

— Если вы пришли с улицы, после обеда с вами не станут разговаривать даже в небольших лавках.

Филип приглядывался к приказчикам. Одни раскладывали штуки ситца и кретона, другие, как пояснил сосед, готовили посылки по заказам, поступившим из провинции. В четверть десятого пришел заведующий отделом. Филип услышал, что в очереди его называли мистером Гиббонсом. Это был приземистый, полный человек средних лет, чернобородый, с темными, лоснящимися волосами и умным лицом. На нем был цилиндр, а в петлице сюртука красовалась веточка белой герани. Он стремительно вошел к себе, оставив дверь открытой: комната была совсем маленькая; там стояли американская конторка, этажерка и шкаф. Люди, ожидавшие у порога, машинально наблюдали, как он вынул герань из петлицы и поставил ее в чернильницу, наполненную водой. Правила внутреннего распорядка не разрешали служащим носить на работе цветы в петлицах.

(В течение всего дня приказчики, старавшиеся снискать расположение заведующего, восхищались его цветком.

— Никогда не видел такой прелести, — говорили они наперебой. — Неужели вы сами его вырастили?

— Ну да, — отвечал тот с улыбкой, и его умные глаза сияли радостью.)

Заведующий снял цилиндр, надел другой сюртук и взглянул на письма, а затем на ожидавших его людей. Он слегка поманил пальцем, и первый в очереди переступил порог конторы. Люди входили по одному и отвечали на его вопросы. Вопросы были немногосложны: задавая их, заведующий не спускал глаз с просителя.

— Возраст? Стаж? Почему ушли с работы?

Он выслушивал ответы с невозмутимым видом. Когда настала очередь Филипа, ему показалось, что заведующий посмотрел на него с любопытством. Филип был прилично одет и чем-то отличался от остальных.

— Стаж?

— К сожалению, у меня нет стажа, — сказал Филип.

— Не годитесь.

С тем Филип и вышел из конторы. Испытание оказалось далеко не таким мучительным, как он себе представлял, так что он даже не почувствовал особого разочарования. Вряд ли он мог рассчитывать получить место при первой же попытке. Он сохранил газету и теперь снова просмотрел объявления; одному магазину в Холборне тоже требовался приказчик, и он отправился туда, но оказалось, что там уже кого-то наняли. Если он хотел сегодня хоть как-нибудь поесть, ему нужно было попасть в мастерскую Лоусона, прежде чем тот уйдет обедать, поэтому он отправился по Бромптон-роуд к Йоменс-роу.

— Послушай, — сказал он Лоусону, сначала поговорив для приличия о чем-то еще, — у меня до конца месяца туговато с деньгами. Ты мне не одолжишь полфунта?

Господи, как трудно было просить денег; он припомнил небрежность, с какой студенты брали у него в долг мелкие суммы, отнюдь не собираясь отдавать; многие держали себя при этом так, словно оказывали ему одолжение.

— С радостью, — сказал Лоусон.

Но, порывшись в кармане, он нашел всего восемь шиллингов. У Филипа упало сердце.

— Ну, тогда одолжи пять, — сказал он небрежно.

— Пожалуйста.

Филип пошел в баню, истратив на это полшиллинга. Потом он поел. Он не знал, как скоротать вечер. В больницу возвращаться не хотелось, чтобы не отвечать на праздные вопросы; да, кроме того, сейчас ему там нечего делать; в отделениях, где он проходит практику, будут удивлены его отсутствием, но пусть себе думают, что хотят, — это не имеет значения: он не первый и не последний студент, выбывший без предупреждения. Он пошел в бесплатную читальню и стал перелистывать газеты, пока они ему не надоели, потом взял «Новую Шехерезаду» Стивенсона, но читать не смог: слова потеряли для него всякий смысл; читая, он продолжал размышлять о своем безвыходном положении. Мысли его беспрестанно возвращались к одному и тому же, их однообразие доводило его до головной боли. В конце концов его потянуло на свежий воздух; он пошел в Грин-парк и прилег на траву. С горечью думал он о своей хромоте, мешавшей ему пойти на войну. Он заснул; ему

приснилось, что нога у него в порядке и он находится в Южной Африке в добровольческом кавалерийском полку; в его воображении ожили фотографии, которые он видел в иллюстрированных журналах: вот он сидит в степи у костра, одетый в хаки, вместе с другими солдатами. Когда он проснулся, было еще совсем светло, и он услышал, как Большой Бен бьет семь. Впереди еще двенадцать часов, а девать себя ему некуда. Бесконечная ночь его пугала. Небо затянулось тучами, надо ждать дождя; придется пойти в ночлежку и снять койку на ночь; он встречал объявления на некоторых домах в Ламбете: «Хорошие кровати за 6 пенсов», но еще никогда не бывал в ночлежках и боялся вони и насекомых. Он решил, если будет возможно, провести ночь под открытым небом. Просидев в парке, пока его не закрыли, он пустился бродить по улицам. Усталость давала себя знать все сильнее. Филипу пришло в голову, что несчастный случай был бы для него удачей: его отвезут в больницу, и он пролежит там несколько недель в чистой постели. В полночь его совсем одолел голод; он направился к ларьку на Гайд-Парк-корнер, съел несколько картофелин и выпил чашку кофе. Потом пошел дальше. Терзавшее его беспокойство отгоняло сон, к тому же он слишком боялся полиции, чтобы лечь на скамью. Он заметил, что стал по-новому смотреть на каждого встречного полисмена. Это была третья ночь, проведенная им на улице. Временами он отдыхал на скамейках, а к утру поплелся в сторону набережной. Прислушиваясь к ударам Большого Бена, отбивавшего каждую четверть, он прикидывал, через сколько времени проснется город. Утром он потратил несколько медяков, чтобы привести себя в порядок, купил газету, прочел объявления и снова отправился искать работу.

Так прошло несколько дней. Ел он очень мало, чувствовал слабость и недомогание; у него едва хватало сил на поиски работы, которую, оказывается, отчаянно трудно было найти. Филип начинал привыкать к томительным ожиданиям в задней комнате какого-нибудь магазина и к грубым отказам. Он обошел по объявлениям все районы Лондона и уже узнавал в лицо людей, искавших работы так же безуспешно, как и он сам. Кое-кто из них пытался с ним заговорить, но он слишком устал и намучился, чтобы заводить знакомства. К Лоусону он больше не ходил, зная, что должен ему пять шиллингов. Он как-то отупел, мысли

у него стали путаться, и его все меньше беспокоило, что с ним будет. Он часто плакал. Сперва он очень сердился на себя за эти слезы и стыдился их, но потом обнаружил, что они приносят облегчение и даже заставляют забывать голод. Ранним утром, перед рассветом, он очень страдал от холода. Однажды ночью он пробрался в свою комнату, чтобы переменить белье; он проскользнул туда около трех часов утра, зная, что все спят, и вышел в пять; он полежал на кровати — она была восхитительно мягкой, все его кости ныли, и, растянувшись, он испытывал подлинное наслаждение; это было так приятно, что ему даже не хотелось спать. Голод вошел уже в привычку и теперь меньше давал себя знать, но он чувствовал слабость. Где-то в мозгу все время жила мысль о самоубийстве — он отгонял ее, пока хватало сил, опасаясь, что в конце концов не устоит перед искушением. Он повторял себе снова и снова, что глупо кончать самоубийством, — ведь скоро что-нибудь непременно должно случиться: он все еще не мог отделаться от ощущения, что его беда слишком нелепа, к ней нельзя относиться всерьез; это просто болезнь, которую нужно перенести, но от которой он наверняка излечится. Каждую ночь он давал себе клятву, что никакие силы на свете не заставят его еще раз ночевать на улице, и собирался с утра написать дяде, поверенному Никсону или Лоусону; но, когда наступало утро, он не мог заставить себя пойти на это унижение и признать себя полнейшим неудачником. Неизвестно было, как отнесется к этому Лоусон: все годы их дружбы Лоусон слыл вертопрахом, а он, Филип, гордился своим здравым смыслом. Ему пришлось бы поведать всю историю своего безумства. Его тревожило, что Лоусон, оказав ему помощь, сразу же к нему охладает. Что касается дяди и Никсона, то они, конечно, что-нибудь для него сделают, но он страшился их попреков. Он не желал, чтобы его попрекали; стиснув зубы, он повторял себе: все, что случилось, было неизбежно, раз оно случилось. Запоздалые сожаления бесплодны.

Дни тянулись бесконечно, а пяти шиллингов, взятых у Лоусона, надолго хватить не могло. Филип с нетерпением ожидал воскресенья, чтобы пойти к Ательни. Он и сам не знал, что мешало ему отправиться к ним раньше, разве что настойчивое желание выйти из затруднений самому. Ательни был единственным человеком, который действительно мог ему помочь, — ведь он сам не раз бывал в таких же передрыгах. Может быть, после обеда Филип и заставит

себя рассказать ему о своей беде. Он твердил про себя, что он ему скажет. Он страшно боялся, что Ательни отделается от него легкомысленной фразой — это было бы так ужасно, что ему хотелось отсрочить испытание как только возможно. Филип потерял всякую веру в людей.

Ночь с субботы на воскресенье была сырой и холодной. Филип вконец измучился. Он ничего не ел с двенадцати часов дня в субботу и едва дотащился в воскресенье до дома Ательни. Два своих последних пенса он истратил утром на то, чтобы помыться и почиститься в уборной на вокзале Чэринг-кросс.

ГЛАВА 101

Филип позвонил, в окне показалась чья-то голова, и через минуту на лестнице послышался шумный топот — это бежали вниз дети, чтобы отворить ему дверь. Он наклонил к ним для поцелуя бледное, измученное, исхудавшее лицо. Его так растрогала эта бурная, восторженная встреча, что он под каким-то предлогом задержался на лестнице: ему надо было прийти в себя. У Филипа совершенно разошлись нервы, и любой пустяк мог довести его до слез. Дети спросили, почему его не было в прошлое воскресенье; он ответил, что заболел; они расспрашивали, чем именно; чтобы их позабавить, Филип назвал загадочную болезнь с одним из тех варварских, неудобопроизносимых названий, которыми изобилуют медицинские справочники, — дети просто зашлись от удовольствия. Они втащили Филипа в гостиную и заставили его повторить мудреное слово для просвещения отца. Ательни встал и пожал ему руку. Он пристально поглядел на Филипа — впрочем, его круглые навывкате глаза всегда глядели пристально. Но почему-то на этот раз Филип почувствовал какую-то неловкость.

— Нам вас недоставало в прошлое воскресенье, — сказал Ательни.

Филип всегда смущался, говоря неправду, и был крашен как рак, когда кончил объяснять, почему он не пришел. Тут вошла миссис Ательни и поздоровалась с ним.

— Надеюсь, вам теперь лучше, мистер Кэри, — сказала она.

Он не мог понять, как она услышала, что он болел: дверь на кухню была все время закрыта, а дети не отходили от него ни на шаг.

— Обед будет готов только минут через десять, — сказала она, как всегда медленно растягивая слова. — Не съедите ли вы пока что стакан гоголь-моголя?

Она смотрела на него озабоченным взглядом, и Филип опять почувствовал себя неловко. Он заставил себя рассмеяться и сказать, что совсем не голоден. Салли пришла накрыть на стол, и Филип принялся над ней подтрунивать. В семье любили шутить, что она станет такой же толстухой, как родственница миссис Ательни, тетка Элизабет, — дети ее и в глаза не видели, но считали образцом непристойной полноты.

— Послушай, Салли, что это с тобой случилось с тех пор, как мы виделись? — начал Филип.

— По-моему, ровно ничего.

— А мне кажется, ты потолстела.

— Зато уж о вас этого никак не скажешь, — возразила она. — Прямо скелет!

Филип покраснел.

— Ну, *tu quoque!*¹ — воскликнул ее отец. — Смотри, заплатишь штраф: мы срежем один волос с твоей золотой головки. Джейн, ступай за ножницами.

— Но он же и правда похудел, — стояла на своем Салли. — Одна кожа да кости.

— Это совсем другое дело, дочка. Он волен худеть, сколько ему вздумается, а вот твоя толщина нарушает всякие приличия.

Ательни с гордостью обнял дочку за талию, откровенно ею любясь.

— Дай-ка мне накрыть на стол, — сказала она. — Если я и в теле, некоторым это даже нравится.

— Ах, девочка! — воскликнул Ательни, драматически воздев руки. — Она намекает, что Джозеф, сын Леви, который в Холборне торгует бриллиантами, предложил ей руку и сердце.

— Ты приняла предложение, Салли? — спросил Филип.

— Будто вы не знаете отца! Он все выдумал.

— Ах, так! — продолжал Ательни. — Если он не сделал тебе предложения — клянусь Святым Георгом и Старой Англией! — я схвачу его за шиворот и спрошу, какие у него намерения.

¹ И ты (Брут)! (лат.).

— Садись, отец, обед готов. Пойдемте мыть руки, дети, и не вздумайте хитрить — я все равно проверю, чистые ли они, прежде чем вы сядете за стол, — имейте это в виду!

Пока Филип не поднес вилку ко рту, он думал, что у него волчий аппетит, но оказалось, что его желудок не принимает пищи и кусок с трудом лезет в горло. Он как-то отупел и даже не заметил, что Ательни вопреки своей привычке почти не разговаривает. Филипу приятно было сидеть в уютной комнате, но помимо своей воли он то и дело поглядывал в окно. На дворе стояла непогода. Хорошие дни миновали, стало холодно, дул резкий ветер, в окно то и дело хлестал дождь. Филип думал, куда ему деваться в эту ночь. Ательни рано ложились спать: нельзя было оставаться здесь позже десяти. Сердце его сжималось при мысли, что придется выйти в эту промозглую темень. Здесь, у друзей, она казалась ему куда более страшной, чем когда он был на улице один. Он утешал себя тем, что и многие другие тоже останутся в эту ночь без крова. Он пытался отвлечься беседой, но не успел закончить фразу, как стук дождя в окно заставил его вздрогнуть.

— Погода совсем как в марте, — сказал Ательни. — Не хотелось бы мне пересекать в такой день Ла-Манш.

Они кончили обедать, вошла Салли и стала убирать со стола.

— Хотите подымить этой дрянью? — спросил Ательни, протягивая ему двухпенсовую сигару.

Филип взял и с наслаждением затянулся. Сигара удивительно успокоила его. Когда Салли уносила посуду, Ательни велел ей закрыть за собой дверь.

— Теперь нам не помешают, — сказал он, обращаясь к Филипу. — Я условился с Бетти, чтобы она не впускала детей, пока я их не позову.

Филип растерянно на него взглянул, но, прежде чем он успел сообразить, о чем идет речь, Ательни привычным жестом поправил очки на носу и продолжал:

— В прошлое воскресенье я написал вам письмо, не понимая, куда вы пропали. Не получив ответа, я в среду зашел к вам на квартиру.

Филип отвернулся и ничего не сказал. Сердце у него отчаянно колотилось. Молчал и Ательни; вскоре эта тишина показалась Филипу невыносимой. Но он не мог выдавить ни слова.

— Хозяйка сказала, что вас не было дома с субботы и что вы задолжали ей за целый месяц. Где вы ночевали всю эту неделю?

Филип ответил через силу, уставившись в окно:

— Нигде.

— Я пытался вас найти.

— Зачем?

— Нам с Бетти тоже не раз приходилось туго, да еще у нас на руках были дети. Почему вы не пришли к нам?

— Не мог.

Филип боялся, что расплатится. Он чувствовал страшную слабость. Закрыв глаза, он нахмурился, пытаясь овладеть собой. Он даже рассердился на Ательни за то, что тот не хочет оставить его в покое; но он был совсем разбит; все так же не открывая глаз, он медленно, чтобы не дрожал голос, поведал историю своих злоключений за последние несколько недель. С каждым словом ему самому становилось все яснее, что он вел себя как безумец, и это еще больше затрудняло его исповедь. Он был уверен, что Ательни сочтет его круглым дураком.

— Теперь вы поживете у нас, пока не найдете какой-нибудь работы, — сказал Ательни, когда он кончил.

Филип вспыхнул.

— Это ужасно мило с вашей стороны, но я вряд ли смогу воспользоваться вашей любезностью.

— Почему?

Филип не отвечал. Он отказался, даже не подумав, боясь, что будет им в тягость: по своему характеру он неохотно принимал одолжения. К тому же он знал, что Ательни с трудом сводит концы с концами: у них нет ни средств, ни места, чтобы содержать постороннего человека.

— Вы обязательно поселитесь у нас, — сказал Ательни. — Торп ляжет с кем-нибудь из братьев, а вы будете спать на его кровати. Что касается еды — одним ртом больше, одним меньше, это дела не меняет.

Филип боялся заговорить, и Ательни, подойдя к двери, позвал жену.

— Бетти, — сказал он, когда она вошла, — мистер Кэри будет у нас жить.

— Вот и отлично, — сказала она. — Пойду приготовлю постель.

Она сказала это сердечным, дружеским тоном, как что-то само собой разумеющееся, и растрогала Филипа до глубины

души. Его всегда волновало до слез, когда люди относились к нему сердечно, — он к этому не привык. Вот и теперь он не мог больше сдерживаться — две крупные слезы скатились по его щекам. Супруги Ательни обсуждали, как его получше устроить, и делали вид, что ничего не замечают. Когда миссис Ательни вышла, Филип откинулся в кресле и, глядя в окно, усмехнулся:

— Да, не слишком-то хорошая погода, чтобы ночевать на улице!

ГЛАВА 102

Ательни сказал Филипу, что без труда устроит его в большой мануфактурный магазин, где работает сам. Несколько служащих отправились на войну, и фирма «Линн и Седли» с патриотическим рвением обещала сохранить за ними их места. Герои уехали, администрация переложила их обязанности на плечи тех, кто остался; поскольку жалованья им не прибавили, фирма в одно и то же время проявила гражданскую сознательность и умножила свои барыши. Но война затягивалась, торговля опять шла бойко; приближался сезон отпусков (служащие фирмы ежегодно пользовались двухнедельным отпуском), и администрации придется нанять несколько новичков. После всех своих неудач Филип сомневался, дадут ли ему работу даже и в этом случае, но Ательни уверял, что он достаточно влиятельный в фирме человек и управляющий ни в чем ему не отказывает. Филип со своей парижской выучкой будет очень полезен; нужно только выждать — он получит хорошо оплачиваемое место художника и будет рисовать модели костюмов и рекламные плакаты. Филип набросал рекламный плакат к летней распродаже, и Ательни отнес его в магазин. Через два дня он принес плакат обратно; управляющему он будто бы очень понравился, но, к сожалению, в нужном отделе пока нет вакансий. Филип спросил, не найдется ли для него какой-нибудь другой работы.

— Увы, сейчас ничего нет.

— Совсем ничего?

— Видите ли, — сказал Ательни, с сомнением поглядывая на него через очки, — завтра дадут объявление, что магазину требуется дежурный администратор.

— Как вы думаете, у меня есть какая-нибудь надежда получить это место?

Ательни немного смутился: после всего, что он наговорил Филипу, тот, вероятно, рассчитывал на более завидную должность; с другой стороны, Ательни был слишком беден, чтобы без конца его содержать.

— Что же, — сказал он, — можно согласиться и на это в ожидании чего-нибудь лучшего. Всегда легче продвинуться, если ты уже в штате.

— Я ведь не гордый, вы знаете, — улыбнулся Филип.

— Если вы решились, надо быть на месте завтра утром без четверти девять.

Несмотря на войну, найти работу было, по-видимому, нелегко: когда Филип пришел в магазин, там ждало много народу. Кое с кем он уже встречался в таких же очередях, а одного приметил, когда тот лежал среди бела дня на траве в парке. Филип тогда же понял, что этот человек бездомный, вроде него, и тоже ночует на улице. Тут были всякие люди — старые и молодые, высокие и низенькие, но каждый из них постарался принарядиться для разговора с управляющим; волосы у всех были аккуратно причесаны, а руки тщательно вымыты. Ожидали в коридоре; как потом узнал Филип, из коридора шел ход наверх, в столовую и в мастерские. Хотя магазин освещался электричеством, здесь, шипя, горели газовые рожки, защищенные проволочными сетками. Филип пришел в назначенный час, но попал в контору управляющего лишь около десяти. Это была треугольная комната, похожая на ломоть, вырезанный из головки сыра, на стенах висели рисунки женщин — в корсетах и образчики рекламных плакатов; на одном из них красовался мужчина в полосатой пижаме, полосы были зеленые и белые; другой плакат изображал корабль, под всеми парусами бороздивший лазурный океан, — на парусах было напечатано крупными буквами: «Большая распродажа белья». Контора примыкала к витрине, которую как раз сейчас украшали; во время разговора один из приказчиков то и дело сновал взад-вперед. Управляющий читал письмо. Это был румяный человек с соломенными волосами и длинными пегими усами; на цепочке его часов болталась гроздь футбольных значков. Он сидел без пиджака за большим столом, на котором стоял телефон; перед ним лежали сегодняшние объявления — работа Ательни — и газетные вырезки, наклеенные на карточки. Бросив на Филипа беглый взгляд, он стал диктовать ответ машинистке, сидевшей в углу за маленьким столиком; окончив письмо, он спро-

сил у Филипа имя, возраст, где и сколько работал. Выговор у него был простонародный, голос резкий, металлический, словно он не всегда умел им владеть; Филипу бросились в глаза его крупные верхние зубы; они выступали вперед и, казалось, ненадежно держались во рту: только дерни — и сразу выпадут.

— Вам, по-моему, говорил обо мне мистер Ательни, — вставил Филип.

— А-а-а! Вы тот самый парень, который нарисовал плакат?

— Да, сэр.

— Он нам не годится, совершенно не годится.

Управляющий оглядел Филипа с головы до ног. Вероятно, он заметил, что Филип чем-то отличается от остальных претендентов.

— Вам придется раздобыть сюртук. Наверно, у вас его нет. С виду вы парень приличный. Ну как, убедились, что искусством не проживешь?

Филип не понимал, собирается он его нанимать или нет. Тон был неприязненный.

— Где ваша семья?

— Отец и мать умерли, когда я был еще ребенком.

— Люблю помогать молодежи выйти в люди. И уже не одному помог, сейчас кое-кто целыми отделами заведует. Ну, и вспоминают меня с благодарностью — этого отрицать нельзя. Понимают, чем обязаны. Начинай с самого низу, только так и научишься делу, а ежели у тебя есть хватка, того и гляди, в большие люди выйдешь. Придетесь к месту, когда-нибудь достигнете и моего положения, чем черт не шутит. Запомните это, молодой человек.

— Я приложу все силы, сэр, — сказал Филип.

Он знал, что слово «сэр» следует вставлять как можно чаще, но оно как-то странно звучало в его устах, и он боялся переборщить. Управляющий любил разглагольствовать: это придавало ему вес в собственных глазах. Он сообщил Филипу свое решение лишь после того, как излил целый поток слов.

— Что ж, пожалуй, рискнем, — торжественно произнес он напоследок. — Во всяком случае, я готов вас испытать.

— Большое спасибо, сэр

— Можете приступить немедленно. Я дам вам шесть шиллингов в неделю на всем готовом. Да, на всем готовом, а

шесть шиллингов — это вроде как на карманные расходы, можете делать с ними что хотите; платим мы раз в месяц. Начнете работать с понедельника. Надеюсь, вас это устроит?

— Да, сэр.

— Знаете, где Харрингтон-стрит? Рядом с Шефтсбери-авеню. Там будете жить. Дом десять. Если хотите, можете переехать в воскресенье, дело ваше. А можете послать туда ваш чемодан в понедельник. — Управляющий кивнул головой. — До свиданья.

ГЛАВА 103

Миссис Ательни одолжила Филипу денег, чтобы он смог расплатиться с хозяйкой, и та разрешила ему забрать вещи. За пять шиллингов и ломбардную квитанцию на заложенный костюм он раздобыл у ростовщика скюртук, сидевший на нем не так уж плохо. Прочую свою одежду он выкупил. Отослав чемодан на Харрингтон-стрит, он пошел в понедельник утром в магазин вместе с Ательни. Тот познакомил его с заведующим отделом готового дамского платья и удалился. Заведующий был симпатичный суетливый человек лет тридцати, по фамилии Сэмпсон. Поздоровавшись с Филипом и желая поразить его своей светскостью, которой он очень гордился, заведующий спросил, говорит ли Филип по-французски. К его удивлению, Филип ответил утвердительно.

— Вы знаете и другие языки?

— Я говорю по-немецки!

— Вот как! Я и сам езжу иногда в Париж. Parlez-vous français?¹ Бывали у «Максима»?

Филипа поставили у лестницы в отделе готового дамского платья. Работа его заключалась в том, чтобы показывать посетителям, как пройти в ту или другую секцию. Их было великое множество — мистер Сэмпсон так и сыпал названиями. Вдруг он заметил, что Филип хромает.

— Что у вас с ногой? — спросил он.

— Я хромым от рождения, — сказал Филип. — Но это не мешает мне свободно двигаться.

Заведующий поглядел на его ногу с сомнением — Филип догадался, что он не может понять, зачем управляющий

¹ Вы говорите по-французски? (фр.).

нанял хромого администратора. Филип знал, что тот просто не заметил его недостатка.

— Вряд ли вы все это запомните в один день. Если чего не знаете, спрашивайте у продавщиц.

Мистер Сэмпсон ушел, а Филип, старавшийся припомнить, где что находится, стал с беспокойством дожидаться покупателей, желавших получить справку. В час дня он отправился обедать. Столовая находилась на верхнем этаже огромного здания магазина, это была большая, длинная, ярко освещенная комната, но окна в ней закрывались наглухо — от пыли — и здесь всегда стоял запах кухни. На длинных, накрытых скатертями столах были расставлены большие графины с водой, а посередине — солонки и уксусницы. Служащие собирались сюда шумной толпой и рассаживались на скамьях, еще согретых телами тех, кто обедал в двенадцать тридцать.

— Сегодня нет пикулей, — заметил сосед Филипа по столу, высокий худощавый молодой человек с бледным лицом и горбатым носом.

У него была вытянутая, неправильной формы голова с какими-то вмятинами; шею и лоб украшали большие багровые прыщи. Звали его Гаррис. Филип узнал, что иногда на стол подавали большие суповые тарелки с пикулями; все их очень любили. Не было видно ни ножей, ни вилок, но через минуту высокий толстый парень в белом халате принес их в руках и с шумом швырнул на стол. Каждый взял себе сам что требовалось; ножи и вилки были еще теплые и жирные после мытья в грязной воде. Мальчики в белых куртках раздали тарелки с мясом, плававшим в соусе; они шлепали тарелки о стол с проворством фокусников, и соус выплескивался на скатерть. Потом они принесли большие блюда с капустой и картошкой; один их вид вызвал у Филипа тошноту; он заметил, что все обильно поливают гарнир уксусом. Кругом стоял отчаянный гам. Разговоры, смех, крики, стук ножей и вилок, чавканье — все сливалось воедино. Филип рад был вернуться в свой отдел. Он уже стал запоминать расположение отделов и секций и, когда к нему обращались за справкой, реже прибегал к помощи продавщиц.

— Первый поворот направо. Второй поворот налево, мадам.

Некоторые продавщицы пытались перекинуться с ним словечком, когда не было покупателей; он чувствовал, что

они к нему приглядываются. В пять часов он поднялся наверх пить чай. Он рад был присесть. Служащим подали большие куски хлеба, густо намазанные маслом; многие сдавали на хранение свои банки с джемом — на них были написаны имена владельцев.

Когда в половине седьмого рабочий день кончился, Филип был без сил. Гаррис, сидевший рядом с ним за столом, предложил проводить его на Харрингтон-стрит и показать койку в общежитии. По словам Гарриса, в комнате, где он жил, была свободная кровать, а так как все другие комнаты были заняты, он полагал, что Филипа поселят к ним. Дом на Харрингтон-стрит прежде принадлежал сапожной фирме; мастерскую превратили в спальню, но там было темно — окна на три четверти забили досками, форточки тоже не открывались, и единственным источником свежего воздуха служило небольшое оконце под потолком в дальнем конце помещения. Духота стояла такая, что хоть топор вешай, — Филип обрадовался, что ему не придется здесь спать. Гаррис поднялся с ним в гостиную на втором этаже; там стояло старенькое пианино — его клавиатура походила на ряд прогнутых зубов; в ящике из-под сигар без крышки, стоявшем на столе, хранилось домино; повсюду валялись старые номера «Стренд мэгэзин» и «График». Остальные комнаты были превращены в спальни. Та, где отвели место Филипу, помещалась под самой крышей. В ней было шесть кроватей; рядом с каждой стоял сундук или чемодан. Единственным предметом обстановки служил комод с четырьмя большими ящиками и двумя маленькими; Филипу, как новичку, достался маленький; к ящикам имелись ключи, но, так как все они были одинаковые, от них было мало проку, и Гаррис посоветовал Филипу держать ценные вещи в чемодане. Над камином висело зеркало. Гаррис показал Филипу туалетную комнату; она была довольно вместительная, в ней стояло восемь тазов, и в них умывались все обитатели дома. В соседней комнате находились две пожелтевшие от времени ванны; на деревянных полках были мыльные пятна, а множество темных кругов на стенках ванны показывало, сколько воды наливали в нее купавшиеся.

Когда Гаррис и Филип вернулись в свою спальню, они застали там высокого человека, который переодевался, и шестнадцатилетнего мальчика, расчесывавшего волосы и на-свистывавшего при этом во всю мочь. Минуты через две

высокий ушел, не сказав никому ни слова. Гаррис подмигнул мальчику, и тот, не переставая свистеть, подмигнул ему в ответ. Как рассказал Филипу Гаррис, фамилия высокого была Прайор; он побывал в армии, а теперь служил в отделе шелков; человек замкнутый, он уходил каждый вечер на свидание со своей девушкой, не говоря ни слова и даже ни с кем не прощаясь. Гаррис ушел тоже, и в комнате остался только мальчик, смотревший во все глаза, как Филипп распаковывает вещи. Звали его Белл, и он служил в галантерейном отделе учеником, не получая ни гроша жалованья. Особенно заинтересовал его черный сюртук Филипа. Он рассказал ему подноготную всех обитателей комнаты и засыпал его самого вопросами. Это был жизнерадостный подросток, и вперемешку с болтовней он напевал ломающимся голосом куплеты, услышанные в мюзик-холле. Филипп кончил раскладывать вещи и вышел погулять на улицу; время от времени он останавливался у дверей ресторанов и смотрел на входившую туда публику; почувствовав голод, он купил сдобную булочку и съел ее на ходу. Сторож общежития, тушивший газ в четверть двенадцатого, снабдил Филиппа ключом от входной двери, но, боясь опоздать, тот пришел заблаговременно. Его уже успели осведомить о системе штрафов: за приход после одиннадцати часов вечера штрафовали на шиллинг, за приход после четверти двенадцатого — на два с половиной и, кроме того, брали на заметку; если это повторялось три раза, служащего увольняли.

Когда Филипп пришел домой, все обитатели комнаты, за исключением солдата, были на месте, а двое уже лежали в постели. Филиппа встретили криками:

— Посмотрите на нашего Кларенса! Вот озорник!

Он увидел, что Белл сделал чучело, напялив его сюртук на подушку. Мальчик был в восторге от своей проказы.

— Кларенс пойдет в сюртуке на нашу вечеринку. Глядишь, еще отобьет у нас красотку нашей фирмы.

Филипп уже слышал об этих вечеринках — за них удерживали деньги из жалованья, что вызывало недовольство служащих. Вычет составлял два шиллинга в месяц; правда, сюда входили плата за медицинскую помощь и пользование библиотечкой затасканных романов, но, поскольку, кроме этого, еще четыре шиллинга ежемесячно удерживалось за стирку, Филипп подсчитал, что четвертая часть его жалованья не попадет к нему в руки.

Почти все его сожители ели большие куски жирной ветчины, вложенные в разрезанные пополам булочки. Такие бутерброды — обычный ужин обитателей общежития — продавались за два пенни в маленькой лавчонке по соседству. Вернулся отставной солдат; безмолвно и торопливо раздевшись, он бросился в постель. В десять минут двенадцатого газовые рожки мигнули, а через пять минут потухли. Солдат заснул, но остальные собрались в пижамах и ночных рубашках у большого окна и стали швырять недоеденные бутерброды в проходивших по улице женщин, отпуская по их адресу забористые шуточки. В шестиэтажном доме напротив помещалась еврейская портняжная мастерская, где работали до одиннадцати; там горел яркий свет, а штор на окнах не было. Дочка хозяина этого потогонного заведения — семейство состояло из отца, матери, двух мальчиков и двадцатилетней девушки — после конца работы обходила все здание, выключая повсюду свет; иногда с ней заигрывал кто-нибудь из портных. Сожители Филипа получали немалое удовольствие, наблюдая за уловками того или иного портняжки, пытавшегося задержаться позднее других, чтобы полюбезничать с хозяйской дочкой; они даже бились об заклад, кого сегодня ожидает успех. В двенадцать часов выпроводили публику из кабачка в конце улицы, и вскоре все стоявшие у окна разбрелись по своим кроватям; Белл, который спал возле самой двери, добирался до своего места, перепрыгивая с кровати на кровать, но, даже улегшись в постель, не прекращал болтовни. Наконец все смолкло — раздавался лишь равномерный храп солдата, и Филип заснул.

В семь часов утра его разбудил громкий звонок, а без четверти восемь все уже были одеты и торопливо сбегали по лестнице в носках, чтобы взять свои начищенные ботинки. Зашнуровывали их уже на ходу по дороге в магазин на Оксфорд-стрит, где служащих ждал завтрак. Тот, кто приходил хоть минутой позже восьми, завтрака не получал, а войдя в магазин, уже не имел права отлучиться за едой. Порой, когда кто-нибудь из них понимал, что вовремя в магазин ему не попасть, он забегал в соседнюю лавчонку за сдобными булочками, но это стоило денег, и большинство предпочитало обходиться без еды до самого обеда. За завтраком Филип получил чай и хлеб с маслом, а в половине девятого начался рабочий день.

— Первый поворот направо. Второй поворот налево, мадам.

Вскоре он стал давать справки чисто механически. Работа была однообразная и очень утомительная. Не прошло и нескольких дней, как у него разболелись ноги, и он с трудом мог стоять: от толстого мягкого ковра ступни нестерпимо горели, и по вечерам больно было снимать носки. На это жаловались и его товарищи, утверждая, что носки и ботинки просто гниют от пота. Все его сожители страдали не меньше и, чтобы облегчить боль, по ночам высовывали ноги из-под одеяла. Сперва Филип вообще не мог ходить после работы и вынужден был проводить вечера в гостиной дома на Харрингтон-стрит, опустив ноги в ведро с холодной водой. Его общество разделял Белл — парнишка из галантерейного отдела, — который часто оставался дома, возясь со своей коллекцией марок. Наклеивая марки в альбом, он монотонно насвистывал.

ГЛАВА 104

Товарищеские вечеринки служащих фирмы «Линн и Седли» устраивались каждый второй понедельник месяца. Одна из них состоялась через неделю после того, как Филип приступил к работе. Он условился пойти на эту вечеринку с одной из продавщиц своего отдела.

— Вперед не забегай, но от людей не отставай, — говорила та, — вот мое правило.

Это была некая миссис Ходжес, маленькая сорокапятилетняя женщина с крашеными волосами; лицо ее, испещренное сеткой тончайших красных жилок, имело желтоватый оттенок, даже белки бледно-голубых глаз — и те отдавали желтизной. Филип пришелся ей по душе, не прошло недели, как она уже звала его по имени.

— Оба мы знавали лучшие времена, — сказала она.

Она открыла Филипу, что ее настоящая фамилия была не Ходжес, но у нее не сходило с языка «мой муженек мистер Ходжес»; он был адвокатом и обращался с ней просто возмутительно, вот она его и бросила; ну а теперь она, слава Богу, сама себе хозяйка. Но было время, дорогуша — дорогушами она звала всех, — было время, когда и она разъезжала в собственной карете и обедала в семь часов вечера. У нее была привычка ковырять в зубах булавкой от

огромной серебряной брошки. Брошка изображала скрещенные охотничий хлыст и кучерский кнут, а посередине красовалась пара шпор. Филипа смущала новая обстановка; продавщицы прозвали его «зазнайкой». Как-то раз одна из них позвала его «Фил!» — а он не откликнулся: ему даже в голову не пришло, что она обратилась к нему; тогда девушка, передернув плечами, заявила подругам, что он задается, а потом с особым ударением, означавшим иронию, стала звать его «мистер Кэри». Это была некая мисс Джуэл, собиравшаяся замуж за врача. Остальные девушки ее врача и в глаза не видели, но хором повторяли, что он, видно, настоящий джентльмен, если делает ей такие шикарные подарки.

— Не обращайтесь на них внимания, дорогуша, — говорила миссис Ходжес. — Мне тоже сперва от них попадало. Бедняжки, такое уж у них воспитание. Будьте покойны, вы с ними поладите, только не давайте себя в обиду, берите пример с меня.

Товарищеская вечеринка состоялась в ресторане, который помещался в подвальном этаже. Столы сдвинули в стороны, чтобы освободить место для танцев, а для игры в вист расставили маленькие столики.

— Старшим служащим полагается приходить пораньше, — сказала миссис Ходжес.

Миссис Ходжес познакомила его с мисс Беннет, первой красавицей фирмы «Линн и Седли». Она заведовала отделом нижних юбок и в эту минуту была поглощена беседой с заведующим отделом мужского трикотажа. Мисс Беннет оказалась массивной дамой с широким красным густо напудренным лицом и внушительным бюстом; ее соломенные волосы были причесаны по последней моде. Она была разодета в пух и прах, но не без вкуса; на ней было черное платье с высоким воротником; садясь за карты, она натягивала черные лайковые перчатки; шею ее обвивало несколько тяжелых золотых цепочек, на руках бренчали браслеты, украшенные круглыми брелоками с фотографиями (на одной из них была изображена королева Александра); в руках она держала черную атласную сумку и беспрерывно жевала ароматические пастилки.

— Очень приятно с вами познакомиться, мистер Кэри, — сказала она. — Вы первый раз у нас на вечеринке? Я вижу, вы, кажется, немножко смущаетесь, но, ей-Богу же, это зря.

Мисс Беннет старалась изо всех сил, чтобы все присутствующие чувствовали себя как дома. Она хлопала собеседника по плечу и неумоимо хохотала.

— Ну, разве я не баловница? — крикнула она, обращаясь к Филипу. — Прямо не знаю, что вы обо мне подумаете! Ничего не могу с собой поделать!

Участники вечеринки все прибывали; преобладала молодежь — юнцы, которые еще не обзавелись барышнями, и девушки, которые еще не завели ухажеров. Некоторые из молодых людей надели длинный сюртук с белым вечерним галстуком, из верхнего бокового кармана выглядывал шелковый красный платочек; они собирались выступить и потому напускали на себя деловой, рассеянный вид: одни держались самоуверенно, а другие откровенно волновались и с тревогой поглядывали на публику. За пианино села девушка с густой копной волос, ее руки шумно прошлись по клавишам. Когда все успокоились, она оглянулась и назвала номер:

— «Русская тройка».

Послышались аплодисменты, а девушка за пианино тем временем проворно прикрепила к запястьям колокольчики. Одарив зрителей улыбкой, она заиграла бурную мелодию. Когда она кончила, аплодисменты раздались с удвоенной силой. Вторым номером она исполнила музыкальную пьесу, подражавшую шуму моря: тихие трели должны были напоминать плеск волн, а громовые аккорды — бурю. Затем какой-то господин спел песню под названием «Прости-прощай», а на бис исполнил «Убаюкай меня». Публика распределяла свои восторги равномерно: каждому выступавшему аплодировали до тех пор, пока он не исполнял на бис, и, чтобы никому не было обидно, всем хлопали одинаково. Мисс Беннет подплыла к Филипу.

— Я уверена, что вы играете либо поете, мистер Кэри, — сказала она игриво. — Это у вас прямо на лице написано.

— К сожалению, вы ошибаетесь.

— Неужели вы даже не декламируете?

— У меня нет никаких талантов.

Заведующий отделом мужского трикотажа славился мастерским чтением стихов — его стали громко вызывать все приказчики его отдела. Он не заставил себя долго упрашивать и продекламировал длинное трагическое стихотворение, закатывая глаза, прижимая руку к сердцу и всячески

изображая, как он страдает. Вся соль была в последней строке: оказалось, что он ел за ужином огурцы и у него болит живот; раздался громкий, раскатистый хохот — впрочем, немного искусственный, так как все уже не раз слышали это стихотворение.

Мисс Беннет не пела, не играла и не декламировала.

— Ничего, у нее есть свой особый номер, — заметила миссис Ходжес.

— Не смейте меня дразнить, — отозвалась мисс Беннет. — Дело в том, что я знаю хиромантию и умею гадать.

— Ах, погадайте мне, мисс Беннет, — стараясь ей угодить, хором закричали продавщицы ее отдела.

— Я не люблю гадать, ей-Богу, не люблю. Кое-кому я нагадала таких ужасов, и — что бы вы думали? — все так и сбылось; тут уж поневоле станешь суеверной.

— Ах, мисс Беннет, один только разочек!

Вокруг нее собралась небольшая толпа, и под возгласы смущения, смешки, крики отчаяния и восторга она стала изрекать загадочные фразы о блондинах и брюнетах, о нежных письмах и дальних дорогах, пока на ее накрашенном лице не выступили крупные капельки пота.

— Поглядите на меня, — сказала она. — Я прямо вся взмокла.

Ужин был в девять часов. Подали пирожные, сдобные булочки, бутерброды, чай и кофе — все бесплатно; но, если вам хотелось лимонаду, за него надо было платить. Галантность нередко побуждала кавалеров предлагать дамам имбирное пиво, но те благонаравно отказывались. Мисс Беннет была равнодушна к имбирному пиву и выпивала за вечер две, а то и три бутылки, но она упорно платила за них сама. Мужчинам это нравилось.

— Она, конечно, чудила, — говорили они, — но в общем баба порядочная, не то что некоторые другие.

После ужина сели играть в вист. Играли шумно, со смехом и криками, победители переходили за следующий столик. Мисс Беннет становилось все жарче и жарче.

— Поглядите на меня, — повторяла она. — Я прямо вся взмокла.

Время шло, и один из самых заправских танцоров заметил, что если хотят танцевать, то пора приступить к делу. Девушка, которая аккомпанировала певцу, села за пианино и с решительным видом нажала педаль. Она сыграла задумчивый вальс, отбивая такт на басах, в то время как правая

ее рука проворно прыгала по всей клавиатуре. Порой она перебрасывала правую руку за левую, и тогда мелодия звучала в басах.

— Вот здорово играет! — заметила Филипу миссис Ходжес. — А ведь все по слуху, в жизни никогда не училась.

Больше всего мисс Беннет любила стихи и танцы. Танцевала она хорошо, хоть и в очень медленном темпе, при этом взгляд у нее был такой, будто ее мысли далеко-далеко отсюда. Это не мешало ей без усталости болтать — о зале, о жаре и об ужине. По ее словам, лучший танцевальный зал во всем Лондоне был Портменрумз; ей там всегда нравилось бывать, да и общество собиралось самое избранное, а танцевать с первым встречным она терпеть не могла — мало ли на кого нарвешься. Почти все участники вечеринки танцевали отлично и веселились напропалую. Пот стекал по лицам танцующих в три ручья, и высокие крахмальные воротнички молодых людей совсем размокли.

Филип стоял в сторонке, и его охватила такая грусть, какой он не испытывал уже давно. Он ощущал невыразимое одиночество. Уйти он не хотел, чтобы не показаться заносчивым; он болтал с девушками и смеялся, но на душе у него было горько. Мисс Беннет спросила, есть ли у него дама сердца.

— Нет, — улынулся он.

— Ну, здесь у нас выбор богатый. Девушки милые и порядочные, по крайней мере некоторые из них. Уж вы мне поверьте: оглянуться не успеете, как у вас заведется какая-нибудь зазноба.

И она бросила на него игривый взгляд.

— Вот и я ему говорю: вперед не забегай, но от людей не отставай, — сказала миссис Ходжес.

Было уже около одиннадцати, когда вечеринка закончилась. Филип долго не мог заснуть. Ныли ноги — как и его сожителю, он высунул их из-под одеяла. Он изо всех сил старался не думать о той жизни, которая стала его уделом. Равномерно похрапывал солдат.

ГЛАВА 105

Жалованье выплачивалось раз в месяц. В день полочки, спускаясь из столовой после вечернего чая, служащие шли в коридор и присоединялись к длинной веренице людей, степенно ожидавших своей очереди. В контору заходили по

одному. Кассир сидел за столом, на котором стояли деревянные плошки с серебром и медью; он спрашивал фамилию вошедшего, бросал на него подозрительный взгляд, сверялся с конторской книгой, скороговоркой произносил сумму и, вынимая деньги из плошек, отсчитывал их в протянутую руку.

— Спасибо, — произносил он при этом. — Следующий.

— Благодарю вас, — гласил ответ.

Служащий переходил к столу другого конторщика и, прежде чем покинуть комнату, платил ему четыре шиллинга за стирку, два шиллинга за участие в вечеринке, а также все штрафы, какие за ним числились. С оставшимися деньгами он возвращался в свой отдел и дожидался окончания рабочего дня. Большинство обитателей общежития, где ночевал Филип, были в долгу у торговки, продававшей бутерброды, которыми они питались по вечерам. Это была смешная толстенькая старушка с широким красным лицом и залезанными черными волосами, которые спускались ей на уши в подражание ранним портретам королевы Виктории. Она постоянно носила маленький черный капор и белый передник; рукава ее были закатаны до локтя; она готовила бутерброды большими грязными, жирными руками; ее кофта, передник и даже юбка — все было покрыто сальными пятнами. Фамилия ее была Флетчер, но все звали ее «матушкой»; она действительно души не чаяла в обитателях общежития и называла их своими «мальчиками». Матушка Флетчер никогда не отказывала в кредите до получки; больше того, она порой одалживала несколько шиллингов кому-нибудь из «мальчиков», попавшему в трудное положение. Она была сама доброта. Когда «мальчики» уезжали в отпуск или возвращались на работу, они целовали ее жирные красные щеки; не раз тот или другой из них, уволенный фирмой «Линн и Седли», бесплатно подкармливался у нее до лучших дней. «Мальчиков» трогала широта ее натуры, и они платили ей неподдельной привязанностью. Они любили рассказывать об одном бывшем приказчике, который нажил состояние в Бредфорде и обзавелся там пятью собственными магазинами; вернувшись через пятнадцать лет, он явился к матушке Флетчер и подарил ей золотые часы.

После вычетов у Филипа осталось от месячного жалованья восемнадцать шиллингов. Это был первый заработок

в его жизни. Но чувствовал он не гордость, как можно было бы ожидать, а одно уныние. Ничтожность суммы подчеркивала всю безнадежность его положения. Пятнадцать шиллингов он отнес миссис Ательни, чтобы заплатить ей часть своего долга, но она взяла только десять.

— Знаете, — сказал он, — так я буду расплачиваться с вами целых восемь месяцев.

— Пока Ательни работает, я могу обождать, а кто знает, может, вы получите прибавку.

Ательни без конца повторял, что поговорит о Филипе с управляющим — глупо, что его способности никак не используются; но он так ничего и не сделал, а Филип скоро понял, что рекламный агент был важной птицей не столько в глазах управляющего, сколько в своих собственных. Иногда Филип встречал Ательни в магазине. Тут он держался тише воды, ниже травы: в опрятной, поношенной одежде, ничем не отличавшейся от одежды других служащих, он торопливо пробегал по отделам — приниженный, скромный человек, словно старавшийся не привлекать к себе внимания.

— Когда я думаю о том, как растрачиваю силы по пустякам, — говорил он у себя дома, — меня одолевает желание бросить эту работу. Мне тут негде развернуться. Мне подрезают крылья, меня держат в черном теле.

Миссис Ательни, занятая шитьем, не обращала внимания на его жалобы. Она только поджимала губы.

— В наши дни нелегко найти работу. А у тебя есть постоянное, надежное место; даст Бог, тебя будут держать, пока ты ничем не проштрафился.

Филип не сомневался, что Ательни и в самом деле будет держаться за свое место. Интересно было наблюдать, какую власть приобрела над этим блестящим, ветреным человеком необразованная женщина, даже не связанная с ним узами законного брака. Теперь, когда положение Филипа изменилось к худшему, миссис Ательни обращалась с ним с материнской нежностью; его глубоко трогала ее забота о том, чтобы он как следует поел. Посещения этого дружеского дома были отрадой в его нынешней жизни (по мере того как он к ней привыкал, его все больше ужасало ее однообразие). Так приятно было сидеть в царственном испанском кресле и беседовать с хозяином дома о всякой всячине. Каким бы отчаянным ни казалось его положение, он всегда возвращался от них в радостном возбуждении. Сперва Филип

пытался перечитывать медицинские книги, чтобы не позабыть того, чему научился, но вскоре понял, что это бесполезно: после изнурительного рабочего дня он не мог сосредоточиться; к тому же он не знал, когда вернется в институт, и занятия казались ему пустой тратой времени. Во сне он постоянно видел себя в белом халате. Пробуждение бывало мучительным. Соседство чужих людей было невыносимо тягостным: он привык к одиночеству; быть всегда на людях и никогда — наедине с самим собой казалось ему в эти минуты просто пыткой. По утрам ему труднее всего было бороться с отчаянием. Он уже видел, как эта жизнь окончательно его засасывает. «Первый поворот направо, мадам, второй налево» — и ему еще следует молить Бога, чтобы его не уволили. Скоро вернутся те, кто ушел на войну, фирма пообещала им сохранить их места, а это означало, что кого-то должны выгнать; надо лезть из кожи вон, чтобы сохранить хотя бы то жалкое место, которое он сейчас занимает.

Только одно могло принести ему освобождение — смерть дяди. Тогда он получит несколько сот фунтов и сможет закончить институт. Филипп стал мечтать, чтобы старик поскорее умер. Он высчитывал, сколько тот еще может прожить. Ему далеко за семьдесят — Филипп точно не знал, сколько дяде лет, но полагал, что никак не меньше семидесяти пяти, — к тому же он страдает хроническим бронхитом и каждую зиму его мучает кашель. Филипп снова и снова перечитывал в своих учебниках, как протекает бронхит у стариков, хотя и знал это уже наизусть. Дядя мог не вынести первой же суровой зимы. Филипп молил Бога, чтобы настали холода. Мысль о дядиной смерти его просто преследовала, она превратилась в своего рода манию. Жара тоже была вредна дяде Уильяму, а ведь в августе солнце три недели пекло немилосердно. Филипп с надеждой думал о том, что в любой день может получить телеграмму о внезапной кончине священника, и представлял себе, какое невероятное облегчение он тогда почувствует. Стоя на верхней площадке лестницы, направляя покупателей в нужные им секции, он развлекал себя мыслями о том, что он сделает со своими деньгами. Он не знал, сколько их окажется — наверно, не больше пятисот фунтов, — но даже и этой суммы будет достаточно. Он сразу уйдет из магазина — предупредить никого не станет, просто сложит свои вещи в чемодан и исчезнет, не сказав ни слова; потом он вернется

в институт. Это прежде всего. Много ли он перезабыл из того, что знал? Не важно, за полгода он все восстановит в памяти, а как только подготовится, сдаст последние три экзамена — сперва акушерство, затем терапию и хирургию. Внезапно его охватывал безумный страх: а вдруг дядя, несмотря на обещания, завещает свое имущество приходу или церкви? При одной мысли об этом Филип становился сам не свой. Нет, дядя не может быть таким жестоким! Но, если бы это случилось, Филип знал, что ему делать: он не хочет тянуть постылую лямку до бесконечности: жизнь его была терпимой лишь потому, что он мог ожидать чего-то лучшего. Если надежда исчезнет, уйдет и страх. Единственное, что ему тогда остается, — это самоубийство; Филип обстоятельно продумал, какой принять яд, чтобы смерть была безболезненной, и как его раздобыть. Мысль о том, что на худой конец у него всегда есть выход, его поддерживала.

— Второй поворот направо, мадам, и вниз по лестнице. Первый поворот налево и прямо. Мистер Филипс, пожалуйста, проводите покупателя.

Одну неделю в месяц Филипу приходилось нести дежурство. Он должен был являться к себе в отдел к семи часам утра и присматривать за уборщицами. Когда они кончали уборку, он снимал чехлы с прилавков и манекенов. Вечером, после ухода приказчиков, он снова накрывал чехлами прилавки и манекены и опять руководил уборкой. Это была пыльная и грязная работа. Во время дежурства не разрешалось ни читать, ни писать, ни курить; надо было просто ходить взад-вперед, и время тянулось бесконечно. В половине десятого, перед самым уходом, ему полагался ужин, и это было единственным утешением: чай в пять часов дня не утолял голода, так что хлеб, сыр и какао, выдававшиеся на ужин, приходились как нельзя более кстати.

Однажды, месяца через три после поступления Филипа к «Линну и Седли», заведующий отделом Сэмпсон пришел к своим подчиненным вне себя от ярости. Подходя к магазину, управляющий обратил внимание на витрину дамского готового платья, вызвал заведующего отделом и язвительно пробрал его за безвкусное сочетание красок. Вынужденный молча выслушивать насмешки управляющего, мистер Сэмпсон отыгрался на приказчиках и задал головоломку злосчастному парню, в обязанности которого входило украшение витрины.

— Если хочешь, чтобы дело было сделано как следует, приходится за всем следить самому, — бушевал мистер Сэмпсон. — Я это говорил и всегда буду говорить. Ни в чем на вас нельзя положиться. А еще считаете себя умниками. Умники!

Он обзывал этим словом подчиненных, будто оно было самым обидным на свете.

— Неужели вы не знаете, что, когда на витрине цвет электрик, он всегда сразу убивает все другие оттенки синего?

Сэмпсон свирепо оглядел свой отдел, и взгляд его упал на Филипа.

— В следующую пятницу уберете витрину вы, Кэри. Посмотрим, что у вас выйдет.

Сердито бормоча сквозь зубы, он удалился. У Филипа сжалось сердце. Когда настала пятница, он полез в витрину сам не свой от стыда. Щеки его горели. Ему мучительно не хотелось выставлять себя напоказ прохожим; хотя он и твердил себе, что глупо поддаваться такому чувству, он старался повернуться спиной к улице. Вряд ли кто-нибудь из знакомых студентов пройдет в этот час по Оксфорд-стрит, а больше он в Лондоне почти никого не знал; и все-таки, пока Филип работал, у него стоял комок в горле: он боялся обернуться и увидеть знакомое лицо. Он спешил как мог. Помня простую истину, что все оттенки красного хорошо сочетаются, и разместив платья подальше друг от друга, Филип добился отличных результатов; когда заведующий вышел на улицу, чтобы взглянуть на витрину, он не мог скрыть своего удовлетворения.

— Я знал, что не ошибусь, поручив вам витрину. Все дело в том, что мы с вами — джентльмены (конечно, я не стану распространяться об этом в отделе, но факт остается фактом), ну а руку джентльмена всегда узнаешь. И не говорите мне, что это не так: я-то знаю, где собака зарыта.

Украшение витрины стало постоянной обязанностью Филипа, но он по-прежнему дрожал при мысли, что ему придется работать на глазах у всей улицы; он с отвращением ждал пятницы, когда менялась выставка в витрине, в это утро он просыпался часов в пять и томился, не смыкая глаз, до самого звонка. Продавщицы заметили его смущение и живо обнаружили, что он старается стоять спиной к прохожим. Они потешались над ним и дразнили зазнайкой.

— Наверное, боитесь, что мимо пройдет ваша тетушка и лишит вас наследства? — смеялись они.

Вообще-то он с продавщицами ладил. Они считали его чудаковатым, но его хромота объясняла многое, а со временем они обнаружили, что он человек добродушный. Он никогда никому не отказывал в помощи, был вежлив и ровен со всеми.

— Сразу видно, что настоящий джентльмен, — говорили они.

— Только уж больно хмурый, — добавила одна из них, чьи восторженные излияния по поводу театра он выслушал с полнейшим равнодушием.

У большинства продавщиц были свои ухажеры, а те, у кого их не было, утверждали, что они есть; нехорошо, если подумают, будто на них нет охотников. Кое-кто из девиц дал понять Филипу, что не прочь с ним пофлиртовать, но он наблюдал за их заигрываниями со сдержанной усмешкой. До поры до времени довольно с него любви; к тому же он почти всегда валился с ног от усталости и часто бывал голоден.

ГЛАВА 106

Филип избегал тех мест, которые знал в лучшие дни. Маленькая компания, посещавшая кабачок на Бик-стрит, распалась: после того как Макалистер подвел своих друзей, он больше там не показывался, а Хейуорд уехал на войну. Оставался один Лоусон; однако Филип, считая, что с художником его больше ничего не связывает, не хотел его видеть. Но как-то раз в субботу после обеда, успев переодеться, он шел по Риджент-стрит в бесплатную библиотеку, где думал провести вечер, и неожиданно столкнулся лицом к лицу с Лоусоном. Его первым побуждением было пройти мимо, не говоря ни слова, но Лоусон не дал ему этой возможности.

— Где ты пропадал столько времени? — воскликнул он.

— Пропадал? — переспросил Филип.

— Я тебе писал, приглашал к себе в мастерскую на вечеринку, а ты даже не ответил.

— Никакого письма я не получил.

— Знаю. Я был в больнице и справлялся о тебе — там я нашел свое письмо невестребованным. Ты бросил медицину?

Филип колебался. Ему было стыдно сказать правду, но стыд, который он чувствовал, его злил, и он заставил себя ответить. Лицо его залилось краской.

— Да, я потерял тот небольшой капитал, который у меня был. Мне не на что продолжать учение.

— Ну и ну! Вот несчастье! Что же ты теперь делаешь?

— Служу администратором в магазине.

Слова застревали у Филипа в горле, но он твердо решил не скрывать правды. Он не спускал глаз с Лоусона и заметил, как тот смущен. Филип зло скривил губы.

— Если будешь у «Линна и Седли» и заглянешь в отдел готового дамского платья, ты меня там можешь встретить. Я разгуливаю с непринужденным видом и показываю дорогу дамам, которые хотят купить чулки или нижние юбки. «Первый поворот направо, мадам, второй налево».

Видя, что Филип превращает все в шутку, Лоусон неловко рассмеялся. Он не знал, что сказать. Картина, нарисованная Филипом, его ужаснула, но он боялся выказать ему сочувствие.

— Да-а, кто бы мог ожидать? — заметил он.

Не успел он произнести эти слова, как они ему самому показались глупыми и он о них пожалел, Филип вспыхнул до корней волос.

— Пожалуй, никто, — сказал он. — Кстати, я должен тебе пять шиллингов.

Он сунул руку в карман и вынул несколько серебряных монет.

— Какая ерунда, — пробормотал Лоусон. — Я о них совсем забыл.

— Бери, бери.

Лоусон молча взял деньги. Они стояли посреди тротуара, и прохожие их толкали. В глазах у Филипа светилась ирония, а художник готов был провалиться сквозь землю; он не мог предположить, что в эту минуту Филипа душит отчаяние. Лоусону до боли хотелось ему помочь, но он не знал, как это сделать.

— Послушай, пойдем ко мне в мастерскую и поговорим, — предложил он.

— Нет, — ответил Филип.

— Почему?

— Нам не о чем говорить.

Филип прочел в глазах Лоусона обиду; в душе его шевельнулось сожаление, но он ничего не мог поделать, надо

было прежде всего думать о себе: мысль о том, что он станет обсуждать с кем-то свое положение, казалась ему невыносимой — он мог примириться с ним, только если о нем не думал. Филип боялся расчувствоваться, если попробует открыть приятелю сердце. Кроме того, у него появилась глубочайшая неприязнь к тем местам, где ему пришлось страдать; он не мог забыть унижение, которое испытывал сам не свой от голода, ожидая в мастерской, чтобы Лоусон пригласил его поесть; он помнил и свой последний приход, когда попросил в долг пять шиллингов. Самый вид Лоусона стал ему ненавистен: он напоминал ему дни глубочайшего падения.

— Приходи, по крайней мере, как-нибудь пообедать, — настаивал Лоусон. — В любой день, когда хочешь.

Филипа растрогала его доброта. Сколько совсем не схожих друг с другом людей, подумал он, проявляли к нему неожиданную доброту.

— Спасибо, старина, это очень мило с твоей стороны, но лучше не надо. — Он протянул руку. — Прощай.

Лоусон был смущен его поведением, которого он никак не мог понять; он молча пожал Филипу руку, и тот торопливо заковылял прочь. У Филипа было тяжело на душе; как всегда, он терзался запоздалыми сожалениями: он и сам не понимал, что за безумная гордыня заставила его оттолкнуть дружескую руку. Но вдруг он услышал, что за ним кто-то бежит, — Лоусон его окликнул. Филип остановился, и чувство неприязни овладело им с новой силой; он спросил холодно, с каменным лицом:

— В чем дело?

— Ты слышал о Хейуорде?

— Я знаю, что он отправился в Южную Африку.

— Да, и умер сразу же после высадки.

У Филипа отнялся язык. Он не верил своим ушам.

— От чего он умер? — спросил он наконец.

— От брюшного тифа. Не повезло, верно? Я так и думал, что ты еще не знаешь. Когда мне сказали, у меня просто в глазах потемнело.

Лоусон поспешно кивнул и отошел. Филип не мог унять охватившей его дрожи. Он еще ни разу не терял своего сверстника; смерть Кроншоу, который был значительно старше его, казалась ему естественной. Известие о гибели Хейуорда потрясло его до глубины души. Оно напомнило

ему, что он и сам смертен. Как и у всякого другого, у Филипа, отлично знавшего, что все люди рано или поздно должны умереть, не было внутреннего ощущения, что такая участь уготована и ему; вот почему его так глубоко взволновала кончина Хейуорда, хотя он давно к нему охладел. Он вспомнил их задушевные беседы, и ему стало больно, что никогда уже больше не поговорит с другом; вспомнил их первую встречу и веселые дни, которые они проводили вместе в Гейдельберге. Он с грустью думал о годах, канувших в вечность. Филип брел по улице, не замечая, куда идет, и вдруг с досадой сообразил, что ошибся дорогой: вместо того чтобы пройти на Хеймаркет, он свернул на Шефтсбери-авеню. Лень было возвращаться назад, да и полученное известие отбило у него охоту читать — ему захотелось побыть наедине с самим собой и подумать. Он решил отправиться в Британский музей.

Одиночество стало теперь единственной доступной ему роскошью. С тех пор как Филип поступил на службу к «Линну и Седли», он часто заходил в Британский музей и подолгу сидел перед статуями из Парфенона; он ни о чем не думал, его смятенная душа обретала покой, которым дышали эти создания небожителей. Но сегодня даже они не могли ему помочь, и через несколько минут он с раздражением покинул зал. Тут было слишком много народу: провинциалы с тупыми физиономиями, иностранцы, погруженные в свои путеводители; людское уродство поганило бессмертные творения искусства, суeta кощунственно нарушала извечный покой богов. Филип перешел в другой зал, где было почти пусто. Он устало опустился на скамью. Нервы его были напряжены до предела. Ему казалось, что перед ним продолжают мелькать какие-то рожи — он никак не мог от них отделаться. Порой такое же ощущение вызывали у него покупательницы «Линна и Седли»; их безобразие и жадность, написанная на лицах, приводили его в ужас; их черты искажены жалкими страстями — этим женщинам, видно, чуждо всякое представление о красоте. Глаза бегают по сторонам, подбородки безвольны. Нет в них даже зла, но зато сколько самой низкой пошлости! Юмор им заменяет развязное зубоскальство. Иногда он ловил себя на том, что ищет в их лицах сходство с разными животными (он себя останавливал, ибо это занятие быстро превращалось в манию): он узнавал в этих чертах овцу или клячу, козу или лисицу. Люди вызывали у него омерзение.

Но сейчас Филип постепенно погрузился в окружающий его мир прекрасных вещей. Он успокоился. Рассеянно он стал разглядывать надгробья, стоявшие вдоль стен. Это были работы афинских каменотесов четвертого и пятого веков до Рождества Христова — простые, непритязательные изваяния, не отмеченные большим талантом, но пронизанные сладостным духом Эллады; время сгладило очертания и мягко позолотило мрамор: он стал напоминать медвяный дар гиметских пчел. Некоторые памятники изображали нагую фигуру, сидящую на скамье, другие — расставание умершего с теми, кто его любил, третьи — объятие усопшего с кем-нибудь из живых. На всех было начертано горестное слово «прощай» — и больше ничего. Простота этих фигур была невыразимо трогательна. Друг покидал здесь друга, сын — мать, а сдержанность жестов еще больше подчеркивала горе осиротевших. Все это случилось давно, бесконечно давно, — века пронесли над этим горем; два тысячелетия назад те, кто оплакивали своих мертвых, стали таким же прахом, как и те, кого они оплакивали. Но скорбь продолжала жить, она вошла в сердце Филипа, пробудила в нем горячее сострадание, он прошептал:

— Бедные, бедные...

И ему пришло в голову, что и праздные зеваки, и упитанные иностранцы со своими путеводителями, и эти жадные, грубые люди, толпившиеся в магазине, — все они вместе со своими ничтожными желаниями и пошлыми заботами тоже смертны и тоже должны умереть. И они любили и были обречены на расставание с любимыми: сын — с матерью, жена — с мужем; может быть, их участь еще более горестна, потому что жизнь их убога, уродлива и душе их не дано познать красоту.

Особенно прекрасным было одно изваяние — барельеф, на котором двое юношей держали друг друга за руки; строгие, простые линии говорили о том, что скульптором владело подлинное вдохновение. Это был замечательный памятник дружбе, рядом с которой в целом свете есть только одно еще более драгоценное чувство; Филип глядел на этот камень, и на глазах у него выступили слезы. Он подумал о Хейуорде — о том, как восхищался им при первой встрече, как на смену восхищению пришло разочарование, а потом и безразличие, пока наконец ничто больше не связывало их, кроме привычки и воспоминаний. Одна из особенностей жизни заключается в том, что порой вы

встречаетесь с кем-нибудь ежедневно на протяжении долгих месяцев, сходите так близко, что, кажется, уж не можете друг без друга жить, но вот наступает разлука и все идет по-прежнему, как ни в чем не бывало: дружба, без которой вы не могли обойтись, на поверку вам совсем и не нужна. Жизнь течет своим чередом, и вы даже не замечаете отсутствия друга. Филипп вспоминал давно прошедшие дни в Гейдельберге, когда Хейуорд подавал большие надежды и был полон радостных упований, но, так ничего и не достигнув, постепенно примирился с участью неудачника. И вот теперь он был мертв. Смерть его оказалась такой же бесплодной, как и его жизнь. Он умер бесславно от какой-то нелепой болезни, не свершив даже напоследок ничего путного. Он исчез, словно никогда и не жил.

Филипп с отчаянием спрашивал себя, зачем мы вообще существуем. Все казалось ему таким бессмысленным. Вот и Кроншоу: для чего он жил? Он умер, и его забыли, нераспроданные книжки его стихов сбывались букинистами за полцены; жизнь его, казалось, не принесла никакой пользы, разве что дала предприимчивому писаке повод разразиться журнальной статьей. У Филиппа вырвался немой крик:

«К чему же все это?»

Достигнутое так не соответствовало затраченным усилиям. Радужные надежды юности оплачивались горькой ценой разочарований. Горе, болезни и несчастья ложились на весы тяжким грузом. Что все это означало? Он подумал о собственной жизни, о светлых надеждах, с которыми в нее вступал, о радостях, которых лишила его хромота, о том, что он не знал дружбы, а в детстве был так одинок. Всю жизнь он старался поступать как можно разумнее, а каким оказался неудачником! Другие, у кого было столько же возможностей, добивались успеха; правда, он знал людей, которые потерпели крах с куда большими возможностями, чем были у него. Все, по-видимому, дело случая. Дождь одинаково хлестал правого и виноватого, и на всякую задачу всегда найдется причина.

Думая о Кроншоу, Филипп вспомнил о персидском ковре, который тот ему подарил, сказав, что в нем — разгадка смысла жизни; вдруг ему показалось, что он ее нашел. Филипп усмехнулся: слова Кроншоу, видно, были одной из тех шарад, над которыми ломаешь голову, пока тебе не подскажут ключ, а потом не можешь понять, как это ты сразу не

догадался. Ответ был такой простой. Жизнь вовсе не имеет смысла. На земле — спутнике светила, несущегося в бесконечности, все живое возникло под воздействием определенных условий, в которых развивалась эта планета; точно так же, как на ней началась жизнь, она под воздействием других условий может и окончиться; человек — всего лишь один из многообразных видов этой жизни, он отнюдь не венец мироздания, а продукт среды. Филипп вспомнил рассказ об одном восточном владыке, который захотел узнать всю историю человечества; мудрец принес ему пятьсот томов; занятый государственными делами, царь отослал его, повелев изложить все это в более сжатой форме; через двадцать лет мудрец вернулся — история человечества занимала теперь всего пятьдесят томов, но царь был уже слишком стар, чтобы одолеть столько толстых книг, и снова отослал мудреца; прошло еще двадцать лет, и постаревший, убеленный сединами мудрец принес владыке один-единственный том, содержащий всю премудрость мира, которую тот жаждал познать; но царь лежал на смертном одре, и у него не осталось времени, чтобы прочесть даже одну эту книгу. Тогда мудрец изложил ему историю человечества в одной строке, и она гласила: человек рождается, страдает и умирает. Жизнь не имеет никакого смысла, и существование человека бессмысленно. Но какая же тогда разница: родился человек или нет, живет он или умер? Жизнь, как и смерть, теряла всякое значение. Филипп возликовал, как когда-то в юности, — тогда он радовался, что сбросил с души веру в Бога; ему показалось, что теперь он избавился от всякого бремени ответственности и впервые стал совершенно свободен. Его ничтожество становилось его силой, и он внезапно почувствовал, что может сразиться с жестокой судьбой, которая его преследовала: ибо, если жизнь бессмысленна, мир уже не кажется таким жестоким. Не важно, совершил ли что-нибудь тот или иной человек или ничего не смог совершить. Неудача ничего не меняет, а успех равен нулю. Человек — только мельчайшая песчинка в огромном людском водовороте, захлестнувшим на короткий миг земную поверхность; но он становится всемогущим, как только разгадает тайну, что и хаос — ничто. Мысли теснились в воспаленном мозгу Филиппа, он задыхался от радостного возбуждения. Ему хотелось петь и плясать. Уже много месяцев он не был так счастлив.

«О жизнь, — воскликнул он в душе, — о жизнь, где твое жало?»

Та же игра воображения, которая доказала ему, как дважды два — четыре, что жизнь не имеет смысла, натолкнула его на новое открытие: кажется, он наконец понял, зачем Кроншоу подарил ему персидский ковер. Ткач плетет узор на ковре не ради какой-нибудь цели, а просто для того, чтобы удовлетворить свою эстетическую потребность, вот и человек может прожить свою жизнь точно так же; если же он считает, что не свободен в своих поступках, пусть смотрит на свою жизнь как на готовый узор, изменить который он не в силах. Человека никто не вынуждает плести узор своей жизни, нет в этом и насущной необходимости — он делает это только ради собственного удовольствия.

Из многообразных событий жизни, из дел, чувств и мыслей он может сплести узор — рисунок выйдет строгий, затейливый, сложный или красивый, и пусть это только иллюзия, будто выбор рисунка зависит от него самого, пусть это всего лишь фантазия, погоня за призраками при обманчивом свете луны — дело не в этом; раз ему так кажется, следовательно, для него это так и есть на самом деле. Зная, что ни в чем нет смысла и ничто не имеет значения, человек все же может получить удовлетворение, выбирая различные нити, которые он вплетает в бесконечную ткань жизни: ведь это река, не имеющая истока и бесконечно текущая, не впадая ни в какие моря. Существует один узор — самый простой, совершенный и красивый: человек рождается, мужает, женится, производит на свет детей, трудится ради куска хлеба и умирает; но есть и другие, более замысловатые и удивительные узоры, где нет места счастью или стремлению к успеху, — в них скрыта, пожалуй, какая-то своя тревожная красота. Некоторые жизни — среди них и жизнь Хейуорда — обрывались по воле слепого случая, когда узор был еще далеко не закончен; оставалось утешать себя тем, что это не имеет значения; другие жизни, как, например, жизнь Кроншоу, составляют такой запутанный узор, что в нем трудно разобраться, — надо изменить угол зрения, отказаться от привычных взглядов, чтобы понять, насколько такая жизнь себя оправдывает. Филип полагал, что, отказавшись от погони за счастьем, он прощается с последней иллюзией.

Жизнь его казалась ужасной, пока мерилom было счастье, но теперь, когда он решил, что к ней можно подойти

с другой меркой, у него словно прибавилось сил. Счастье имело так же мало значения, как и горе. И то и другое вместе с прочими мелкими событиями его жизни вплета-лись в ее узор. На какое-то мгновение он словно поднялся над случайностями своего существования и почувствовал, что ни счастье, ни горе уже никогда не смогут влиять на него так, как прежде. Все, что с ним случится дальше, только вплетет новую нить в сложный узор его жизни, а когда наступит конец, он будет радоваться тому, что рисунок близок к завершению. Это будет произведение искусства, и оно не станет менее прекрасным оттого, что он один знает о его существовании, а с его смертью оно исчезнет.

Филип был счастлив.

ГЛАВА 107

Заведующий отделом мистер Сэмпсон воспылал к Филипу симпатией. Мистер Сэмпсон был дамский угодник, и продавщицы поговаривали, что их нисколько не удивит, если он женится на какой-нибудь богатой покупательнице. Он жил за городом и частенько восхищал своих подчиненных, наряжаясь во фрак тут же в конторе. Иногда дежурные, наблюдавшие за уборкой, видели, как он возвращался наутро все в том же парадном костюме, и молча перемигивались, пока он переодевался в рабочий сюртук. В такие дни, выскользнув из магазина, чтобы позавтракать на скорую руку, мистер Сэмпсон на обратном пути сам подмигивал Филипу и, потирая руки, говорил:

— Ну и ночка! Ну и ночка! С ума сойти!

Мистер Сэмпсон заверил Филипа, что, кроме него, в магазине нет ни одного джентльмена и что только они двое и знают толк в жизни. Но затем он вдруг изменил тон, стал звать Филипа не «старинной», а «мистером Кэри», напустил на себя важный вид и поставил Филипа на место.

Фирма «Линн и Седли» каждую неделю получала из Парижа новые журналы и приспособлявала французские моды к запросам своих покупателей. А покупатели фирмы были не совсем обычные. Основную их массу составляли обитательницы небольших промышленных городов, которые были чересчур большими модницами, чтобы заказывать наряды дома, и недостаточно знакомы с Лондоном, чтобы найти хорошую портниху по средствам. Кроме них, как ни

странно, значительное место среди покупательниц занимали артистки мюзик-холла. Это была *clientèle*¹, которую приобрел сам мистер Сэмпсон, и он ею очень гордился. Они поначалу заказывали у «Линна и Седли» эстрадные костюмы, а он убедил их покупать здесь и другие туалеты.

— У нас не хуже, чем у Пакэна², и вдвое дешевле, — приговаривал он.

Он усвоил с ними вкрадчивую, фамильярную манеру, которая нравилась такого рода покупательницам. Они говорили друг другу:

— Глупо сорить деньгами, когда у «Линна» можно купить костюм ничем не хуже парижского.

Мистер Сэмпсон очень гордился своей дружбой с любимицами публики, которых он «одевал». Когда он в воскресенье обедал у мисс Виктории Вирго в ее красивом доме на Талс-хилл, он угощал на завтра весь отдел живописными подробностями: «Она была в том блекло-голубом туалете, который мы ей сшили; держу пари, она никому не проговорилась, что он от нас; я и сам ей сказал, что, если бы не нарисовал его вот этими руками, и я поверил бы, что он от Пакэна». Филип никогда прежде не обращал внимания на женские наряды, но постепенно стал, посмеиваясь над собой, чувствовать к ним профессиональный интерес. Он лучше разбирался в сочетании красок, чем другие служащие отдела, и сохранил со времен своего учения в Париже некоторое представление об изяществе и линии. Мистер Сэмпсон был человек необразованный, но знал этот свой недостаток; он обладал умением подхватывать чужие идеи и, создавая модели, постоянно обсуждал их с подчиненными; он быстро сообразил, что Филип может дать ценный совет. Но он был крайне самолюбив и ни за что бы не признался, что действует по чужой подсказке. Изменив какой-нибудь эскиз по совету Филипа, он всегда приговаривал:

— Что ж, в конце концов мы вернулись к моему замыслу.

Как-то раз, месяцев через пять после поступления Филипа в магазин, туда явилась известная комедийная актриса

¹ Клиентура (*фр.*).

² Парижская фирма дамских нарядов.

мисс Алиса Антония и спросила Сэмпсона. Это была крупная женщина с льняными волосами и откровенно накрашенным лицом, обладавшая резким голосом и бойкими манерами эстрадной певички, привыкшей быть запанибрата с галеркой провинциального мюзик-холла. Она включила в репертуар новую песенку и хотела, чтобы мистер Сэмпсон придумал ей новый костюм.

— Это должно быть что-то потрясающее, — заявила она. — И не вздумайте предлагать всякое старье. Понимаете, мне нужно, чтобы костюм был такой, какого ни у кого нет!

Мистер Сэмпсон держался, как всегда, самоуверенно и фамильярно; он не сомневался, что может предложить ей как раз то, о чем она мечтает. Он показал ей эскизы моделей.

— Я знаю, здесь нет ничего для вас подходящего, но мне просто хочется дать вам представление о том, что бы я мог вам предложить.

— Ну нет, это мне совсем не подойдет, — сказала она капризно, взглянув на рисунки. — Мне нужно что-нибудь сногшибательное, чтобы дух захватывало.

— Я вас отлично понимаю, мисс Антония, — сказал заведующий; он вежливо улыбался, но глаза его смотрели тупо и растерянно.

— Наверно, в конце концов придется махнуть в Париж, — сказала она.

— Помилуйте, мисс Антония, все, что можно купить в Париже, вы получите у нас. Останетесь довольны.

Когда мисс Антония выплыла из магазина, встревоженный мистер Сэмпсон поделился своими огорчениями с миссис Ходжес.

— Да, ей пальца в рот не клади, — изрекла миссис Ходжес.

— Алиса, крошка моя, отзовись! — с раздражением пропел заведующий, решив, что страшно ей этим отомстил.

Мистер Сэмпсон был сердит. Его представление о костюме для эстрады никогда не шло дальше коротких юбок, вихря, кружев и блесток, однако миссис Антония выразилась на этот счет совершенно недвусмысленно.

— Баракло! — заявила она.

И сказано это было таким тоном, что не оставалось никаких сомнений в ее закоренелой антипатии к подобной дряни, даже если бы она и не добавила потом, что ее тошнит от блесток. Мистер Сэмпсон предложил кое-какие

«идеи», но миссис Ходжес откровенно заявила ему, что они вряд ли подойдут. Она-то и подала Филипу мысль:

— Вы умеете рисовать, Фил? Почему бы вам не попробовать, может, у вас что-нибудь и выйдет.

Филип купил коробку дешевых акварельных красок и вечером, в то время как его шумливый шестнадцатилетний сосед Белл, насвистывая все те же три ноты, возился со своими марками, сделал несколько набросков. Филип вспомнил костюмы, которые видел в Париже, и видоизменил один из них, достигнув большого эффекта ярким, необычным сочетанием красок. Рисунок его позабавил, и на следующее утро он показал его миссис Ходжес. Она несколько удивилась, но отнесла его заведующему.

— Спору нет, — сказал тот, — это ни на что не похоже.

Он был озадачен, однако тут же подметил опытным глазом, что платье будет выглядеть отлично. Чтобы спасти свой престиж, он предложил сделать кое-какие переделки, но миссис Ходжес, у которой было больше здравого смысла, посоветовала показать заказчице эскиз, как он есть.

— Она ведь тронутая, кто ее знает, может, ей и понравится.

— Скорее всего нет, — сказал мистер Сэмпсон, разглядывая *décolletage*¹. — А ведь рисовать он умеет. Любопытно, почему он до сих пор это скрывал?

Когда доложили о приходе мисс Антония, заведующий положил эскиз на стол с таким расчетом, чтобы артистка заметила его, как только переступит порог. Она и в самом деле сразу накинулась на рисунок.

— Что это? — спросила она. — Почему вы мне не показываете?

— Да вот мы как раз вам это и собирались предложить, — равнодушным тоном сказал мистер Сэмпсон. — Вам нравится?

— Еще бы! — сказала она. — Да я его оторву с руками и ногами!

— Видите, я же сказал, что ездить в Париж вам ни к чему. Только скажите, что вам нужно, и все будет в лучшем виде.

Модель сразу пошла в работу, и Филип испытал радостное волнение, увидев готовый костюм. Все почести достались

¹ Декольте (фр.).

на долю заведующего и миссис Ходжес, но Филипу это было безразлично; в приподнятом настроении он отправился с ними в Тиволи, чтобы поглядеть на мисс Антониа в его модели. В ответ на расспросы миссис Ходжес Филип наконец рассказал ей, где он научился рисовать, — до сих пор он старательно избегал разговоров о своей прежней жизни, боясь, чтобы в общезнании не подумали, будто он важничает; миссис Ходжес тотчас же доложила обо всем мистеру Сэмпсону. Заведующий не сказал Филипу ни слова, но стал обращаться с ним уважительнее и поручил ему нарисовать модели для двух заказчиц из провинции. Модели были одобрены. Тогда он стал сообщать заказчицам, что у них работает «способный паренек, который учился рисовать в Париже»; вскоре Филип был водворен за ширму и, скинув пиджак, стал рисовать с утра до ночи. Иногда он бывал так занят, что успевал пообедать только в три часа вместе с опоздавшими. Ему это нравилось: в это время было куда меньше обедающих и все они молчали от усталости; да и ели лучше — им подавали остатки со стола начальства. Головокружительная карьера Филипа, ставшего из администратора художником-модельером, произвела большое впечатление в отделе. Он заметил, что ему стали завидовать. Гаррис, тот самый приказчик с угловатым черепом, который был его первым знакомым в магазине и по-своему привязался к Филипу, не мог скрыть обиды.

— Ну и везет же некоторым, — говорил он. — Не успеешь и глазом моргнуть, как вы станете заведующим и нам придется ходить перед вами на задних лапках.

Он посоветовал Филипу потребовать прибавки жалованья: несмотря на куда более сложную работу, которую Филип теперь выполнял, он по-прежнему получал свои шесть шиллингов. Но просить прибавки было делом щекотливым. Управляющий имел обыкновение обращаться с такими просителями иронически:

— Ах, вот как, значит, вы полагаете, что стоите большего? А сколько же, по вашему мнению, вам надлежит платить?

Дрожа как осиновый лист, приказчик говорил, что, по его мнению, ему следовало бы прибавить два шиллинга в неделю.

— Что ж, отлично, — говорил управляющий, — если вы действительно уверены, что этого заслуживаете, вы можете их получить. — Тут он делал паузу и нередко

добавлял ледяным тоном: — А заодно можете получить и расчет.

Тут уже бесполезно было идти на попятный — вы были уволены. Управляющий полагал, что недовольство мешает человеку работать как следует, и потому, если он не заслуживает прибавки, лучше сразу же выставить его за дверь. Зная это, служащие никогда не просили прибавки, если не были готовы потерять свое место. Филип колебался. Он не слишком доверял своим товарищам по комнате, утверждавшим, что заведующему отделом без него не обойтись. Все они были славные ребята, но юмор у них был грубоватый — их могло позабавить, если бы им удалось убедить Филипа попросить прибавки, а его бы за это уволили. Он не забыл, как унижительны поиски работы, и не хотел подвергаться этому унижению снова; он знал, как трудно найти где-нибудь место художника по костюмам: сотни людей умели рисовать ничуть не хуже его. Но деньги были нужны позарез: платье его изнашивалось, а ботинки и носки просто сгнили на этих коврах. Он чуть было не решился пойти на риск и попросить прибавки, но однажды утром, после завтрака, возвращаясь по коридору и проходя мимо конторы управляющего, увидел очередь людей, пришедших наниматься по объявлению. Их было около сотни; каждому поступившему давали те же шесть шиллингов на всем готовом, которые получал Филип. Он заметил, что многие из них бросают на него завистливые взгляды, — ведь у него была работа. Это заставило его содрогнуться. Он не посмел рискнуть своим положением.

ГЛАВА 108

Прошла зима. Изредка Филип заходил в больницу, чтобы взглянуть, нет ли для него писем; он пробирался туда по вечерам, чтобы не встретить знакомых. На Пасху он получил коротенькое письмецо от дяди. Филип был удивлен: блэкстеблский священник написал ему за всю жизнь не больше полдюжины писем, да и то деловых. Письмо гласило:

«Дорогой Филип!

Если ты в ближайшее время возьмешь отпуск и захочешь ко мне приехать, я буду рад тебя видеть. Зимой у меня очень обострился бронхит, и доктор Уигрэм не надеялся, что я

выживу. Но у меня очень крепкий организм, и я, слава Богу, совсем поправился.

Любящий тебя *Уильям Кэри*

Письмо рассердило Филипа. Как представляет себя дядя: на что он живет? Священник даже не дал себе труда об этом спросить. Филип мог умереть с голоду — старику это было безразлично. Но по дороге домой Филипа осенила неожиданная мысль. Он остановился под фонарем и перечитал письмо; почерк дяди уже не был таким твердым и деловым, как прежде, теперь он писал крупно, дрожащей рукой. Быть может, болезнь расшатала его здоровье больше, чем ему хотелось признаться, и в этой сухой записке звучала тайная тоска по единственному на свете близкому человеку.

Филип ответил, что сможет приехать в Блэкстебл на две недели в июле. Приглашение пришло кстати — он не знал, как ему провести отпуск. Ателье уезжали на сбор хмеля в сентябре, но тогда его не могли отпустить с работы: в сентябре готовились осенние модели. Согласно правилам фирмы «Линн и Седли», каждый служащий должен был использовать положенный ему двухнедельный отпуск, хотел он этого или нет; если ему некуда было поехать, он мог ночевать в общежитии, но питания не получал. У некоторых служащих поблизости от Лондона не было ни родных, ни знакомых, отпуск для них превращался в неприятную повинность — им приходилось тратить свое ничтожное жалование на питание, не зная, куда девать свободное время, и не имея денег на расходы. Филип не выезжал из Лондона уже два года, с тех пор как ездил с Милдред в Брайтон; он истосковался по свежему воздуху и по морской глади. Он так страстно мечтал об этом весь май и июнь, что, когда наконец время отъезда пришло, он уже не чувствовал ничего, кроме душевной усталости.

В последний вечер, когда он докладывал заведующему об одной или двух работах, которые он успел закончить, мистер Сэмпсон вдруг спросил:

— Какое у вас жалование?

— Шесть шиллингов.

— Пожалуй, этого для вас маловато. Когда вы вернетесь, я позабочусь, чтобы вам повысили жалование до двенадцати.

— Большое спасибо, — улыбнулся Филип. — Мне очень нужен новый костюм.

— Если вы будете усердно работать, а не бегать за девчонками, как иные прочие, я вас не оставляю. Имейте в виду, Кэри, вам еще многому надо научиться, но вы подаете надежды, не скрою, подаете надежды. Я похлопочу, если вы заслужите, чтобы вам положили фунт в неделю.

Филип с тоской подумал о том, сколько ему еще придется этого ждать. Два года?

Его поразило, как сильно изменился дядя. Когда он видел его в последний раз, это был тучный, осанистый человек с чисто выбритым, круглым, чувственным лицом; но за последний год он сдал не на шутку: кожа его пожелтела, под глазами появились мешки, он сгорбил, одряхлел и перестал брить бороду. Теперь он едва передвигал ноги.

— Сегодня я чувствую себя хуже, чем всегда, — сказал он, когда по приезде Филипа они остались вдвоем в столовой. — Я плохо переношу жару.

Расспрашивая дядю о приходских делах, Филип приглядывался к нему, думая, сколько он еще протянет: жаркое лето могло его доконать; руки его высохли и тряслись. Для Филипа это был вопрос всего его будущего. Если бы дядя умер летом, Филип смог бы вернуться в институт к началу зимней сессии; сердце его радостно забилося при одной мысли, что ему больше не придется возвращаться к «Линну и Седли». За обедом священник понуро сидел в своем кресле; экономка, служившая у него со смерти жены, спросила:

— Вы не возражаете, сэр, если мясо нарежет мистер Филип?

Не желая признаваться в своем бессилии, старик собирався было взяться за это сам, но явно обрадовался предложению экономки.

— У тебя отличный аппетит, — заметил Филип.

— Да, не могу пожаловаться. Но я похудел с тех пор, как ты меня видел. И слава Богу, что похудел, — мне вовсе не так уж хорошо быть полным. Доктор Уигрэм считает, что мне полезно было похудеть.

После обеда экономка принесла лекарство.

— Покажите рецепт мистеру Филипу, — сказал священник. — Он ведь тоже доктор. Пусть посмотрит, хорошее ли это лекарство. Я уже говорил доктору Уигрэму, что теперь, когда ты учишься на врача, ему бы следовало делать мне скидку. Просто ужас, сколько приходится ему платить. Целых два месяца он посещал меня ежедневно, а берет он пять шиллингов за визит. Правда, уйма денег? Он и теперь при-

ходит два раза в неделю. Я все собираюсь ему сказать, что в этом больше нет никакой нужды. Если он понадобится, я всегда могу за ним послать.

Дядя Уильям не сводил глаз с Филипа, пока тот читал рецепты. Лекарств было два — оба болеутоляющие; одно из них, как объяснил священник, следовало принимать только в крайних случаях, когда приступ неврита становится невыносимым.

— Я очень осторожен, — сказал священник. — Мне не хочется привыкать к наркотикам.

О делах племянника он даже не упомянул. Филип решил, что дядя распространяется о своих расходах из осторожности, чтобы он не попросил денег. Сколько было потрачено на врача, а сколько еще на лекарства! Во время его болезни приходилось каждый день топить камин в спальне; к тому же теперь по воскресеньям коляска нанималась утром и вечером, чтобы ездить в церковь! Филип, обозлившись, хотел было сказать, что дяде нечего бояться — он не собирался просить у него денег, но сдержался. Казалось, в старике уже не осталось ничего человеческого, лишь жадность к пище и к деньгам. Это была малопочтенная старость.

После обеда явился доктор Уигрэм; когда он уходил, Филип проводил его до калитки.

— Как вы находите дядю? — спросил он.

Доктор Уигрэм больше старался не причинять вреда, чем приносить пользу; он, если мог, никогда не высказывал определенного мнения. В Блэкстебле он практиковал уже тридцать пять лет. У него была репутация человека осторожного: многие его пациенты считали, что врачу куда лучше быть осторожным, чем знающим. Лет десять назад в Блэкстебле поселился новый врач, на которого все еще смотрели как на пролазу; говорили, что он хорошо лечит, но у него почти не было практики среди людей обеспеченных — ведь никто ничего не знал о нем толком.

— Что ж, здоровье его не хуже, чем можно было ожидать, — ответил доктор Уигрэм на вопрос Филипа.

— У него что-нибудь серьезное?

— Видите ли, Филип, ваш дядя человек уже немолодой, — произнес врач с осторожной улыбочкой, которая в то же время давала понять, что больной вовсе не так уж стар.

— Кажется, он жалуется на сердце?

— Сердце его мне не нравится, — рискнул заметить врач. — Ему следует быть осторожным, весьма осторожным.

У Филипа вертелся на языке вопрос: сколько дядя еще сможет прожить? Но он боялся возмутить таким вопросом собеседника. В подобных случаях неписанный этикет требовал деликатного подхода к делу, но ему пришло в голову, что врач, наверно, привык к нетерпению родственников больного. Он, должно быть, видел их насквозь. Усмехаясь над собственным лицемерием, Филип опустил глаза.

— Надеюсь, серьезная опасность ему не угрожает?

Врач терпеть не мог подобных вопросов. Скажешь, что пациент не протянет и месяца, — родственники начнут готовиться к его кончине, а вдруг больной возьмет да и проживет дольше, чем обещано? Родные будут смотреть на врача с негодованием: с какой стати он зря заставил их горевать? С другой стороны, если скажешь, что пациент проживет год, а он умрет через неделю, родственники будут утверждать, что ты негодный врач. Они станут сожалеть, что недостаточно заботились о больном, не зная, что конец так близок. Доктор Уигрэм округлым движением потер руки, точно умывал их.

— Не думаю, чтобы ему угрожала серьезная опасность, если только... здоровье его не ухудшится, — снова рискнул он заметить. — С другой стороны, не следует забывать, что он уже не молод, а человеческий механизм, так сказать, изнашивается. Если он перенесет жару, не вижу, почему бы ему не прожить спокойно до зимы, а если зима его не доконает, вряд ли с ним вообще что-нибудь может случиться.

Филип вернулся в столовую. Ермолка и вязаная шаль на плечах придавали дяде шутовской вид. Глаза его были прикованы к двери, и, когда Филип вошел, они тревожно впились ему в лицо. Филип увидел, с каким нетерпением дядя ожидал его прихода.

— Ну, что он сказал обо мне?

И Филип внезапно понял, что старик боится смерти. Филипу стало немножко стыдно, и он невольно отвел глаза. Его всегда коробила человеческая слабость.

— Он считает, что тебе гораздо лучше, — сказал он. Глаза дяди заблестели от удовольствия.

— У меня очень крепкий организм, — заявил он. — А что он еще сказал? — добавил он подозрительно.

Филип улыбнулся.

— Он говорит, что, если ты будешь вести себя осторожно, ты можешь дожить до ста лет.

— Не знаю, смогу ли я дожить до ста, но почему бы мне не дожить до восьмидесяти? Моя мать умерла восьмидесяти четырёх лет.

Рядом с креслом мистера Кэри стоял маленький столик, на котором лежали Библия и толстый молитвенник — уже много лет священник читал его вслух своим домочадцам. Старик протянул дрожащую руку и взял Библию.

— Древние патриархи доживали до глубокой старости, — произнес он со странным смешком, в котором Филип услышал какую-то робкую мольбу.

Старик цеплялся за жизнь, несмотря на то, что слепо верил во все, чему его всегда учила религия. Он несколько не сомневался в бессмертии души, считал, что в меру своих сил жил праведно, и надеялся попасть в рай. Скольким умирающим преподавал он за свою долгую жизнь предсмертное утешение! Он был похож на того врача, которому не помогали собственные рецепты. Филипа удивляло и возмущало, что старик так цепко держится за юдоль земную. Какой неизъяснимый страх грызет его душу? Филипу хотелось проникнуть в нее, чтобы воочию увидеть леденящий ужас перед неизвестностью, который там, видимо, гнезвился.

Две недели промелькнули незаметно, и Филип вернулся в Лондон. Душные августовские дни он провел за своей ширмой в отделе готового платья, рисуя новые модели. Одна партия служащих за другой отправлялись в отпуск. По вечерам Филип обычно ходил в Гайд-парк слушать музыку. Он привыкал к своей работе, и она его уже не так утомляла; его мозг, оправляясь от долгого бездействия, искал свежей пищи для размышлений. Все его помыслы были теперь связаны со смертью дяди. Часто ему снился один и тот же сон: ранним утром ему подают телеграмму, сообщающую о внезапной кончине священника, и вот он свободен. Когда Филип просыпался и понимал, что это был только сон, его охватывало мрачное бешенство. Теперь, когда то, о чем он мечтал, могло случиться со дня на день, он стал строить планы на будущее. Мысленно он быстро пробегал год до окончания института и подолгу раздумывал о поездке в Испанию, которую так давно вынашивал в сердце. Он брал в публичной библиотеке книги об этой стране и уже точно знал по фотографиям, как выглядит тот или иной испанский город. Он видел себя в Кордове, на мосту, переброшенном через Гвадалквивир; бродил по извилистым улицам Толедо и подолгу просиживал в церквях, проникая в тайну

Эль Греко, которой мучил его этот загадочный художник. Ательни понимал его томление, и по воскресеньям после обеда они составляли подробный маршрут путешествия, чтобы Филип не упустил ничего примечательного. Желая обмануть свое нетерпение, Филип стал учить испанский язык; каждый вечер в опустевшей гостиной на Харрингтон-стрит он просиживал целый час над испанскими упражнениями и с английским переводом в руках старался понять чеканную прозу «Дон Кихота». Раз в неделю ему давал урок Ательни; Филип заучил несколько фраз, которые должны были облегчить ему путешествие.

Миссис Ательни потешалась над ними.

— А ну вас с вашим испанским! — говорила она. — Почему вы не займетесь чем-нибудь путным?

Но Салли, которая очень повзрослела и на Рождество собиралась уложить свои косы в прическу, часто стояла возле них и серьезно слушала, как отец и Филип обмениваются фразами на языке, которого она не понимала. Отца она считала самым замечательным человеком на свете, а свое мнение о Филипе она выражала только отцовскими словами.

— Отец очень уважает дядю Филипа, — говорила она братьям и сестрам.

Торп, старший сын, теперь уже достаточно подрост, чтобы поступить на учебное судно, и Ательни с увлечением описывал семье, как великолепно будет выглядеть мальчик, когда придет на каникулы в морской форме. Салли, как только ей исполнится семнадцать лет, должна была пойти ученицей к портнихе. Со своей обычной высокопарностью Ательни говорил о птенцах, чьи крылья достаточно окрепли, чтобы они могли покинуть родительское гнездо; но оно останется для них родным, уверял он, не скрывая влаги в глазах, если дети когда-нибудь захотят вернуться. Постель и обед всегда для них найдутся, а отцовское сердце не останется глухим, если его детей постигнет какая-нибудь беда.

— Ну и мастер же ты поговорить, Ательни, — замечала его жена. — Не знаю, какая им может грозить беда, если они будут вести себя хорошо. Будь честен и не бойся труда, тогда и место для тебя всегда найдется — вот как я думаю, и ничуть я не огорчусь, если все они станут зарабатывать себе сами на жизнь.

Частые роды, тяжелый труд и постоянная забота о хлебе насущном начинали сказываться на здоровье миссис Ательни: иногда по вечерам у нее так разбалчивалась спина, что ей надо было сесть и перевести дух. Ее идеал зажиточной жизни сводился к тому, чтобы нанять прислугу для черной работы и по утрам не вставать раньше семи.

Ательни взмахнул своей красивой белой рукой.

— Ах, моя Бетти, мы с тобой давно заслуживаем, чтобы о нас позаботилось государство. Мы воспитали девять здоровых детей, мальчики послужат своей родине, а девочки будут готовить, шить и в свою очередь рожать здоровых детей. — Повернувшись к Салли, он продекламировал, чтобы ей не было обидно: — И те, кто только рядом шли, те тоже долю свою внесли!

Наряду с другими теориями Ательни за последнее время пламенно поверил в социализм. Теперь он заявил:

— В социалистическом государстве мы с тобой, Бетти, получали бы хорошую пенсию.

— Да ну их, этих самых социалистов! — воскликнула она. — Слышать о них не хочу. Еще одна шайка бездельников присосется к рабочему люду — вот и все. Я хочу одного: дайте человеку спокойно жить и не лезьте в его дела; я сама о себе позабочусь, а если мне не повезло, это уж моя печаль.

— Разве тебе не повезло? — сказал Ательни. — Не кошунствуй! Были и у нас свои взлеты и падения, даром ничего не далось, мы всегда были и остались бедняками, но жить на свете все-таки стоило, ей-Богу же, стоило: погляди на наших детей.

— Ну и мастер же ты поговорить, Ательни, — снова заметила жена, посмотрев на него беззлобно, но со спокойным пренебрежением. — Ты получал от детей одни удовольствия, а на мою долю выпало их рожать и воспитывать. Я не хочу сказать, что их не люблю, раз уж они у меня есть, но если бы я могла начать сначала, не вышла бы я замуж. Будь я незамужней, была бы у меня своя лавочка, четыреста или пятьсот фунтов в банке да прислуга для черной работы. Нет, не хотела бы я прожить такую жизнь сначала, ни за какие коврижки!

Филип подумал о бесчисленных миллионах людей, для кого жизнь — беспрестанный труд; она не кажется им ни прекрасной, ни уродливой — это просто такая же неизбежность, как смена времен года. Его охватывала ярость, когда

он думал о том, как все на свете бесплодно. Он все же не мог до конца поверить, что жизнь бессмысленна, хотя все, что он видел, все, над чем размышлял, только подкрепляло эту мысль. Но в ярости его была и доля торжества. Ведь если жизнь бессмысленна, она не так уж страшна, и он теперь не боялся ее, чувствуя в себе какую-то новую силу.

ГЛАВА 109

На смену осени пришла зима. Филип оставил свой адрес дядиной экономке миссис Фостер, чтобы она могла с ним снестись, но на всякий случай каждую неделю ходил в больницу справляться, нет ли ему письма. Однажды вечером ему подали конверт, надписанный почерком, которого он уже надеялся никогда больше не видеть. Он почувствовал смятение и не сразу заставил себя взять письмо. Слишком много оно пробудило ненавистных воспоминаний. Наконец, досадуя на самого себя, он вскрыл письмо и прочел:

«Уильям-стрит, 7, Фицрой-сквер.

Дорогой Фил!

Нельзя ли мне срочно увидеть тебя хоть на минутку? У меня ужасная неприятность, и я не знаю, что делать. Не беспокойся, это — не деньги.

Преданная тебе *Милдред*»

Он разорвал письмо и, выйдя на темную улицу, выбросил клочки.

— Ну ее к черту, — пробормотал он сквозь зубы.

Его душило омерзение при одной мысли о том, что он ее может снова увидеть. Какое ему дело, что с ней стряслось, — так ей и надо, что бы это ни было; он вспоминал о ней с ненавистью, а любовь, которую он к ней прежде питал, лишь усиливала его отвращение. Ему стало тошно от своих воспоминаний, и, проходя по мосту через Темзу, он инстинктивно сжался, точно хотел отстраниться от всякой мысли о Милдред. Но, улегшись в постель, Филип не мог заснуть: он гадал, что с ней случилось, и не в силах был отделаться от страха, что она больна и голодает; она бы ни за что ему не написала, если бы не попала в отчаянное положение. Он сердился на свою слабость, но уже знал, что не успокоится, пока ее не увидит. На следующее утро он написал ей открытку и опустил в ящик по дороге на работу. Он старался писать как можно суше; выразив со-

жаление, что у нее неприятности, он обещал Милдред зайти вечером, около семи часов, по указанному ею адресу.

Филип разыскал убогую улицу и ветхое жилище; волнуясь, он позвонил и спросил, дома ли Милдред, — у него вдруг блеснула глупая надежда, что она куда-нибудь уехала. В таком доме, как этот, люди подолгу не заживаются. Он не догадался посмотреть штемпель на конверте и не знал, сколько дней ее письмо пролежало в больнице. Открывавшая ему дверь женщина, не отвечая на вопрос, провела его по коридору и постучалась в одну из дверей.

— Миссис Миллер, — крикнула она, — к вам пришел какой-то мужчина.

Дверь слегка приоткрылась, и оттуда опасливо выглянула Милдред.

— Ах, это ты, — сказала она. — Входи.

Он вошел, и она затворила за ним дверь. Филип очутился в крохотной спальне, где, как всегда у Милдред, царил беспорядок. Посреди комнаты были брошены грязные туфли; на комоде валялась шляпка, а рядом с ней — накладные локоны; на столе лежала блузка. Филип поискал глазами, куда бы ему положить шляпу. Крючки на двери были увешаны платьями — он заметил, что все подолы зашлепаны грязью.

— Садись, — сказала она. Потом неловко усмехнулась. — Наверное, ты удивился, когда получил мое письмо.

— Ты ужасно охрипла, — сказал он. — У тебя болит горло?

— Да, уже давно.

Филип замолчал. Он ждал, чтобы она объяснила, зачем ей нужно было его видеть. Вид ее комнаты ясно говорил, что она вернулась к той жизни, от которой он ее когда-то избавил. Интересно, что случилось с ребенком; на камине стояла фотография девочки, но в комнате не было ни ее, ни ее вещей. Милдред мяла носовой платок; она скатала его в шарик и перекидывала из руки в руку. Он видел, как она нервничает. Она устала сидеть на огонь в камине, и он мог наблюдать за Милдред, не встречаясь с ней взглядом. Она заметно похудела; пожелтевшая и высохшая кожа туго обтягивала скулы. То, что она покрасила волосы в соломенный цвет, сильно ее изменило, придав ей вульгарный вид.

— Откровенно говоря, я обрадовалась, получив твою открытку, — сказала она наконец. — А я-то уж думала, что тебя больше нет в больнице.

Филип по-прежнему молчал.

— Наверное, ты теперь уже врач?

— Нет.

— Почему не?

— Я давно не учусь. Вот уже полтора года, как мне пришлось бросить учение.

— Какой непостоянный. Видно, ничем не можешь заняться всерьез.

Филип немного помолчал, а потом сухо объяснил:

— Я потерял то небольшое, что у меня было, в неудачной спекуляции, и у меня не хватило денег доучиться. Приходится зарабатывать на жизнь.

— А что ты делаешь?

— Служу в магазине.

— А-а!

Милдред кинула на него взгляд и сразу же отвела глаза. Ему показалось, что она покраснела. Она нервно терла ладони носовым платком.

— А ты еще не забыл, как лечат? — Она как-то странно выговаривала слова.

— Не совсем.

— Ведь я ради этого и хотела тебя повидать. — Голос ее упал до хриплого шепота. — Не знаю, что со мной происходит.

— Отчего ты не пойдешь в больницу?

— Не хочу, чтобы на меня глазели студенты, да и боюсь, что меня оттуда не выпустят.

— На что ты жалуешься? — холодно задал Филип стереотипный вопрос, который он так часто слышал в амбулатории.

— Понимаешь, у меня какая-то сыпь, и я никак не могу от нее избавиться.

В сердце у него шевельнулся ужас. На лбу выступил пот.

— Дай-ка я посмотрю твоё горло.

Он подвел ее к окну и бегло осмотрел. Внезапно он поймал ее взгляд. В нем он прочел панический страх. На это было невыносимо смотреть. Она была перепугана насмерть. Ей хотелось, чтобы он ее успокоил; она глядела на него с мольбой, не смея просить утешения, но всей душой надеясь услышать, что страхи ее напрасны, а он ничем не мог ее порадовать.

— Боюсь, ты и в самом деле очень больна, — сказал он.

— А что у меня, по-твоему?

Когда он сказал, она смертельно побледнела, а губы стали желтыми; она заплакала — сперва беззвучно, а потом задыхаясь от рыданий.

— Мне ужасно жалко, — вымолвил он наконец. — Но я должен был тебе сказать.

— Проще всего надеть петлю на шею, и дело с концом. Он не обратил внимания на эту угрозу.

— Есть у тебя деньги? — спросил он.

— Шесть или семь фунтов.

— Понимаешь, тебе надо отказаться от этой жизни. Разве ты не можешь найти какую-нибудь работу? Боюсь, что я тебе мало чем сумею помочь: я ведь получаю всего двенадцать шиллингов в неделю.

— А где же я могу теперь работать? — с раздражением закричала она.

— Поищи, черт возьми, надо же хоть попробовать!

Он очень серьезно объяснил ей опасность, которой она подвергает себя и других; она его враждебно выслушала. Он попытался ее утешить. В конце концов она нехотя обещала последовать его советам. Филип выписал рецепт, сказал, что закажет лекарство в ближайшей аптеке, и растолковал ей, что принимать его необходимо с величайшей аккуратностью. Поднявшись, он протянул ей руку.

— Не падай духом, горло у тебя скоро пройдет.

Но когда он уже собирался переступить порог, лицо ее вдруг исказилось от страха и она схватила его за рукав.

— Не оставляй меня! — произнесла она хрипло. — Я так боюсь, побудь со мной хоть немножко. Прошу тебя, Фил. У меня никого нет, кроме тебя, ты был моим единственным другом.

Он почувствовал, каким ужасом объято ее сердце, — такой же ужас он читал в глазах дяди, когда тот думал о смерти. Филип опустил голову. Дважды эта женщина вторгалась в его жизнь и делала его несчастным; у него не было по отношению к ней никаких обязательств; а все-таки, неизвестно почему, в глубине души он испытывал сейчас непонятную боль; это была та самая боль, которая лишила его покоя, когда он получил ее письмо, и не покинула его, пока он не пришел на ее зов.

«Наверно, я так никогда и не избавлюсь от этого чувства», — сказал он себе.

И в то же время его удивляло, что сама она, ее близость вызывают в нем какое-то физическое отвращение.

— Чего ты от меня хочешь? — спросил он.

— Давай сходим поужинаем. Платить буду я.

Филип колебался. Он чувствовал, что она вот-вот снова вползет в его жизнь, а он ведь решил, что навсегда с ней расстался. Милдред следила за ним с тоской и тревогой.

— Я знаю, что обошлась с тобой по-хамски, но не бро-сай меня одну. Можешь радоваться, я получила по заслугам. Но если ты меня сейчас оставишь, я не знаю, что над собой сделаю.

— Ладно, пойдем, — сказал он, — но придется выбрать место дешевле, я теперь не могу сорить деньгами.

Она села и зашнуровала ботинки, потом сменила юбку и надела шляпу; они вышли из дома и выбрали подходящий ресторан на Тоттенхэм-Корт-роуд. Филип отвык есть в эти часы, а у Милдред так болело горло, что она с трудом могла проглотить кусок. Они заказали холодной ветчины, и Филип выпил кружку пива. Они сидели друг против друга, совсем как прежде, — интересно, помнит ли она об этом, — но сказать им было друг другу нечего; так бы они и молчали, если бы Филип не заставлял себя разговаривать. В ярком свете огней ресторана и блеске дешевых зеркал, бесконечно повторяющих друг друга, она выглядела старой и замученной. Филипу хотелось спросить о ребенке, но у него не хватало духа. Наконец она сказала сама:

— Знаешь, девочка прошлым летом умерла.

— А-а!

— Ты бы мог по крайней мере сказать, что тебе ее жалко.

— Мне ее не жалко, — ответил он. — Я за нее рад.

Она взглянула на него и, поняв, что он имеет в виду, отвела глаза.

— А ты ведь одно время ужасно к ней привязался. Меня даже сместило, что ты мог так обожать чужого ребенка.

Пообедав, они зашли в аптеку за лекарством, которое прописал Филип, и, вернувшись в ее убогую комнатуху, он заставил Милдред его принять. Потом они посидели еще, пока Филипу не надо было возвращаться в общежитие. Он умирал от скуки.

Филип стал навещать ее каждый день. Она принимала лекарство и выполняла его предписания; вскоре результаты стали так заметны, что она прониклась величайшей верой в его искусство. По мере того как она поправлялась, к ней возвращалось хорошее настроение. Она становилась разговорчивее.

— Как только найду работу, все будет в порядке, — говорила она. — Я получила урок и теперь его не забуду. Теперь-то уж меня в разгул силком не затянешь.

Филип каждый раз спрашивал, нашла ли она работу. Милдред просила его не беспокоиться — найдет что-нибудь, как только захочет, свет клином не сошелся; но пока что ей лучше отдохнуть неделку-другую. Против этого трудно было возразить, но прошла неделя, потом другая, и он стал настойчивее. Милдред над ним посмеивалась — теперь она стала куда веселее — и говорила, что он старый воркотун. Она рассказывала ему длинные истории о своих переговорах с хозяйками — она рассчитывала найти работу в какой-нибудь харчевне — подробно излагая их вопросы и свои ответы. Пока еще ничего определенного не подвернулось, но она уверена, что договорится к началу будущей недели; торопиться некуда, а хвататься за первое попавшееся место было бы ошибкой.

— Глупости, — отвечал он с нетерпением. — Ты должна взять любую работу. Я же не могу тебе помогать, а на свои деньги ты долго не протянешь.

— Ну, я их еще не прожила, можешь не беспокоиться.

Он пристально на нее поглядел. С тех пор как он пришел к ней в первый раз, прошло уже три недели, а тогда у нее не было и семи фунтов. Его охватила тревога. Он припомнил некоторые фразы, которые она обронила. И все понял. Теперь он сомневался, пыталась ли она вообще найти работу. Наверное, она все это время ему лгала. Не может быть, чтобы она до сих пор не истратила своих денег.

— Сколько ты платишь за комнату?

— Ах, у меня такая симпатичная хозяйка, не то, что некоторые: готова ждать сколько угодно, пока я смогу расплатиться.

Он молчал. То, что он подозревал, было так чудовищно, что он и сам не верил своим подозрениям. Бесполезно ее спрашивать, она все равно отопрется; если он хочет знать правду, надо все выяснить самому. Он уходил от нее каждый вечер около восьми и, когда пробили часы, поднялся, как обычно. Но, вместо того чтобы вернуться в общежитие, он остановился на углу Фицрой-сквер, откуда мог видеть каждого, кто пройдет по Уильям-стрит. Ему показалось, что он прождал целую вечность, и он уже хотел уйти, решив, что его подозрения напрасны, но вот дверь дома номер семь отворилась и вышла Милдред. Он отступил в темноту

и стал за ней наблюдать. На ней была шляпа с пучком перьев, которую он видел у нее в комнате; он узнал и платье — оно было слишком крикливым для улицы и совсем не по сезону, Филип медленно пошел за ней; она дошла до Тоттенхэм-Корт-роуд и замедлила шаг; на углу Оксфорд-стрит она остановилась, огляделась и пересекла улицу, направляясь к одному из мюзик-холлов. Филип подошел к ней и тронул ее за локоть. Он увидел, что щеки и губы ее накрашены.

— Куда ты идешь, Милдред?

Услышав его голос, она вздрогнула и покраснела, как всегда, когда ее уличали во лжи; потом в глазах ее загорелся знакомый злой огонек. Она подсознательно искала защиты в ругани, но так и не произнесла слов, которые готовы были сорваться у нее с языка.

— Да я только хотела сходить в театр. Совсем закинешь, если будешь сидеть каждый вечер одна.

Он и не пытался сделать вид, будто ей верит.

— Не смей! Господи Боже мой, ведь я же тебе сто раз говорил, как это опасно! Ты должна немедленно это прекратить.

— Заткни свое хайло! — закричала она грубо. — А как, по-твоему, мне жить?

Он схватил ее за руку и, не отдавая себе отчета в том, что делает, потащил за собой.

— Ради Бога, пойдем! Я отведу тебя домой. Ты не понимаешь, что ты делаешь. Ведь это же преступление!

— Плевать! Мужчины мне столько в жизни гадили, пусть теперь сами о себе думают.

Она оттолкнула его и, подойдя к кассе, протянула деньги. В кармане у Филипа было всего три пенса. Он не мог пойти за ней. Отвернувшись, он медленно зашагал прочь.

«Что я могу поделать?» — сказал он себе.

Это был конец. Больше он ее не видел.

ГЛАВА 110

Рождество в этом году начиналось в четверг, магазин закрывался на четыре дня, и Филип написал дяде, спрашивая, удобно ли ему приехать и провести праздники в Блэкстебле. Ответила ему миссис Фостер. Она сообщала, что мистер Кэри нездоров и не может ответить сам, но хочет видеть племянника и будет рад, если тот приедет. Она встретила Филипа у двери и, пожимая ему руку, сказала:

— С тех пор как вы были здесь в последний раз, он очень изменился, но я вас прошу, сделайте вид, будто ничего не замечаете. Он так за себя беспокоится!

Филип кивнул, и она впустила его в столовую.

— Вот и мистер Филип.

Священнику недолго оставалось жить. Стоило поглядеть на его впалые щеки и высохшее тело, и на этот счет пропадали всякие сомнения. Он сидел, съжившись в кресле, странно закинув назад голову, и кутался в теплую шаль. Ходить он мог только на костылях, и руки у него так дрожали, что он едва доносил ложку до рта.

«Ну, теперь он протянет недолго», — подумал, всматриваясь в него, Филип.

— Как я выгляжу? — спросил священник. — По-твоему, я очень изменился за то время, что ты меня не видел?

— Мне кажется, что вид у тебя бодрее, чем летом.

— Тогда стояла жара. Жара всегда на меня плохо действует.

Жизнь мистера Кэри за последние месяцы протекала между его спальней, где он пролежал несколько недель, и комнатами внизу. Под рукой у него был звонок, и, рассказывая Филипу о себе, он позвонил, вызвал дежурившую в соседней комнате миссис Фостер и спросил, какого числа он впервые спустился вниз.

— Седьмого ноября, сэр.

Мистер Кэри поглядел на Филипа, чтобы проверить, какое это на него произвело впечатление.

— Но я по-прежнему ем с аппетитом, правда, миссис Фостер?

— О да, сэр, у вас прекрасный аппетит.

— Но почему-то я все равно не поправляюсь.

Его теперь интересовало только собственное здоровье. Он положил себе неукоснительно добиваться одного: жить, просто жить, несмотря на однообразие этой жизни и непрестанную боль, которая не давала ему спать без морфия.

— Просто ужас, сколько денег приходится тратить на докторов. — Он снова позвонил. — Миссис Фостер, покажите мистеру Филипу счет из аптеки.

Она безропотно достала с камина счет и подала его Филипу.

— Это за один только месяц. Я уже подумываю, не сможешь ли ты доставать мне лекарства подешевле, раз ты сам лечишь. Мне даже приходило в голову выписывать лекарства

прямо с оптового склада, но тогда пришлось бы платить за пересылку.

Хотя священник так мало интересовался делами племянника, что даже не спросил, чем тот занимается, приезде его он был, по-видимому, рад. Он осведомился, долго ли Филип у него пробудет, и, когда узнал, что тот должен уехать во вторник утром, выразил желание, чтобы Филип погостил подольше. Мистер Кэри подробно описал ему все симптомы своей болезни и рассказал, что говорит врач. Прервав себя, он снова позвонил миссис Фостер и, когда та вошла, сказал.

— Ничего, я просто боялся, как бы вы не ушли. И позвонил, чтобы проверить, тут ли вы.

Она вышла, и дядя объяснил Филипу, что миссис Фостер всегда должна быть поблизости: она одна знает, что делать, если ему станет хуже.

Видя, что экономка устала и глаза у нее слипаются — она вечно недосыпала, — Филип упрекнул дядю, что он заставляет миссис Фостер слишком много работать.

— Ерунда! — возразил священник. — Она вынослива, как лошадь. — И, когда миссис Фостер снова вошла, чтобы дать ему лекарство, он ей сказал: — Филип говорит, что вы слишком много работаете. Но вам приятно за мной ухаживать, правда?

— Ничего, ничего, сэр. Я охотно делаю, что могу.

Через некоторое время лекарство возымело действие и мистер Кэри заснул. Филип зашел на кухню и спросил миссис Фостер, не пора ли ей отдохнуть. Он видит, что последние месяцы ей пришлось туго.

— Ну а что же можно поделать? — ответила она. — Бедный старик без меня как без рук, и, хотя иногда он такой беспокойный, все равно его жалко. Я ведь живу здесь столько лет, прямо не знаю, что со мной будет, когда его не станет.

Филип почувствовал, что она и в самом деле привязана к старику. Она мыла, одевала его, кормила и раз по пять вставала к нему ночью; спала она рядом с его спальней, и, когда бы дядя ни проснулся, он звонил в свой звонок, куда она к нему не подходила. Священник мог и умереть в любую минуту и прожить еще несколько месяцев. Филиппа поразило, с каким ласковым терпением эта женщина ухаживала за чужим человеком; и разве не трагично, что на свете только она одна заботилась о старике?

Филип замечал, что религия, которую дядя исповедовал всю жизнь, превратилась для него только в привычную

обрядность; он часто читал Библию, а каждое воскресенье к нему приходил его помощник и давал ему причастие; однако смерти он боялся ужасно. Священник верил, что она — лишь врата к жизни вечной, но отнюдь не стремился пройти через эти врата. Постоянно страдая от боли, прикованный к креслу, отказавшись от всякой надежды когда-либо выйти на воздух, зависая, как малое дитя, от услуг чужого человека, он все же цеплялся за эту знакомую жизнь, которая по крайней мере не пугала его своей неизвестностью.

В голове у Филипа настойчиво вертелся вопрос, которого он не мог задать, ибо знал, что дядя ответит лишь так, как того требует его сан: ему хотелось спросить, верит ли все еще священник в бессмертие теперь, когда близится конец, а изношенная машина вот-вот остановится навеки? А вдруг где-то в самой глубине души, не смея вылиться в слова, зреет мысль, что Бога нет и за этой, земной, жизнью нет ничего?

Вечером на третий день Рождества Филип сидел с дядей в столовой. Наутро ему надо было выехать очень рано, чтобы попасть в магазин к девяти, и он решил проститься с мистером Кэри накануне. Блэкстеблский священник дремал, а Филип, лежа на диване возле окна, опустил книгу на колени и рассеянно разглядывал комнату. Он думал о том, сколько можно будет выручить за мебель. Он уже обошел весь дом и осмотрел вещи, которые знал с детства: за несколько фарфоровых безделушек можно получить приличную цену — Филип подумывал, не стоит ли ему взять их с собой в Лондон; зато мебель была в викторианском вкусе, красного дерева, прочная и уродливая; на распродаже она пойдет за гроши. В доме было три или четыре тысячи книг, но кто же не знает, как их трудно продать, вряд ли за них получишь больше сотни фунтов. Филип не представлял себе, сколько дядя оставит денег, и в сотый раз высчитывал минимальную сумму, на которую сможет окончить курс, получить диплом и прожить, пока будет работать ординатором. Он поглядел на беспокойно спавшего больного; в этом сморщенном лице не было уже ничего человеческого — старик напоминал какое-то странное животное. Филип подумал о том, как легко пресечь эту бесполезную жизнь. Он думал об этом каждый вечер, когда миссис Фостер готовила дяде снотворное. У нее было два пузырька: один с лекарством, которое больной принимал постоянно, другой

с болеутоляющим, на случай если боли станут нестерпимыми. Это средство эконожка капала ему в рюмку и оставляла на ночь возле кровати. Старик обычно принимал его в три или четыре часа утра. Как просто удвоить дозу; старик умер бы ночью, и никто бы ничего не заподозрил; ведь именно так доктор Уигрэм и предполагал, что он умрет. Смерть будет безболезненной. Филип сжал руки, думая о деньгах, которые нужны ему позарез. Зачем старику мучиться еще несколько месяцев, а для Филипа эти несколько месяцев решали все: у него больше не было сил терпеть, и от мысли о том, что завтра нужно выйти на работу, его охватывала дрожь. Филип старался думать о чем-нибудь другом и не мог; сердце у него отчаянно билось, мысль о пузырьке преследовала его, как наваждение. Ведь это так просто, до смешного просто. Он не питал к старику никаких чувств; он никогда не любил этого себялюбца за черствое отношение к жене, которая его обожала, к ребенку, которого оставили на его попечение; человек он был незлой, но глупый и бессердечный, жалкий чревоугодник. Ах, как это было бы просто, до смешного просто. Но Филип не решался. Он боялся угрызений совести: что ему эти деньги, если он всю жизнь будет сожалеть о своем поступке? И хотя он столько раз твердил себе, что сожалеть — дело пустое, кое-что из содеянного им его тревожило. Ему бы хотелось, чтобы совесть его была чиста.

Дядя открыл глаза. Филип обрадовался, потому что, проснувшись, старик становился чуть больше похож на человека. Филип ужаснулся той мысли, которая только что его преследовала: ведь он замыслил убийство; интересно, бывают ли подобные намерения у других или это он один — такой выродок? Если бы дошло до дела, он бы, наверно, дрогнул, но навязчивая мысль твердила ему: если ты не решаешься, то разве только из страха. Дядя вдруг спросил:

— Ты ведь не ждешь моей смерти, а, Филип?

Филип почувствовал, как застучало у него сердце.

— Господи помилуй, конечно, нет!

— Молодец. Мне было бы обидно, если бы ты хотел, чтобы я поскорее умер. Когда я скончаюсь, ты получишь немножко денег, но не надо, чтобы ты этого ждал с нетерпением. Деньги тогда не пойдут тебе впрок.

Говорил он тихо, и в голосе его была странная тревога. Филипа словно резануло по сердцу. Какое прозрение открыло старику темные желания, томившие душу племянника?

— Надеюсь, ты проживешь еще лет двадцать, — сказал он.

— Ну, на это мне рассчитывать нечего, но, если я поберегу себя, может статься, что и протяну еще годика три-четыре.

Он помолчал, и Филип не нашелся, что ответить. Потом, словно продолжая ту же мысль, старик заговорил снова:

— Каждый человек имеет право жить столько, сколько сможет.

Филипу захотелось его отвлечь.

— Кстати, ты что-нибудь знаешь о судьбе мисс Уилкинсон?

— Да, я в этом году получил от нее письмо. Она вышла замуж.

— Да ну?

— За вдовца. И кажется, довольно состоятельного.

ГЛАВА 111

На следующий день Филип снова начал работать, а перемены, которых он ждал, все не наступали. Недели текли и складывались в месяцы. Зима миновала, и на деревьях в парках распускались почки, а потом и листья. Филипа охватило страшное уныние. Время влачилось очень медленно, но все же оно шло, а с ним уходила и молодость, скоро она пройдет совсем, а он так ничего и не успел в жизни. Теперь, когда Филип был уверен, что скоро бросит работу, она казалась ему еще более бесцельной. Он набил себе руку и, хотя творческого дара у него не было, научился ловко приспособливать французские моды к вкусам английского потребителя. Иногда ему даже нравились собственные замыслы, но их всегда калечили портные. Его самого забавляло, что он испытывает острое огорчение, видя, как уродуют его модели. Но действовать ему приходилось с опаской. Стоило предложить что-нибудь оригинальное — и мистер Сэмпсон сразу же это отвергал: их покупатели не любили ничего *outré*¹, фирма обслуживала людей почтенных, и, приобретая такую клиентуру, нельзя было с нею шутить. Раза два он резко отчитал Филипа за то, что взгляды молодого человека не совпадают с его собственными; ему казалось, что Филип начинает задирать нос.

¹ Утрированного, эксцентричного (*фр.*).

— Вы, милейший, не забывайтесь, а то не успеете оглянуться, как вас вышвырнут отсюда вон!

У Филипа так и чесались руки съездить его по роже, но он сдержался. В конце концов долго так продолжаться не может, и скоро он распростится со всем этим сбродом. Порой он даже твердил в шутливом отчаянии, что дядя его, наверно, железный и никогда не умрет. Вот это здоровье! Болезнь, которой он страдал, убила бы еще год назад любого порядочного человека. Когда же наконец пришло известие, что священник все-таки умирает, Филип был поглощен другими заботами и оно застало его врасплох. Наступил июль, и через две недели ему полагался отпуск. Миссис Фостер писала, что доктор утверждает, будто мистеру Кэри осталось жить всего несколько дней, и если Филип хочет его повидать, пусть поторопится. Филип пошел к заведующему отделом и сказал, что уходит с работы. Мистер Сэмпсон был человек покладистый и, узнав, в чем дело, не стал чинить ему препятствий, Филип простился со своими сослуживцами; весть о причине его ухода разнеслась по всему магазину в приукрашенном виде, и все шептались, что он получил большое наследство. Миссис Ходжес пожимала ему руки со слезами на глазах.

— Боюсь, что мы теперь не скоро вас увидим, — сказала она.

— Я рад, что расстаюсь с «Линном», — ответил он.

Странно, но и ему было грустно прощаться с этими людьми, которых, как ему казалось, он не выносил, а покидая дом на Харрингтон-стрит, он не почувствовал ни малейшей радости. Он так долго предвкушал этот счастливый миг, что теперь внутри у него все словно застыло; он уезжал равнодушно, словно в отпуск на несколько дней.

«У меня подлый характер, — говорил он себе. — Я так жадно мечтаю о будущем, а когда оно настает, испытываю одно разочарование».

В Блэкстебл он приехал вскоре после полудня. Миссис Фостер встретила его у двери, и по ее лицу он понял, что дядя еще не умер.

— Сегодня ему чуточку лучше, — сказала она. — У него такой крепкий организм.

Она провела его в спальню; мистер Кэри лежал на спине. Он взглянул на Филипа со слабой улыбкой; вид у него был хитрый — ведь он еще раз обманул врага.

— Вчера я думал, что мне конец, — сказал он едва слышно. — Да и они все махнули на меня рукой, правда, миссис Фостер?

— У вас очень крепкий организм, ничего не скажешь.

— Рано еще хоронить старика.

Миссис Фостер напомнила, что доктор не разрешил ему разговаривать — он устанет; она обращалась с больным как с ребенком — ласково, но властно; да и сам старик испытывал чисто детское удовлетворение от того, что обманул их ожидания. Он сразу понял, что Филипа вызвали, и его очень забавляло, что тот проехался даром. Если ему удастся избежать сердечного приступа, он через недельку-другую совсем поправится — ведь приступы у него уже бывали, и не раз; он всякий раз боялся, что вот-вот умрет, но, однако же, не умер. Все удивляются, какой у него организм, но и они не подозревают, до чего же он на самом деле крепкий.

— Ты побудешь денька два? — спросил он Филипа, будто тот и в самом деле приехал отдохнуть.

— Да, с удовольствием, — весело ответил племянник.

— Тебе полезно подышать морским воздухом.

Скоро пришел доктор Уигрэм и, осмотрев священника, зашел к Филипу. Тон у него был, как и приличествовало, печальный.

— Боюсь, Филип, что на сей раз это конец, — сказал он. — Для всех нас это будет большая утрата. Я ведь знаю его тридцать пять лет.

— А мне совсем не кажется, что он так уж плох, — сказал Филип.

— Я поддерживаю его жизнь лекарствами, но долго он не протянет. Последние два дня прошли ужасно, не раз я думал, что он уже умер.

Доктор минутку помолчал, но у ворот он внезапно спросил Филипа:

— Миссис Фостер вам что-нибудь говорила?

— О чем?

— Они ведь тут люди суеверные: миссис Фостер вбила себе в голову, будто мистера Кэри что-то мучает и он не может умереть, не облегчив свою совесть, а покаяться у него не хватает духу. — Филип ничего не сказал. Доктор продолжал: — Конечно, все это чушь. Старик прожил весьма достойную жизнь, он всегда выполнял свой долг и был хорошим священником: вряд ли он может в чем-нибудь

упрекнуть себя. Все мы будем о нем жалеть. Сомневаюсь, чтобы с его преемником нам было б хоть наполовину так хорошо, как с ним.

Несколько дней состояние мистера Кэри оставалось без перемен. Правда, ему изменил аппетит и он почти ничего не ел. Доктор Уигрэм, теперь уже не раздумывая, глушил наркотиками невротические боли, которые терзали больного: вместе с непрерывной дрожью парализованных ног они вконец его изнуляли. Сознание оставалось ясным. За стариком поочередно ухаживали Филип и миссис Фостер. Экономка переутомилась, она много месяцев подряд почти не отходила от больного, и Филип уговорил ее уступить ему ночное дежурство. Он просиживал в кресле долгие томительные часы и, чтобы не заснуть, читал при свете затененных экраном свечей «Тысячу и одну ночь». Он не брал в руки этих сказок с самого детства, и сейчас они напомнили ему те далекие годы. Иногда он просто сидел и вслушивался в ночную тишину. Когда снотворное переставало действовать, мистер Кэри начинал метаться, и Филипу уже было не до сна.

И вот наконец как-то утром, когда птицы весело чирикали в ветвях за окном, Филип услышал, что дядя его зовет. Он подошел к кровати. Мистер Кэри лежал на спине, уставившись в потолок; он даже не взглянул на Филипа. Заметив, что лоб больного в поту, Филип взял полотенце и отер ему лицо.

— Это ты, Филип? — спросил больной.

Филип вздрогнул, настолько у больного вдруг изменился голос. Он был хриплый и едва слышен. Так говорят, оцепенев от страха.

— Я. Тебе что-нибудь нужно?

Наступило молчание; незрячие глаза все еще вглядывались в потолок. Потом по лицу прошла судорога.

— Я, кажется, умираю, — сказал больной.

— Какая ерунда! — закричал Филип. — Ты проживешь еще много лет.

Из глаз старика выкатились две слезы. У Филипа сердце перевернулось от жалости. Дядя никогда не проявлял своих чувств в житейских делах; страшно было видеть эти слезы, ибо они говорили о том, что старика мучит невыразимый ужас.

— Пошли за мистером Симмондсом, — сказал он. — Я хочу причаститься.

Мистер Симмондс был его помощником.

— Сейчас? — спросил Филипп.

— Поскорее, а то будет поздно.

Филипп пошел будить миссис Фостер, но оказалось, что экономка уже встала. Он попросил ее послать записку садовником и вернулся в комнату дяди.

— Ты послал за мистером Симмондсом?

— Да.

Наступило молчание. Филипп сидел у постели и время от времени отирал со лба больного пот.

— Дай я подержу тебя за руку, Филипп, — сказал наконец старик.

Филипп дал ему руку, и он уцепился за нее в роковую для себя минуту, словно это была его последняя опора в жизни. Может быть, он и в самом деле никогда никого не любил, но сейчас он инстинктивно хватался за самое близкое ему человеческое существо. Рука его была холодной и влажной. Она впилась в руку Филиппа с уже безжизненной силой отчаяния. Старик сражался со страхом смерти. А Филипп думал о том, что все должны через это пройти. Как это чудовищно, а они еще верят в Бога, который позволяет своим созданиям терпеть такие жестокие муки! Он никогда не любил дядю и в течение двух лет ежедневно мечтал о его смерти, но теперь он не мог побороть сострадания, наполнившего его сердце. Какую цену приходится платить человеку за то, чтобы не быть бессмысленной тварью!

Они продолжали хранить молчание, которое только раз прервал еле слышный вопрос мистера Кэри:

— Еще не пришел?

Наконец тихо вошла экономка и доложила, что мистер Симмондс уже здесь. В руках у него был саквояж, где лежало его облачение. Миссис Фостер принесла блюдо для причастия. Мистер Симмондс молча пожал Филиппу руку и с профессиональной важностью приблизился к постели больного. Филипп и экономка вышли из комнаты.

Филипп шагал по саду, такому свежему и росистому в этот утренний час. Птицы радостно щебетали. Небо было по-летнему синее, но пропитанный солью воздух дышал прохладой. Розы уже распустились. Зеленъ листвы, зеленъ лужаек была живой и яркой. Филипп шагал и думал о таинстве, которое свершалось в спальне. Мысль о нем возбуждала какое-то странное чувство. Но вот вышла миссис Фостер и сказала, что дядя хочет его видеть. Помощник священника складывал вещи в черный саквояж.

Больной слегка повернул голову и встретил Филипа улыбкой. Филип был поражен происшедшей в нем переменой: в глазах больше не было панического страха, и черты лица разгладились, выражение его было счастливым и покойным.

— Ну, теперь я готов, — сказал он, и в голосе его зазвучали новые ноты. — Когда Господь сочтет нужным призвать меня к себе, я с радостью вручу ему свою душу.

Филип ничего не сказал. Он видел, что дядя говорит искренне. Произошло почти чудо. Старик вкусил от плоти и крови своего спасителя, и они придали ему столько силы, что он больше не боялся неминуемого ухода в вечную ночь. Он знал, что умирает, он с этим примирился. Он сказал только еще одну фразу:

— Теперь я соединюсь с моей дорогой женой.

Филип был поражен. Он вспомнил, с какой черствой бессердечностью дядя относился к жене, как глух он был к ее смиренной, преданной любви. Глубоко растроганный, помощник священника ушел, и миссис Фостер, плача, отправилась провожать его до дверей. Мистер Кэри совсем ослабел и забылся, а Филип сидел у его постели и ждал конца. Утро шло на убыль, и дыхание старика стало затрудненным. Появился доктор и сказал, что началась агония. Больной был без сознания и слабыми пальцами царапал простыню; он тихонько метался и время от времени вскрикивал. Доктор Уигрэм сделал ему укол.

— Помочь ему я больше не в силах: он может скончаться каждую минуту.

Он посмотрел на часы, потом на больного. Филип понял: уже час дня, и доктор Уигрэм вспомнил, что еще не обедал.

— Вам не стоит ждать, — сказал ему Филип.

— Да, я все равно ничем не могу быть полезен, — согласился доктор.

Когда он ушел, миссис Фостер попросила Филипа сходить к плотнику, который одновременно был гробовщиком, чтобы тот прислал женщину обмыть тело.

— Вам полезно подышать свежим воздухом, — сказала она. — И немножко прийти в себя.

Гробовщик жил в полумиле от дома священника. Когда Филип сказал ему, зачем пришел, тот спросил:

— А когда же он умер, бедняга?

Филип не знал, что ответить. Ему вдруг показалось бесчеловечным приглашать женщину обмывать тело, пока дядя еще не умер; он не понимал, зачем миссис Фостер его

послала. Тут ведь подумают, что ему не терпится отправить старика на тот свет. Ему показалось, что гробовщик как-то странно на него взглянул. Он повторил свой вопрос. Это вывело Филипа из себя. Гробовщику-то какое дело!

— Когда скончался священник?

Филип чуть было не сказал, что дядя только что умер, но сразу же спохватился, подумав, какие поднимутся толки, если агония продлится еще несколько часов. Покраснев, он ответил, запинаясь:

— Да он еще в общем-то не умер...

Гробовщик оторопело глядел на него, и Филип поспешил объяснить:

— Миссис Фостер совсем одна, и ей хотелось бы, чтобы в доме была еще какая-нибудь женщина. Вы меня понимаете? Возможно, что он уже и умер.

Гробовщик кивнул.

— Ну да, теперь ясно. Я сейчас к вам кого-нибудь пошлю.

Когда Филип вернулся домой, он сразу прошел в спальню. Миссис Фостер уступила ему место возле постели.

— С тех пор как вы ушли, все без перемен, — сказала она.

Она пошла перекусить, а Филип с любопытством стал наблюдать за тем, как человек умирает. В этом уже неодушевленном существе, которое слабо боролось за жизнь, не было ничего человеческого. С обвислых губ время от времени срывалось какое-то бормотание. Солнце жарило вовсю с безоблачного неба, но деревья в саду бросали прохладную тень. День был великолепный. В оконное стекло билась синяя муха. Внезапно послышался громкий хрип. Филип вздрогнул; по телу старика прошла судорога, и он умер. Машина сломалась. Синяя муха жужжала, громко жужжала и билась в оконное стекло.

ГЛАВА 112

Джозия Грейвс с обычной своей распорядительностью сделал приготовления к скромным, но достойным похоронам и, когда все было кончено, возвратился вместе с Филипом в дом священника. Он был душеприказчиком покойного и, попивая утренний чай, с важностью прочитал Филипу завещание его дяди. Оно было написано на маленьком листке бумаги и гласило, что все свое имущество мистер

Кэри оставляет племяннику. В него входила обстановка дома, около восьмидесяти фунтов наличными в банке, двадцать акций объединенной компании кафе и ресторанов и акции пивоваренных заводов Олсопа, мюзик-холла в Оксфорде и еще какого-то ресторана в Лондоне. Все эти бумаги были куплены по указаниям мистера Грейвса, который самодовольно разъяснил Филипу:

— Вы же понимаете, молодой человек, народу надо есть, он хочет выпить и любит повеселиться. Вы ничем не рискуете, если вкладываете деньги в то, что публика считает предметами первой необходимости.

Он хотел подчеркнуть тонкое различие между грубыми вожделениями черни — он их принимал, хотя на них и сетовал, — и утонченными вкусами избранных. Всего в ценных бумагах лежало фунтов пятьсот; к этому надо было добавить деньги в банке и то, что можно выручить за обстановку. Для Филипа это было целое богатство. Он хоть и не испытывал особенной радости, но почувствовал бесконечное облегчение.

Обсудив вопрос об аукционе, который следовало назначить безотлагательно, мистер Грейвс отбыл, и Филип сел разбирать бумаги покойного. Преподобный Уильям Кэри гордился тем, что никогда не уничтожал бумаг, — у него скопились целые ворохи писем пятидесятилетней давности и кипы аккуратнo подшитых счетов. Он хранил письма, не только адресованные к себе, но и те, что писал сам. Среди них была пожелтевшая пачка писем, написанных им отцу в сороковые годы, когда, проучившись год в Оксфорде, он поехал в Германию на летние каникулы. Филип стал их мельком проглядывать. Этот Уильям Кэри был совсем не похож на того Уильяма Кэри, которого он знал, однако в мальчишке уже проглядывали черты блэкстеблского священника, и наблюдательный человек мог предсказать, чем он станет в зрелости. Тон писем был официальный, даже чопорный. Молодой человек не жалел сил, чтобы осмотреть все достопримечательности, и восторженно описывал замки на Рейне. Шафхаузенский водопад заставил его «вознести благодарение всемогущему, чьи творения столь чудесны и полны красоты»; и как же было ему не верить, что все, кто созерцает «сие дело рук благословенного создателя, не могут не вести жизнь чистую и подвижническую». В пачке счетов Филип нашел миниатюру, написанную с Уильяма Кэри вскоре после того, как он был рукоположен. На ней

был изображен юный священнослужитель с длинными волосами, которые обрамляли красивыми локонами бледное, аскетическое лицо и большие темные глаза мечтателя. Филип вспомнил, как дядя, хихикая, рассказывал, сколько пар комнатных туфель вышили ему обожающие прихожанки.

Весь день и весь вечер Филип трудился над огромными залежами переписки. Кинув взгляд на адрес и подпись, он рвал письмо и бросал его в бельевую корзину. Вдруг ему попало письмо, подписанное Элен. Почерк был ему незнаком. Он был изящный, угловатый и старомодный. Письмо начиналось с обращения: «Мой дорогой Уильям!» и кончалось: «Ваша любящая сестра». И вдруг он сообразил, что это письмо от его матери. Он никогда не видел ни одного ее письма и поэтому не узнал почерка. Писала она о нем.

«Мой дорогой Уильям!

Стивен поблагодарил Вас за поздравление по случаю того, что у нас родился сын, и за добрые пожелания мне. Благословение Богу: мы оба здоровы, и я глубоко признательна за то, что смерть меня пощадила. Теперь я могу держать перо и хочу сказать Вам и дорогой Луизе, как я тронута вашей добротой, которую вы проявили ко мне и сейчас, и с первого дня моего брака. Я хочу просить Вас оказать мне величайшее одолжение. И Стивен, и я хотели бы, чтобы Вы стали крестным нашего мальчика. От души надеемся, что Вы согласитесь. Я знаю: то, о чем я прошу, — дело немалое, ибо я уверена, что Вы отнесетесь к взятой на себя ответственности со всею серьезностью, но я потому так настаиваю, что Вы — не только дядя нашего мальчика, но еще и священник. Я очень тревожусь о будущем моего сына и денно и нощно молю Бога о том, чтобы он вырастил его хорошим, честным христианином. С Вами в качестве наставника сын мой, я надеюсь, поднимет меч за веру Христову и всю жизнь останется человеком смиренным и богобоязненным.

Ваша любящая сестра *Элен*»

Филип отодвинул письмо и, нагнувшись над столом, опустил голову на руки. Письмо глубоко тронуло и в то же время удивило его своим религиозным тоном, который не показался ему ни слезливым, ни сентиментальным. Он ничего не знал о своей матери, которая умерла почти двадцать лет назад, кроме того, что она была красива, и его поразило, что она была так наивна и набожна. Он никогда и не подозревал

об этой стороне ее натуры. Филип снова перечел то место, где говорилось, чего она ждет от своего сына. Он на миг взглянул на себя ее глазами и должен был признать, что никак не оправдал ее надежд; может быть, и лучше, что она умерла. Поддавшись внезапному порыву, он разорвал письмо — его нежность и простота, казалось, выражали какое-то слишком интимное чувство; у Филипа было странное ощущение, будто, прочтя эту исповедь материнской души, он над ней надругался. Потом он стал разбирать дальше унылую переписку покойного дяди.

Через несколько дней Филип вернулся в Лондон и впервые за два года днем вошел в приемную больницы св. Луки. Он отправился к секретарю медицинского института, который был очень удивлен, увидев его, и спросил, где Филип пропадал столько времени. Жизненные передрыги кое-чему научили Филипа и вселили в него некоторую уверенность в себе; прежде такой вопрос его бы смутил, теперь же он ответил сухо и с намеренной неопределенностью, пресекавшей дальнейшие расспросы, что личные дела заставили его сделать перерыв в учении и что сейчас ему хочется как можно скорее получить диплом. Первый предстоящий ему экзамен был по акушерству и женским болезням, поэтому Филип записался на практику в гинекологический корпус; время было каникулярное, и место практиканта в родильном отделении нашлось без труда; Филип договорился, что проработает там последнюю неделю августа и половину сентября. Покончив с этим делом, Филип обошел институт; в нем было довольно пусто, так как летняя экзаменационная сессия кончилась. Филип вышел на террасу над рекой. Сердце его было переполнено. Он думал о том, что теперь начнет новую жизнь, что все ошибки, безумства и горести прошлого остались позади. Река текла мимо, словно говоря, что все течет, все проходит бесследно; впереди ждало будущее, полное надежд.

Филип вернулся в Блэкстебл и занялся устройством дел покойного дяди. Аукцион был назначен на август, когда съедутся дачники и за вещи можно будет получить более высокую цену. Филип составил каталог книг и разослал его букинистам в Теркенбери, Мейдстоне и Эшфорде.

Однажды днем Филипу захотелось съездить в Теркенбери и побывать в своей школе. Он не был там с того самого дня, когда с легким чувством покинул ее, радуясь свободе. С каким странным ощущением он бродил сейчас по улочкам

Теркенбери, которые когда-то хорошо знал. Он заглядывал в старые лавчонки — они все еще были на том же месте и торговали тем же товаром: в одной витрине книжной лавки лежали учебники, духовные книги и новые романы, в другой — снимки собора и виды города; в спортивном магазине продавали биты для крикета, рыболовные снасти, теннисные ракетки и футбольные мячи; вот портной, у которого все школьные годы ему заказывали одежду, и рыбная лавка, где дядя покупал рыбу, когда приезжал в Теркенбери. Филипп прошелся по унылой улице, где за высоким забором стоял красный кирпичный дом приготовительной школы. Дальше были ворота в Королевскую школу; Филипп постоял на четырехугольной площадке, вокруг которой были расположены школьные здания. Пробыло четыре часа, и из школы высыпали ученики. Он увидел учителей в мантиях и шапочках с квадратными тульями, но лица их были ему незнакомы. С тех пор как он бросил школу, прошло больше десяти лет и многое здесь изменилось. Филипп увидел директора — он медленно шел домой, разговаривая с большим мальчиком, по-видимому, из шестого класса; директор мало изменился и был все такой же длинный, костлявый, восторженный, каким его помнил Филипп, с теми же глазами одержимого; однако в черную бороду вкралась седина, и борозды на смугловатом изможденном лице пролегли куда глубже. Филипп потянуло подойти к нему и заговорить, но он побоялся, что директор его забыл, а ему до смерти не хотелось объяснять, кто он такой.

Мальчишки не спешили разойтись и болтали друг с другом; кое-кто успел переодеться, чтобы сыграть в мяч; остальные выходили из ворот по двое, по трое; Филипп знал, что они идут играть на крикетную площадку или потренироваться возле сеток. Филипп стоял среди них совсем чужой; ученики равнодушно окидывали его взглядом: туристы, которых привлекала сюда лестница времен нашествия норманнов, не были здесь в диковинку. А Филипп рассматривал школьников с жадным любопытством. Он с грустью думал о том, что его от них теперь отделяет целая пропасть; ему было горько сознавать, как много он хотел совершить и как мало ему удалось. Ему вдруг показалось, что все эти безвозвратно ушедшие годы растрочены им впустую. Эти жизнерадостные юнцы сегодня делали то же, что делал когда-то и он; казалось, и дня не прошло с тех пор, как он покинул

школу, однако тут, где он раньше знал всех хотя бы по имени, Филип теперь не узнавал никого. Пройдет несколько лет, и те, кто пришли на его место, тоже станут здесь чужими; однако эта мысль не принесла ему утешения, она только еще яснее показала ему тщету человеческого существования. Каждое поколение повторяло все тот же незамысловатый путь.

Интересно, какая судьба постигла его соучеников; им теперь уже под тридцать, кое-кто из них умер, другие успели жениться и народить детей, стать военными, священниками, врачами, адвокатами; они остепенились и уже прощались с молодостью. Есть ли среди них такие же неудачники, как он? Филип подумал о мальчишке, к которому он был так привязан в школе, — смешно, но он не мог вспомнить его фамилию; он и сейчас видел его как живого, это ведь был его лучший друг, но имя ускользнуло из памяти. Он с улыбкой припоминал, какие он переживал в ту пору муки ревности. Ей-Богу же, обидно, что он забыл имя этого мальчишки! Филип захотел вернуть свое детство, снова стать таким, как вот эти ребята, слонявшиеся по школьному двору, для того чтобы, не повторяя своих ошибок, начать жизнь сызнова и добиться в ней чего-то большего. Его вдруг охватила невыносимая тоска. Он даже пожалел, что бедствия последних двух лет миновали: тогда он был так поглощен жестокой борьбой за существование, что не мог предаваться мировой скорби. «В поте лица своего будешь есть хлеб свой» — это было не проклятие, которому предали человечество, а утешение, примирявшее человека с жизнью.

Но Филип разозлился на себя; он припомнил все, что думал насчет узора человеческой жизни: страдания, которые он терпел, были лишь завитками этого замысловатого и прекрасного рисунка; он внушал себе, что обязан с радостью принимать все, что дает жизнь, — и ее убожество и ее восторги, боль и сладость, ибо все это обогащает узор. Он сознательно искал во всем красоту: Филип вспомнил, как еще в детстве подолгу любовался из школьного сада готическим собором; вот и теперь он подошел к нему и стал разглядывать эту каменную громаду, седую под затянутым тучами небом; ее главная башня летела ввысь, как людская хвала создателю. Но мальчишки играли в мяч у сеток — стройные, сильные, подвижные юнцы; его отвлекали их смех и крики. Зов юности был настойчив, и пре-

красное творение, перед которым он стоял, Филип видел только телесными очами.

ГЛАВА 113

Начиная с последней недели августа Филип приступил к своим обязанностям. Они были тяжелыми — ему приходилось посещать не менее трех рожениц в день. Беременная женщина заранее запасалась в больнице талончиком; когда наступало время рожать, талончик относил к привратнику больницы какая-нибудь соседская девчушка, а ее посылали через дорогу — в дом, где поселился Филип. Ночью привратник — у него был свой ключ от входной двери — сам будил Филипа. Как было странно вставать в полной тьме и бежать по пустынным улицам южной окраины города. В эти часы талон обычно приносил муж. Если в семье уже было несколько ребят, он нес его с угрюмым безразличием; если это была чета молодоженов, муж очень нервничал и нередко пытался заглушить свое волнение водкой. Часто путь выдавался не близкий, и Филип со своим провожатым обсуждали по дороге условия труда рабочих и стоимость жизни; Филип многое узнал о различных ремеслах, которыми занимаются по ту сторону реки. Людям, с которыми ему приходилось сталкиваться, он внушал доверие, и в долгие часы ожидания, сидя в душной комнате — добрую половину ее занимала большая кровать, на которой рожала женщина, — Филип запросто беседовал с матерью своей пациентки и с акушеркой, словно они были старинными друзьями. Нужда, которую ему пришлось терпеть последние два года, многому его научила; он теперь знал, как живут бедняки, а им нравилось, что он это знает и не желает поддаваться на их маленькие уловки. Он разговаривал приветливо, не выходил из себя, и у него были мягкие руки. Им было приятно, что он не брезгует выпить с ними чая; а когда наступал рассвет и роды все еще продолжались, доктора угощали хлебом с говяжьим жиром; он не был привередлив и ел что придется с завидным аппетитом. Некоторые дома, куда он попадал, — в захламленных дворах, на грязных улицах, прилепившиеся друг к другу, без света и воздуха, — были просто убогими; другие против всякого ожидания, хоть и ветхие, с изъеденными полами и дырявыми крышами, выглядели импозантно: в них сохранились дубовые лестницы с великолепной резной балюстрадой и

отделанные панелью стены. Такие дома были густо населены. В каждой комнате жило по семье, и днем здесь стоял оглушительный шум, который поднимали игравшие во дворе дети. Древние стены были рассадниками насекомых, в воздухе стояла такая вонь, что Филипа часто начинало мутить и ему приходилось закуривать трубку. Обитатели этих домов едва сводили концы с концами. Ребенок не был здесь желанным гостем, отец встречал его с плохо скрытой злобой, мать — с отчаянием: лишний рот в семье, где и так не хватало еды. Филип часто угадывал желание, чтобы ребенок родился мертвым или тут же умер. Он принял у одной женщины двойню (повод для веселых насмешек у шутника), и, когда ей об этом сказали, она разразилась истошным, надрывным плачем. А мать ее заявила напрямик:

— Уж и не знаю, как только они их прокормят!

— Бог милостив, может, приберет их к себе, — успокоила ее акушерка.

Филип глядел на пару лежавших рядышком малюток, и ему бросилось в глаза выражение лица мужа: оно было таким хмурым и дышало такой яростью, что Филип был просто испуган. Он почувствовал у всей семьи злобную неприязнь к этим бедным крошкам, явившимся против ее воли на свет Божий; у него возникло подозрение, что, не предупреди он поостроже, с новорожденными случится недоброе. «Несчастные случаи» не были редкостью; матери умудрялись «заспать» своего ребенка, неправильное кормление зачастую не было просто ошибкой.

— Я буду заходить каждый день, — сказал он. — Имейте в виду, если с ними что-нибудь случится, будет назначено следствие.

Отец ничего не ответил и только свирепо насупился. В душе он уже был убийцей.

— Сохрани их Господь, — сказала бабка, — что же с ними может приключиться?

Труднее всего было удержать роженицу в постели десять дней — срок, на котором настаивала больница. Кто же будет вести хозяйство? Ведь даровых нянек к ребятишкам не сыщешь, а муж ворчит, вернувшись с работы голодный и усталый, что чай плохо заварен. Филип слышал, что бедняки помогают друг другу, однако женщины часто жаловались ему, что не могут найти никого, кто бесплатно убрал бы им комнату или накормил ребят обедом, а заплатить за услуги нечем. Прислушиваясь к разговору женщин, ловя

случайные обмолвки, из которых он мог узнать многое, о чем не принято говорить, Филип понял, как мало общего у бедноты с более зажиточными классами. Бедные не завидовали знати — разница в уровне жизни была слишком велика; по сравнению с их собственным идеалом благоденствия жизнь средней руки мещанина казалась бедняку чопорной и стесненной; к тому же мещан презирали за хилость и за то, что они не занимаются физическим трудом. Люди гордые хотели только одного — чтобы им не мешали жить, как им хочется, но и большинство мало интересовалось зажиточными людьми, если у них нельзя ничего урвать; беднота знала, как получить помощь, которую оказывают неимущим различные благотворительные общества, и принимала дары как нечто положенное ей по праву, пользуясь глупостью власть имущих и своей изворотливостью. Бедняки еще кое-как терпели помощника священника, относясь к нему с презрительным равнодушием, но люто ненавидели санитарного инспектора. Эта дама приходила и распахивала у вас окна, не спросив разрешения и даже не извинившись («Плевать ей на мой бронхит, плевать ей, что я могу простудиться насмерть!»); совала нос во все углы, и, если не возмущалась вслух, что у вас грязно, по роже ее можно было прочесть, что она думает; «а им-то легко говорить, этим барыням, у них небось полон дом холуев, а вот посмотрела бы я, на что была бы похожа ее комната, пошли ей Бог четверых ребят и заставь ее жарить, и парить, и штопать, и носы вытирать».

Филип узнал, что величайшее несчастье для этих людей не разлука и не смерть — это дело обычное, и горе всегда можно излить в слезах, — а потеря работы. Он видел однажды, как муж пришел домой дня через три после того, как его жена родила, и сказал, что его уволили; он был каменщиком, а в это время года строительство шло вяло; сообщив эту новость, он сел пить чай.

— Ой, Джим! — простонала жена.

Муж тупо жевал какую-то мешанину, долго томившуюся на сковородке в ожидании его прихода; он молча уставился в тарелку; жена раза три кинула на него испуганный взгляд и вдруг безмолвно залилась слезами. Рабочий был нескладный, маленький человек с грубым, обветренным лицом, большим белым шрамом на лбу и крупными, волосатыми руками. Он резко отодвинул тарелку, словно отчаявшись проглотить хоть кусок, и уставился

неподвижным взором в окно. Комната была в верхнем этаже, выходила на задворки, и в окне виднелось одно лишь насуспенное небо. Тишина была насыщена горем. Филип чувствовал, что ему нечего сказать в утешение; оставалось только уйти, и, устало волоча ноги — он не спал почти всю ночь, — Филип с яростью думал о том, как жестоко устроен мир: он знал всю безнадежность поисков работы и отчаяние, которое куда тяжелее переносить, чем голод. Хорошо еще, что не нужно верить в Бога, не то существование стало бы нестерпимым; с ним можно мириться, разве только зная, что оно совершенно бессмысленно.

Филипу казалось, что люди, посвятившие свою жизнь помощи бедноте, действуют неправильно: они пытаются изменить то, что мучило бы их самих, не понимая, что бедняки к этому привыкли и приспособились. Они не то-скают по большим, хорошо проветренным комнатам: они ведь постоянно зябнут, потому что их пища малопитательна, а кровообращение нарушено; просторное помещение кажется им холодным, а они вынуждены жечь как можно меньше угля; необходимость спать по несколько человек в комнате ничуть их не угнетает, а скорее даже радует; они никогда не остаются одни от рождения и до самой смерти — их пугает одиночество, им приятна скученность, в которой они живут, и непрерывный шум вокруг совсем их не раздражает: они его не слышат. У них нет потребности ежедневно принимать ванну, и Филипу не раз приходилось слышать, как они возмущаются, что их заставляют купаться, когда кладут в больницу; это требование кажется им и неприятным, и оскорбительным, и противным. Больше всего на свете им хочется, чтобы их оставили в покое; и если у кормильца семьи работа постоянная, жизнь течет привольно и не без удовольствия; можно вволю почесать язык, выпить после трудового дня кружку пива, поглазеть на уличные происшествия, почитать «Рейнолдс» или «Ньюс оф уорлд» — не успеешь оглянуться, время и пролетело («ей-же-ей, не сойти с этого места, я любила читать, пока была незамужняя, а вот теперь то да се, глядишь, и газету прочесть недосуг»).

Врачу полагалось трижды посетить пациентку после родов, и как-то раз, в воскресенье, Филип навестил одну из своих рожениц в обеденный час. Она первый день была на ногах.

— Ну никак не могла дольше улежать! Я и вообще-то не из таких, кто любит бить баклуши. У меня без дела прямо

руки чешутся — вот я и говорю своему Герберту: давай-ка я лучше встану да сварю тебе обед.

Герберт сидел у стола с вилкой и ножом наготове. Это был молодой человек с открытым лицом и голубыми глазами. Он хорошо зарабатывал, и эта пара жила в сравнительном достатке. Женаты они были всего несколько месяцев и души не чаяли в розовом младенце, лежавшем в люльке в ногах их постели. В комнате стоял аппетитный запах бифштекса, и Филип невольно поглядел на плиту.

— Я как раз собралась снять его с огня, — сказала женщина.

— Валяйте, — сказал Филип. — Я только посмотрю на вашего сына и наследника, а потом двинусь дальше.

Муж и жена засмеялись. Герберт встал и подошел к Филипом к люльке. Он с гордостью поглядел на ребенка.

— Ну, этому на здоровье жаловаться грех, — сказал Филип.

Он взял шляпу. В это время молодая мать сняла с огня бифштекс и поставила на стол блюдо с зеленым горошком.

— Да, обед вам сготовили знатный, — улыбнулся Филип хозяину.

— Он обедает дома только по воскресеньям, вот я и стараюсь накормить его чем-нибудь вкусненьким, чтобы он побольше скучал по семье.

— Вам небось не по чину сесть с нами за стол и перекусить чем Бог послал? — спросил Герберт.

— Ох и скажешь же ты! — смущенно заметила его жена.

— Отчего ж? Если предложите... — ответил Филип, мягко и дружелюбно улыбаясь.

— Вот это по-приятельски! Я ведь знал, Полли, что он нами не погнушается. А ну-ка, милая, ставь на стол чистую тарелку.

Полли взволнованно захлопотала у стола, думая, что другого такого, как ее Герберт, и с огнем не сыщешь: никогда не угадаешь, что еще взбредет ему в голову. Однако она достала тарелку, быстро вытерла ее передником, вынула новый столовый прибор из комода, где среди ее приданого хранились парадные вилки и ножи. На столе стоял кувшин с пивом, и Герберт налил стакан Филипу. Хозяин хотел положить гостю львиную долю, но Филип настоял на том, чтобы он разделил мясо поровну. Комната была солнечная, с двумя большими окнами до пола; прежде, видно, это была гостиная дома, может, и не знатного, но, во всяком

случае, приличного; лет пятьдесят назад тут, верно, жил либо зажиточный купец, либо офицер в отставке. До женитьбы Герберт играл в футбол, и на стене висели фотографии футболистов в деревянных позах, с гладко прилизанными чубами и капитаном в центре, гордо держащим кубок. Были тут и другие признаки благосостояния: фотографии родственников Герберта и его жены в праздничных костюмах; на камине стояло сооружение из ракушек, наклеенных на миниатюрную скалу, с пивными кружками по бокам, на которых готическими буквами было написано «Привет из Саусэнда» и нарисованы пирс и набережная. Герберт был парень крутой, не одобрял профсоюзов и с негодованием рассказывал, что его туда тянут силком. А союз ему без надобности: человек всегда заработает, если у него есть голова на плечах и он не гнушается никаким трудом. Полли была более робкого нрава. На его месте она бы пошла в союз; последний раз, когда были стачки, она каждый день ждала, что его вот-вот притащат домой на больничных носилках. Она попыталась найти поддержку у Филипа:

— Ну до чего же упрям, ему хоть кол на голове теши!

— А я говорю, у нас свободная страна; не желаю я, чтобы мне указывали!

— Ну уж и свободная, тоже скажешь! — возражала Полли. — Возьмут да и проломают тебе башку, дай им только случай.

Когда кончили есть, Филип протянул свой кисет Герберту и они закурили трубки; доктор встал, потому что дома его уже мог ждать новый вызов, и распрощался. Хозяева были явно рады, что он с ними пообедал, да и он не скрывал от них своего удовольствия.

— Что ж, прощайте, сэр, — сказал Герберт. — Надеюсь, в следующий раз, когда моя хозяйка вздумает безобразничать, к ней придет такой же славный доктор.

— Да ну тебя, ей-Богу! — возмутилась жена. — Откуда ты взял, что я еще раз на это решусь?

ГЛАВА 114

Три недели практики подошли к концу. За это время у Филипа было шестьдесят два вызова, и он смертельно устал. Вернувшись домой около десяти часов вечера, он всей душой надеялся, что напоследок его больше не потревожат. За десять дней он ни разу не выспался. Больная, от кото-

рой он только что вернулся, произвела на него удручающее впечатление. За ним пришел здорово выпивший рослый, грузный мужчина и привел его в комнату, выходящую на вонючий двор, где была такая грязь, какой он еще не видел; крохотная мансарда была почти вся заставлена огромной деревянной кроватью с засаленным красным пологом; потолок был такой низкий, что Филип мог достать до него рукой; взяв горевшую в комнате единственную свечу, Филип обвел ее пламенем все щели, поджаривая выползающих оттуда клопов. Больная — неряшливая женщина средних лет — страдала бесконечными выкидышами. История была довольно обыденная: муж служил солдатом в Индии; законодательство, навязанное этой стране английским ханжеством, оставляло безнаказанной одну из самых убийственных болезней, в результате страдали невинные. Зевая, Филип разделся, принял ванну, вытряхнул над водой свою одежду, наблюдая за тем, как из нее сыплются насекомые. Он только собрался лечь в постель, как в дверь постучали и больничный привратник вручил ему талон.

— Эх, черт! — сказал Филип. — Вот уж чего я сегодня больше не ждал! Кто это принес?

— По-моему, муж, сэр. Сказать, чтобы подождал?

Филип взглянул на адрес — улица была знакомая — и заявил привратнику, что найдет дорогу сам. Он быстро оделся и, взяв свой черный саквояж, выбежал на улицу. К нему подошел человек, которого нельзя было разглядеть в темноте, и сказал, что он муж больной.

— Я решил вас все-таки дождаться, — сказал он. — В наших местах много хулиганья, а они ведь не знают, кто вы такой.

Филип засмеялся.

— Господь с вами, кто же тут не знает доктора! Мне приходилось бывать в местах похуже, чем Уэйвер-стрит.

Он говорил правду. Черный саквояж служил пропуском в самых зловещих переулках и вонючих тупиках, куда в одиночку боялись заглядывать даже полицейские. Раз два кучка людей подозрительно оглядела проходившего мимо Филипа; он услышал шепот по своему адресу, а потом кто-то сказал:

— Это больничный доктор.

И, когда он проходил мимо, двое из них с ним вежливо поздоровались:

— Добрый вечер, сэр.

— Если можно, хорошо бы нам прибавить шагу, — сказал Филипу его спутник. — Мне говорили, что времени в обрез.

— А почему вы тянули до последней минуты? — упрекнул его Филип, убыстряя шаг. Он взглянул на парня, когда они проходили возле фонаря. — Больно вы молоды на вид, — удивился он.

— Да мне уж скоро восемнадцать, сэр.

Он был блондин, еще совсем безусый, похожий на мальчика; росту хоть и небольшого, но широкий в груди.

— Рановато было жениться, — заметил Филип.

— Пришлось.

— Сколько вы зарабатываете?

— Шестнадцать, сэр.

На шестнадцать шиллингов в неделю трудно прокормить жену и ребенка. Комната, в которой жила эта пара, свидетельствовала о крайней бедности. Она была довольно велика, но выглядела еще просторнее оттого, что в ней почти не было мебели; пол был голый, на стенах не висело ничего, между тем у бедняков стены всегда залеплены фотографиями в дешевых рамках и цветными приложениями к рождественским иллюстрированным журналам. Больная лежала на убогой железной кровати; Филип просто испугался, увидев, как она молода.

— Господи, да ей не больше шестнадцати, — сказал он женщине, которая пришла «помочь ей разрешиться».

В амбулатории она сказала, что ей восемнадцать, — когда девушке очень мало лет, она нередко прибавляет себе год или два. Она была хорошенькая, что редко встретишь в этой среде, где плохая пища, спертый воздух и тяжелый труд подрывают организм; у молоденькой роженицы были тонкие черты лица, большие синие глаза и густые черные, замысловато причесанные волосы. И она и ее муж были очень взволнованы.

— Вы бы лучше подождали на лестнице, а я вас позову, если понадобится, — сказал ему Филип.

Теперь, когда Филип разглядел мужа получше, его снова поразило, до чего же тот молод; казалось, ему куда больше пристало баловаться на улице с мальчишками, чем с тревогой ждать рождения ребенка. Шли часы; роды начались только около двух. Все, казалось, идет нормально; позвали мужа, и Филип был тронут, увидев, как неловко, застенчиво поцеловал он жену. Сложив инструменты, Филип соби-

рался уйти, но, прощаясь, решил еще раз пощупать у больной пульс.

— Ого! — воскликнул он. Филип тревожно взглянул на больную: что-то было неладно. В экстренных случаях полагалось посылать за дежурным старшим акушером; это был дипломированный врач, весь «район» находился под его опекой. Филип поспешно нацарапал записку и, дав ее мужу, приказал бегом снести в больницу: нужно торопиться, потому что состояние жены очень опасно. Муж убежал, Филип взволнованно дожидался подмоги; он видел, что женщина истекает кровью, и, принимая все доступные ему меры, боялся, как бы она не умерла до прихода старшего акушера. Не дай Бог, если того вызвали куда-нибудь в другое место. Минуты тянулись бесконечно. Наконец пришел врач и, осматривая больную, стал вполголоса задавать Филипу вопросы. По его лицу было видно, что и он считает положение очень серьезным. Звали его Чандлер. Это был высокий немногословный человек с длинным носом и узким лицом, преждевременно изрезанным морщинами. Он покачал головой.

— Дело было гиблое с самого начала. Где муж?

— Я сказал, чтобы он подождал на лестнице.

— Лучше позовите его сюда.

Филип открыл дверь и окликнул юношу. Тот сидел в темноте на нижней ступеньке лестницы. Войдя, он подошел к кровати.

— Что случилось? — спросил он.

— Внутреннее кровотечение. Его невозможно остановить. — Дежурный акушер запнулся и, так как ему тяжело было это говорить, произнес резким тоном: — Она умирает.

Муж не вымолвил ни слова; он стоял как вкопанный, не сводя глаз с белой как полотно жены. Она лежала без сознания. Молчание прервала повивальная бабка:

— Эти господа сделали все, что могли, слышишь, Гарри? Я сразу поняла, что дело добром не кончится.

— Помолчите, — сказал Чандлер.

На окнах не было занавесок, и мрак постепенно рассеивался; рассвет еще не наступил, но заря была близка. Чандлер боролся за жизнь больной, как только мог, но жизнь ускользала из тела молодой женщины, и она умерла. Мальчик, бывший ее мужем, стоял в ногах дешевой железной кровати, вцепившись руками в спинку; он не произносил ни слова, но лицо его было бледно, и Чандлер с беспокойством

на него поглядывал, боясь, что он упадет в обморок: губы у него посерели. Повитуха громко всхлипывала, но юноша не обращал на нее внимания. Глаза его были прикованы к покойнице и выражали тупое недоумение. Он был похож на щенка, которого побили за какую-то непонятную ему вину. Когда Чандлер и Филип собрали свои инструменты, Чандлер сказал:

— Вам бы не грех прилечь хоть ненадолго. Видно, вы совсем выбились из сил.

— А мне негде прилечь, — ответил тот, и в голосе его была такая покорность судьбе, что у Филипа сжалось сердце.

— Неужели никто из соседей не разрешит вам где-нибудь полежать?

— Нет, сэр.

— Они ведь переехали только на прошлой неделе, — сообщила повитуха. — Никого еще не знают.

Чандлер растерянно помешкал, а потом подошел к юноше и сказал:

— Да, обидно, что все так получилось...

Он протянул ему руку, и тот инстинктивно взглянул на свою, проверяя, достаточно ли она чистая.

— Спасибо вам, сэр.

Филип тоже пожал ему руку. Чандлер сказал повивальной бабке, чтобы она пришла утром за свидетельством о смерти. Выйдя из дома, Чандлер и Филип долго шли молча.

— Поначалу тяжело переносишь такие вещи, — произнес наконец Чандлер.

— Да, — согласился Филип.

— Если хотите, я скажу привратнику, чтобы он больше вас сегодня не тревожил.

— Мое дежурство и так кончается в восемь утра.

— Сколько у вас уже было больных?

— Шестьдесят три.

— Прекрасно. Вы получите зачет.

Они подошли к больнице, и старший акушер зашел спросить, нет ли для него вызова. Филип отправился дальше. Накануне было очень жарко, и даже теперь, ранним утром, в воздухе струилось тепло. На улице было совсем тихо. Филипу не хотелось спать. Работа кончена, ему больше некуда торопиться. Он пошел побродить, наслаждаясь свежим воздухом и тишиной; ему пришло в голову сходить на мост и поглядеть, как занимается день над рекой. Полис-

мен на углу пожелал ему доброго утра. Он узнал Филипа по его саквоюжу.

— Поздненько вы сегодня, доктор, — сказал он.

Филип кивнул и прошел мимо. Он облокотился на перила и стал глядеть в рассветное небо. В этот час огромный город был похож на обиталище мертвых. Небо было безоблачно, но звезды потускнели в предчувствии дня; над рекой висела дымка, высокие здания на северном берегу казались дворцами на очарованном острове. Посреди реки стояли на якоре баржи. Все отливало каким-то потусторонним лиловым цветом, бередящим душу и чуть-чуть пугающим; однако скоро воздух и очертания предметов побледнели; мир стал серым и холодным. А потом взошло солнце, яркий золотой луч прокрался в небо, и оно засияло разноцветными огнями. Перед глазами Филипа стояли мертвая девочка — ее осунувшееся, белое лицо — и мальчик в ногах кровати, похожий на раненого зверька. Пустота нищенской комнаты усугубляла ощущение беды. Разве не жестоко, что глупая случайность пресекла жизнь в самом ее начале; но, задав себе этот вопрос, Филип тут же подумал о том, какая этой девушке была суждена жизнь: рожать детей, уныло бороться с нуждой, горевать, что твою юность подорвали труд и лишения и на смену ей приходит неопытная старость; красивое личико осунется и поблекнет, волосы поредеют, тонкие руки, безжалостно измученные работой, превратятся в костлявые клешни... А потом и у мужа пройдет молодость, с годами ему станет все труднее доставать работу и придется соглашаться на нищенские заработки. Впереди неизбежная, безысходная нужда, и, как бы женщина ни была деятельна, расчетлива и работаща, ей это не поможет; старость сулит ей богадельню или жизнь из милости у детей. Чего же ее жалеть, если ей суждено так мало?

Да жалость и вообще-то бессмысленна. Филип знал, что этим людям нужна не жалость. Они ведь себя не жалеют. Они принимают свою судьбу как должное. Так уж заведено на земле. Это законный порядок вещей. Не то, избави Бог, орды бедноты кинутся через реку на ту сторону, где гордо и надежно стоят эти величественные здания, и станут жечь, грабить и насильничать... Но вот проглянул день, нежный и молодой, дымка стала прозрачной, она окутала все вокруг мягким сиянием, а Темза переливалась всеми оттенками серебристого, розового и зеленого — серебристым, как

перламутр, зеленоватым, как сердцевина чайной розы. Верфи и склады Суррей-сайда громоздились в безалаберной преле-сти. Вид, который открывался его взору, был так прекрасен, что сердце у Филипа забилося. Его потрясла красота миро-здания. Рядом с ней все казалось мелким и ничтожным.

ГЛАВА 115

Несколько недель до начала зимнего семестра Филип проработал в амбулатории, а в октябре приступил к регу-лярным занятиям. Он так долго не был в больнице, что теперь его окружали главным образом незнакомые лица; у людей разного возраста мало общего, а почти все его сверстники уже получили диплом; кое-кто из них уехал, добившись места ординатора или лечащего врача в провин-циальных больницах и клиниках, другие остались в боль-нице Святого Луки. За два года, которые он не занимался умственным трудом, голова его отдохнула, и Филипу ка-залось, что теперь он может работать с удвоенной силой.

Семейство Ательни радовалось перемене в его судьбе. Он оставил себе несколько вещей при распродаже дядино-го имущества и сделал всем им подарки. Салли он отдал тети-ну золотую цепочку. Девочка стала уже совсем взрослой. Каждое утро, в восемь часов, она отправлялась на работу в швейную мастерскую на Риджент-стрит, куда поступила ученицей. Голубые глаза Салли смотрели открыто и прямо: у нее были высокий лоб и густые блестящие волосы; она была полная, с широкими бедрами и высокой грудью; отец, любивший поговорить о ее внешности, частенько предосте-регал ее, чтобы она не толстела. В ней привлекали здоровая плоть и женственность. У Салли нашлось множество взды-хателей, но она была к ним равнодушна; казалось, будто она презирает всю эту любовную чушь, — понятно, что молодые люди считали ее неприступной. Салли казалась старше своих лет; она рано стала помогать матери по дому и в уходе за детьми и усвоила хозяйский тон; мать говорила, что Салли чересчур своевольна. Она была неразговорчива, но с годами в ней развилось какое-то сдержанное чувство юмора; порой она отпускала шутку, показывая, что, не-смотря на невозмутимую внешность, умеет посмеяться над своими ближними. Филип никак не мог наладить с ней тех дружеских и фамильярных отношений, какие установились у него с остальными членами ее обширной семьи. Порой

невозмутимость Салли его даже раздражала. В ней было что-то загадочное.

Когда Филип преподнес ей цепочку, экспансивный Ательни тут же потребовал, чтобы Салли его за это поцеловала; но девушка, покраснев, отошла.

— И не подумую! — сказала она.

— Неблагодарная тварь! — закричал Ательни. — Почему?

— Не люблю целоваться с мужчинами, — сказала Салли.

Заметив ее смущение, Филип, смеясь, отвлек внимание Ательни, что было совсем нетрудно. Но, видимо, мать вернулась потом к этому разговору, и, когда Филип пришел к ним в следующий раз, Салли воспользовалась тем, что они остались вдвоем, и спросила:

— Вы небось решили, что я невежа, когда на прошлой неделе не захотела вас поцеловать?

— Ничуть, — засмеялся он.

— Не думайте, что это от неблагодарности. — Салли покраснела, произнося высокопарную фразу, которую она заранее приготовила; — Мне всегда будет дорог ваш подарок, и я ценю вашу доброту.

Филипу почему-то всегда было трудно с ней разговаривать. Она ловко делала все, за что бралась, но чаще молчала, хотя и не была нелюдимой. В одно из воскресений, когда Ательни с женой пошли погулять, а Филип, которого считали членом семьи, читал в гостиной, вошла Салли и усеялась у окна с шитьем. Девочек обшивали дома, и Салли не могла позволить себе роскоши побездельничать даже в воскресенье. Филип решил, что ей хочется поговорить, и опустил книгу.

— Читайте, — сказала она. — Я подумала, что вам скучно одному, и решила с вами посидеть.

— Вы самый молчаливый человек, какого я встречал в жизни, — сказал ей Филип.

— Хватит с нас одного любителя поговорить, — сказала она.

В ее тоне не было иронии; она просто высказала то, что думала. Но Филип почувствовал, что отец — увы! — больше не был ее героем, как в детстве: она теперь понимала, что его фантастические речи — оборотная сторона той безответственности, которая часто заводила семью в тупик; она сравнивала его патетику со здравым смыслом и практичностью матери; отцовский темперамент хоть и забавлял ее, но чаще выводил из себя. Филип смотрел на склонившуюся

над шитьем девушку: сильная, здоровая и уравновешенная, она, наверно, очень не похожа на других учениц у себя в мастерской — плоскогрудых и малокровных. Милдред тоже страдала малокровием.

Вскоре выяснилось, что у Салли появился претендент на ее руку. Она изредка ходила с товарками по мастерской на танцы и познакомилась там с молодым, хорошо обеспеченным инженером-электриком, который был завидным женихом. Как-то раз Салли рассказала матери, что он сделал ей предложение.

— Что ты ему ответила?

— Ну, я сказала ему, что покуда не испытываю особого желания выходить замуж за кого бы то ни было. — Она помолчала, как всегда взвешивая каждое слово. — Он так расстроился, что я пригласила его в воскресенье к чаю.

Это было событием, о котором Ательни мог только мечтать. Весь день он репетировал для острастки молодого человека роль грозного папаши, насмешив своих детей до икоты. Перед самым приходом жениха Ательни вытащил откуда-то египетскую феску и решил во что бы то ни стало ее надеть.

— Побойся Бога, Ательни, — увещевала его жена, нарядившаяся в парадное черное бархатное платье, которое обтягивало ее с каждым годом все туже. — Ты отобьешь у жениха всякую охоту свататься.

Она попыталась сдернуть с него феску, но он ловко ускользнул от нее на своих коротеньких ножках.

— Не прикасайся ко мне, женщина! Ничто не заставит меня ее снять. Молодой человек сразу должен понять, что вступает в необычную семью.

— Да пусть его, мама, — сказала Салли своим ровным, спокойным голосом. — Если мистер Дональдсон не поймет, что это шутка, тогда и жалеть о нем нечего.

Филипу казалось, что молодого человека подвергают слишком суровому испытанию: Ательни в коричневой вельветовой куртке, пышном черном галстуке и красной феске мог испугать ничего не подозревавшего инженера-электрика. Когда тот пришел, хозяин приветствовал его с надменной учтивостью испанского гранда, зато миссис Ательни — просто по-домашнему. Все расселись вокруг старинного стола на монастырских стульях с высокими спинками, и миссис Ательни стала разливать чай из сверкающего чайника, который вносил что-то чисто английское и даже

сельское в это празднество. Миссис Ательни испекла печенье и поставила на стол сваренный ею джем. Чай здесь, в старом доме времен короля Иакова, подавался по-деревенски, и Филип находил в этом удивительное очарование. Ательни пришла странная фантазия завести беседу о Византии: он недавно прочел последние тома «Упадка и разрушения» и, трагически воздев указательный перст, поражал жениха скабрёзными похождениями Феодоры и Ирины. Он изливал на гостя потоки напыщенного красноречия, и вконец онемевший от смущения молодой человек только изредка кивал головой. Миссис Ательни не обращала внимания на тирады Торпа и бесцеремонно прерывала их, предлагая гостю еще чаю или печенья и джема. Филип наблюдал за Салли: она сидела, потупившись, спокойная, молчаливая и внимательная; длинные ресницы бросали красивую тень на ее щеки. Трудно было сказать, смешит ее эта сцена или же она принимает близко к сердцу злоключения жениха. Взгляд у нее был непроницаемый. Но молодой светловолосый электрик был явно хорош собой: приятные, правильные черты лица, честные глаза, высокий рост и хорошая фигура делали его очень привлекательным. Филип подумал, что они с Салли будут отличной парой, и вдруг мучительно позавидовал счастью, которое их ожидало.

Наконец поклонник встал, заявив, что ему пора уходить. Салли тоже поднялась и, не говоря ни слова, проводила его до двери. Когда она вернулась, отец восторженно заявил:

— Ну что же, Салли, твой молодой человек очень мил. Мы готовы принять его в лоно семьи. Давайте устроим помолвку, а я сочиню свадебный гимн.

Салли принялась собирать чайную посуду. Она ничего не ответила. Вдруг она кинула быстрый взгляд на Филипа.

— А вам он понравился, мистер Филип?

Она наотрез отказывалась звать его дядей Филом, как остальные дети, и не хотела называть его просто «Филип».

— Мне кажется, что из вас получится необыкновенно красивая пара.

Она снова метнула на него взгляд, а потом, чуть-чуть порозовев, продолжала убирать со стола.

— Мне он показался очень приятным, воспитанным молодым человеком, — сказала миссис Ательни. — Я думаю, что с таким мужем будет счастлива любая девушка.

Салли несколько минут помолчала; Филип смотрел на нее с любопытством: можно было подумать, что она взве-

шивает в уме слова матери, но, с другой стороны, она могла думать и о чем-нибудь совсем постороннем.

— Почему ты не отвечаешь, когда с тобой говорят? — осведомилась мать не без раздражения.

— Мне он показался дурачком.

— Так ты не собираешься за него выходить?

— Нет.

— Ну, не знаю, что тебе еще надо! — сказала миссис Ательни теперь уже с явным огорчением. — Он очень приличный молодой человек и может обеспечить тебе хорошую жизнь. А у нас и без тебя хватает ртов. Если тебе выпало такое счастье, грешно им не воспользоваться. Ты небось и прислугу могла бы нанять для черной работы.

Филип еще никогда не слышал, чтобы миссис Ательни так откровенно говорила о том, как трудно им живется. Он понимал, до чего ей хочется, чтобы все дети были обеспечены.

— Зря ты меня уговариваешь, — спокойно сказала Салли. — Я не пойду за него замуж.

— Ты черствая, злая девчонка, ни о ком, кроме себя, не думаешь.

— Если хочешь, я могу наняться в прислуги, меня всегда возьмут.

— Не болтай глупостей, знаешь ведь, что отец тебе этого никогда не позволит.

Филип поймал взгляд Салли, и ему показалось, что в нем блеснула насмешка. Интересно, что могло ее позабавить в этом разговоре? Нет, она и в самом деле странная девушка.

ГЛАВА 116

Последний год в институте Филипу пришлось много работать. Жизнью он был доволен. Он радовался, что сердце его свободно и что он не терпит нужды. Он часто слышал, с каким презрением люди говорят о деньгах; интересно, пробовали они когда-нибудь без них обходиться? Он знал, что нужда делает человека мелочным, жадным, завистливым, калечит душу и заставляет видеть мир в уродливом и пошлом свете; когда вам приходится считать каждый грош, деньги приобретают чудовищное значение; нужно быть обеспеченным, чтобы относиться к деньгам так, как они этого заслуживают. Филип жил одиноко, не видя никого, кроме Ательни, но он не скучал: голова его была занята

планами на будущее, а иногда — воспоминаниями о прошлом. Мысли его зачастую возвращались к старым друзьям, но он не пытался увидеть их снова. Ему хотелось узнать, как живет Норе Несбит; однако теперь у нее была другая фамилия, а он не мог припомнить, как звали человека, за которого она собиралась замуж; он был рад, что встретил такую женщину, как она, такого доброго и благородного человека. Как-то вечером, после одиннадцати, он столкнулся с Лоусоном, гулявшим по Пикадилли; на нем был фрак — видимо, он возвращался из театра. Филип поддался внезапному порыву и быстро свернул в боковую улицу. Он не видел Лоусона два года и чувствовал, что не может вернуться к прежним отношениям. Ему с Лоусоном больше не о чем было говорить. Филипа перестало интересовать искусство; ему казалось, что теперь он куда глубже воспринимает красоту, чем в юности, однако искусству он больше не придавал былого значения. Ему куда интереснее было плести узор жизни из пестрого хаоса явлений, и возня с красками и словами выглядела пустым занятием. Лоусон сыграл свою роль в его жизни. Дружба с ним была одним из мотивов того рисунка, который Филип вычерчивал; было бы глупой сентиментальностью не считаться с тем, что художник больше не представлял для него интереса.

Иногда Филип думал о Милдред. Он сознательно избегал тех улиц, где рисковал ее встретить; но порой какое-то чувство — не то любопытство, не то что-то еще, в чем ему не хотелось признаться, — заставляло его прогуливаться по Пикадилли и Риджент-стрит в те часы, когда она могла быть там. Он сам не знал, хочет он ее видеть или боится этого. Однажды он заметил чью-то спину, напоминавшую ему Милдред, и на мгновение подумал, что это она; его охватило какое-то непонятное чувство: грудь пронзила острая боль, сердце сжалось от страха и мучительной тревоги; Филип бросился вперед и, поняв, что ошибся, так и не мог решить, чувствует он тоску или облегчение.

В начале августа Филип сдал последний экзамен — хирургию — и получил диплом. Прошло семь лет с тех пор, как он поступил в институт при больнице Святого Луки. Ему было уже почти тридцать. Он радостно спускался по лестнице Королевского института хирургии со свитком, дававшим ему право заниматься врачебной практикой.

«Теперь я наконец и в самом деле вступаю в жизнь», — думал он.

На следующий день он зашел к секретарю, чтобы предложить свою кандидатуру на какую-нибудь ординаторскую должность в больнице. Секретарь — симпатичный человек с черной бородой — был, как всегда, приветлив. Он поздравил Филипа с успешным окончанием и сказал:

— А вам не хочется съездить на месяц на Южное побережье в качестве *locum tenens*?¹ Три гиней в неделю на всем готовом.

— Не возражаю.

— Это в Фарнли, Дорсетшир. К доктору Сауту. Ехать придется немедленно, его ассистент заболел корью. Само по себе место, кажется, очень приятное.

Тон у секретаря был немножко странный. В нем была какая-то неуверенность.

— А в чем же загвоздка? — спросил Филип.

Секретарь чуточку поколебался, а потом примирительно, со смешком объяснил:

— Да, видите ли, дело в том, что он сварливый и чудаковатый старикан... Ни одно агентство не желает больше посылать ему людей. Резок, говорит все напрямик, людям это не нравится...

— А вы думаете, его устроит только что испеченный врач? У меня ведь нет опыта.

— Пусть радуется, что хоть вас заполучил, — уклончиво сказал секретарь.

Филип недолго раздумывал. Ему нечего было делать ближайшие несколько недель, и он был рад возможности немножко подработать. Эти деньги он отложит на поездку в Испанию, куда он обещал себе поехать после окончания ординатуры в больнице Святого Луки, а если не устроится там, то в какой-нибудь другой больнице.

— Ладно. Поеду.

— Но имейте в виду: ехать надо сегодня же. Вас это устраивает? В таком случае я немедленно pošлю телеграмму.

Филипу хотелось несколько дней отдохнуть, но Ательни он уже повидал накануне (он сразу же забежал к ним, чтобы поделиться своей радостью), и в общем отъезду ничто не препятствовало. Багажа у него было немного. Вечером, в начале восьмого, он сошел с поезда в Фарнли и взял извозчика до дома доктора Саута. Это было приземистое оштукатуренное здание, увитое диким виноградом. Его ввели в приемную. За письменным столом сидел старик. Он не встал

¹ Временно исполняющий обязанности [врача] (*лат.*).

и не заговорил с Филипом, а только молча уставился на него. Филип растерялся.

— Вы, наверно, ждете меня, — сказал он. — Секретарь института при больнице Святого Луки утром послал вам телеграмму.

— Я на полчаса задержал обед. Хотите умыться?

— Хочу.

Чудаковатые манеры доктора Саута его рассмешили. Старик встал, и Филип увидел, что это — худой человек среднего роста, с коротко остриженными седыми волосами и большим ртом; губы у него были до того плотно сжаты, что казалось, будто их совсем нет, щеки гладко выбриты; небольшие белые бакенбарды делали его лицо с тяжелым подбородком еще более квадратным. На нем были коричневый шерстяной костюм и белый галстук. Платье висело, словно с чужого плеча. По внешности доктор напоминал почтенного фермера середины девятнадцатого века. Он отворил дверь.

— Вот столовая, — показал он на дверь напротив. — Ваша спальня — первая дверь на верхней площадке. Спускайтесь, как только будете готовы.

Во время обеда Филип заметил, что доктор Саут его разглядывает, но говорит мало и, по-видимому, не хочет, чтобы ассистент занимал его беседой.

— Когда вы получили диплом? — спросил он внезапно.

— Вчера.

— Вы учились в университете?

— Нет.

— В прошлом году мой помощник уехал в отпуск, и мне прислали одного из этих университетских голубчиков. Я просил, чтобы этого больше не было. Уж больно они капризные, эти господа хорошие.

Снова наступило молчание. Обед был простой, но вкусный, Филип сохранял солидный вид, но в душе не помнил себя от волнения. Ему страшно льстило, что он приглашен как *locum tenens*; он чувствовал себя совсем взрослым; его ни с того ни с сего разбирал идиотский смех, и, чем больше важности он старался напустить на себя, тем больше ему хотелось ухмыльнуться.

Но доктор Саут снова прервал его мысли:

— Сколько вам лет?

— Около тридцати.

— Как же так вышло, что вы только что получили диплом?

— Я начал заниматься медициной, когда мне было двадцать три, но на два года прерывал учение.

— Почему?

— Не было денег.

Доктор Саут как-то странно на него взглянул, и за столом снова воцарилось молчание. Когда обед был окончен, доктор встал из-за стола.

— Вы себе представляете, какая здесь у меня практика?

— Нет.

— Главным образом рыбаки и их семьи. На мне тут профсоюзная больница моряков. Прежде я был один, но с тех пор как наш городок пытаются превратить в модный курорт, на горе открыл практику еще один врач, и зажиточные люди ходят к нему. У меня остались те, кто не может платить.

Филип понял, что соперник был большим местом старика.

— Я ведь уже говорил, что у меня нет опыта, — сказал Филип.

— Да, все вы ничего не знаете!

С этими словами он вышел из комнаты и оставил Филипа одного. Вошла служанка, чтобы убрать со стола, и сообщила Филипу, что доктор Саут принимает больных от шести до семи. Работа на этот день была кончена. Филип принес из своей комнаты книгу, закурил трубку и уселся читать. Он получал от этого огромное удовольствие — ведь последние несколько месяцев он не брал в руки ничего, кроме книг о медицине. В десять часов пришел доктор Саут. Филип любил сидеть, задрав ноги, и пододвинул к себе для этого стул.

— Вы, я вижу, умеете удобно устраиваться, — заметил доктор Саут так угрюмо, что Филип непременно бы расстроился, не будь он в таком хорошем настроении.

Глаза у Филипа насмешливо блеснули.

— А вам это неприятно?

Доктор Саут взглянул на него, но на вопрос не ответил.

— Что это вы читаете?

— «Перегрин Пикля» Смоллета.

— Вы думаете, я не знаю, что «Перегрин Пикля» написал Смоллет?

— Извините. Но, как правило, медики не очень интересуются литературой.

Филип положил книгу на стол, и доктор взял ее посмотреть. Это был томик, принадлежащий блэкстеблскому свя-

щеннику. Тонкая книжка была переплетена в выцветший сафьян, за титульным листом шла гравюра на меди, ветхие страницы пожелтели и были в пятнах от плесени. Филип невольно потянулся к книге, когда доктор ее взял; в глазах его мелькнула насмешка. От взгляда старика ускользало немного.

— Изволите надо мной потешаться? — осведомился он ледяным тоном.

— Я вижу, вы любите книги. Это всегда заметно по тому, как люди их держат.

Доктор Саут сразу же положил книгу.

— Завтра в половине девятого, — отрезал он и вышел из комнаты.

«Ну и чудак!» — подумал Филип.

Он скоро понял, почему помощникам доктора Саута было так трудно с ним ладить. Прежде всего он наотрез отказывался признавать все открытия медицины за последние тридцать лет; терпеть не мог модных лекарств, которые будто бы сначала творят чудеса, а через несколько лет выходят из употребления; у него был набор ходовых снадобий — он привык к ним еще в больнице Святого Луки, когда был студентом, и применял всю жизнь, находя их не менее целебными, чем новомодные средства. Филипа поразило недоверчивое отношение доктора Саута к асептике; ему приходилось пользоваться ею, уступая господствующему мнению, но он принимал меры предосторожности, на которых так строго настаивали в больнице, с небрежной снисходительностью взрослого, играющего с детьми в солдатики.

— Видали! — говорил он. — Видали, как появилась антисептика и все смела на своем пути, а потом на ее место пришла асептика! Чепуховина!

Приезжавшие к нему молодые люди прошли больничную практику и научились там презирать врача, которому приходится лечить все болезни; однако в клинике им встречались только сложные случаи: они знали, как помочь при загадочном расстройстве надпочечников, но терялись, когда их просили вылечить насморк. Знания их были чисто теоретические, а самомнение не имело границ. Доктор Саут наблюдал за ними, сжав зубы; он с мстительным удовольствием показывал им, как велико их невежество и беспочвенно зазнайство. Пациенты были небогатые — в основном рыбаки, — и врач сам готовил лекарства. Доктор спрашивал

своих помощников, как они собираются сводить концы с концами, если будут выписывать рыбакам, у которых болит живот, микстуру, составленную из полудюжины дорогих медикаментов. Он жаловался на то, что молодые врачи — совершенные дикари: они читают только «Спортинг таймс» и «Бритиш медикал джорнэл», пишут неразборчиво и с ошибками. Несколько дней доктор наблюдал за Филипом очень пристально, готовый накинуться на него при малейшей оплошности, а Филип, понимая это, делал свое дело, тихонько посмеиваясь. Ему нравилась новая работа. Он радовался своей независимости и чувству ответственности. В приемную врача приходили самые разные люди. Филипу отрадно было чувствовать, что он внушает пациентам доверие; он с живым интересом наблюдал за процессом их выздоровления — ведь в больнице Святого Луки он мог следить за этим только урывками. Обход больных приводил его в низенькие хибарки — там повсюду лежали рыболовные снасти, паруса и памятки о плаваниях в далеких морях: лакированный ларчик из Японии, пики и весла из Меланезии, кинжал, купленный на базаре в Стамбуле; тесные комнатухи дышали романтикой, а соленый запах моря придавал им пряную свежесть. Филип любил поговорить с матросами, а они, видя, что в нем нет и тени высокомерия, стали делиться с ним воспоминаниями о дальних странствиях своей юности.

Раза два он ошибся в диагнозе (ему еще не приходилось видеть корь, и, когда появилась сыпь, он подумал, что это какая-то непонятная кожная болезнь) и раза два разошелся с доктором Саутом в вопросе о том, как лечить больного. Первый раз доктор обрушил на него поток убийственной иронии, но Филип отнесся к этой вспышке с юмором: он и сам был остер на язык и так отбрил старика, что тот осекся и поглядел на него с изумлением. На лице у Филипа не было и тени улыбки, но глаза его смеялись. Старику было ясно, что Филип его поддразнивает. Он привык, что помощники его не любят и боятся, но тут было что-то новое. Он чуть было не пришел в ярость и не спровадил Филипа с глаз долой, как это делал не раз со своими ассистентами, но его смущало, что тогда Филип посмеется над ним в открытую. И вдруг ему самому стало смешно. Губы его помимо воли растянулись в улыбке, и он отвернулся. Скоро до его сознания дошло, что Филип потешается над ним

постоянно. Сначала он растерялся, а потом пришел в хорошее настроение.

«Вот чертов нахал!» — ухмылялся он втихомолку.

ГЛАВА 117

Филип написал Ательни, что едет на временную работу в Дорсетшир, и получил от него ответ. Письмо было написано в обычном для Ательни выпсренном стиле, унижено напыщенными эпитетами, как персидская диадема — драгоценными камнями, и красиво начертано совершенно неразборчивыми готическими буквами. Ательни приглашал Филипа отправиться с ним и его семьей в Кент, на хмельник, куда они ездили каждый год; чтобы завлечь его, он красиво и витиевато разглагольствовал насчет души Филипа и выющихся побегов хмеля. Филип сразу же ответил, что приедет, как только освободится. Хотя остров Танет и не был его родиной, он питал к нему особое пристрастие; его восхищала мысль о том, что он проведет две недели на лоне природы, в таком чудном уголке, — дай ему голубое небо, и он будет не хуже оливковых рощ Аркадии.

Месяц в Фарнли пролетел очень быстро. Наверху, на горе, строился новый город с красными кирпичными виллами вокруг площадки для гольфа и недавно открытого большого курортного отеля; но туда Филип попадал редко. Внизу в прелестном беспорядке жались к гавани каменные домики, построенные лет сто назад; узкие улочки круто ползли в гору, воскрешая старину и будя воображение. У самой воды стояли чистенькие коттеджи с ухоженными крохотными палисадниками; в них жили оставные капитаны торгового флота и матери или вдовы тех, кто кормился морем; все здесь дышало своеобразием и покоем. В маленький порт заходили торговые суда из Испании и Леванта, но время от времени ветры романтики заносили сюда и парусный корабль. Все это напоминало Филипу об узкой грязной гавани Блэкстебла, где у пирса стояли угольщики; там впервые родилась у него тоска по Востоку, по залитым солнцем островам тропических морей — тоска, которая томила его и теперь. Но здесь человек чувствовал себя куда ближе к бескрайним океанским просторам, чем на Северном море, которое всегда точно заперто в свои берега; глядя на эту ширь, можно вздохнуть полной грудью; а западный ветер, милый соленый ветер Англии, бодрил душу, заставляя ее в то же время таять от нежности.

Как-то вечером, в последнюю неделю пребывания Филипа у доктора Саута, к дверям операционной, где старик и Филип готовили лекарства, подошла маленькая босоногая оборванка с чумазым лицом. Филип отворил дверь.

— Пожалуйста, сэр, не можете ли вы сейчас же прийти к миссис Флетчер на Айви-стрит?

— А что случилось с миссис Флетчер? — отозвался доктор Саут своим скрипучим голосом.

Девочка не обратила на него ни малейшего внимания и снова обратилась к Филипу:

— Пожалуйста, сэр. С ее мальчиком случилось несчастье, не можете ли вы прийти поскорее?

— Скажи миссис Флетчер, что я сейчас приду, — крикнул ей доктор Саут.

Девочка застыла в нерешительности; сунув замусоленный палец в замусоленный рот, она смотрела на Филипа.

— В чем дело, малышка? — улыбаясь, спросил Филип.

— Пожалуйста, сэр, миссис Флетчер просила, чтобы пришел новый доктор.

В комнате послышался какой-то шум, и в коридор вышел доктор Саут.

— Миссис Флетчер мной недовольна? — рявкнул он. — Я лечил миссис Флетчер с тех пор, как она родилась. А теперь я для нее стал плох и не могу лечить ее пашенка?

Девчушка, казалось, вот-вот разревется, но потом она раздумала плакать, высунула доктору Сауту язык и, прежде чем он успел опомниться, пустилась наутек. Филип видел, что старый доктор рассержен.

— У вас сегодня замученный вид, а до Айви-лейн далеко, — сказал он, подсказывая старику, под каким предлогом можно не ходить к больному.

Доктор Саут зло пробурчал:

— Айви-лейн куда ближе для того, у кого две здоровые ноги, чем для того, у кого их только полторы.

Филип покраснел и долго молчал.

— Вы желаете, чтобы шел я, или пойдете сами? — спросил он наконец очень холодно.

— А зачем мне туда идти? Зовут-то ведь вас.

Филип взял шляпу и пошел к больному. Было уже около восьми, когда он вернулся. Доктор Саут ждал его в столовой, грея спину у очага.

— Долго вы ходили, — сказал он.

— Простите, что заставил вас ждать. Почему вы не сели обедать?

— Потому что не хотел. Неужели вы все время были у миссис Флетчер?

— Нет, не все время. На обратном пути загляделся на закат и совсем забыл, что уже поздно.

Доктор Саут ничего не сказал, и служанка подала им жареную рыбу. Филип ел с большим аппетитом. Вдруг доктор Саут озадачил его вопросом:

— А почему вы смотрели на закат?

Филип ответил, продолжая жевать:

— Потому что у меня было хорошо на душе.

Доктор Саут как-то странно на него взглянул, и на его старом, усталом лице промелькнуло подобие улыбки. Конец обеда они провели в молчании, но, когда служанка подала портвейн и вышла, старик откинулся назад и вперил колючий взгляд в Филипа.

— Вас ведь покорило, молодой человек, когда я говорил о вашей хромоте? — спросил он.

— Когда люди на меня сердятся, они всегда прямо или косвенно поминают мою ногу.

— По-видимому, чувствуют, что это ваше больное место.

Филип посмотрел ему прямо в глаза.

— А вы что, радуетесь, что его почуяли?

Доктор не ответил и только горько ухмыльнулся. Они долго сидели, не сводя глаз друг с друга. А потом доктор Саут совсем удивил Филипа.

— Почему бы вам здесь не остаться? А этого болвана с его дурацкой корью я выгоню.

— Очень вам благодарен, но осенью, я надеюсь, меня возьмут ординатором в больницу. Мне это поможет получить работу в дальнейшем.

— Я ведь предлагаю вам стать моим компаньоном, — ворчливо сказал доктор Саут.

— То есть как? — с изумлением спросил Филип.

— Вы им тут пришлишь по нутру.

— А мне казалось, что именно это обстоятельство вам и неприятно, — сухо заметил Филип.

— Неужели после сорока лет практики меня, по-вашему, хоть на йоту тревожит, что люди предпочитают мне моего ассистента? Нет, друг мой. Мы с моими больными не разыгрываем сантиментов. Я не жду от них благодарности, я хочу, чтобы они мне платили. Ну, так что вы скажете?

Филип не отвечал, и не потому, что обдумывал предложение доктора, а потому, что оно его поразило. Предложить новоиспеченному врачу разделить практику было нечто неслыханное, и Филип понял, что хотя старый доктор никогда в этом не признается, он ему чем-то понравился. Филип подумал, как будет смеяться секретарь института, когда он ему об этом расскажет.

— Практика дает около семисот фунтов в год. Мы можем подсчитать, сколько будет стоить ваша доля, и вы мне ее постепенно выплатите. А когда я умру, практика целиком перейдет к вам. Мне кажется, что это куда лучше, чем два или три года мотаться по больницам, а потом работать ассистентом до тех пор, пока не обоснуешься самостоятельно.

Филип знал, что ему представляется возможность, за которую с радостью ухватилось бы большинство людей его профессии: врачей было слишком много, и половина его товарищей была бы счастлива обеспечить себе хотя бы такой скромный заработок.

— Мне очень жаль, но я должен отказаться, — сказал он. — Не то мне пришлось бы проститься со всем, о чем я мечтал столько лет. Жизнь меня не баловала, но впереди у меня всегда маячила надежда, что вот я получу диплом и смогу наконец попутешествовать. И теперь, когда я просыпаюсь по утрам, у меня просто тело ломит от желания пуститься в путь; все равно куда, только бы подальше, где я никогда не был.

Цель, казалось, была уже близка. Филип кончит ординатуру в больнице Святого Луки в середине будущего года и поедет в Испанию; он может позволить себе провести там несколько месяцев и побродить по стране, которая была для него воплощением романтики; а потом он наймется на корабль и поедет на Восток. Перед ним — вся жизнь, времени сколько угодно. Если ему захочется, он годами может странствовать по нехоженным местам, среди чужих племен с чужими нравами. Он сам не знал, к чему стремится и что дадут ему его странствия, но у него было предчувствие, что где-то там он узнает о жизни новое, найдет ключ к той тайне, которая становилась все загадочнее, сколько он ее ни разгадывал. И даже если он не отыщет ответа, то хотя бы уймет тревогу, которая гложет его душу. Но доктор Саут проявил к нему необычайную доброту, и Филипу казалось неблагодарностью отказываться от его предложения без достаточно веских причин; поэтому, как всегда стесняясь вся-

кого проявления чувств, стараясь говорить как можно суше, он попытался объяснить старику, почему ему было важно осуществить те планы, которые он так долго лелеял.

Доктор Саут молча слушал, и его колючие выцветшие глаза подобрели. Филипп понял, что старик снова проявил душевную деликатность, не настаивая на своем предложении. Ведь доброжелательность бывает и со взломом. Старому доктору доводы Филиппа явно казались здоровыми. Переменив тему разговора, он вспомнил свою собственную молодость: когда-то он служил в военном флоте, и привычка к морю толкнула его, после того как он вышел в отставку, поселиться в Фарнли. Он рассказывал Филиппу, что творилось прежде на Тихом океане и в какие опасные переделки они попадали в Китае. Доктор Саут участвовал в экспедиции против охотников за черепами на острове Борнео, он знал Самоа, когда эти острова были еще независимым государством. Он не раз причаливал к коралловым рифам. Филипп слушал его как замороженный. Постепенно старик рассказал и о себе самом. Он был вдовцом, жена его умерла тридцать лет назад, а дочь вышла замуж за фермера в Родезии; доктор с ним поссорился, и дочь уже десять лет не приезжала в Англию. И вот теперь он жил так, словно у него никогда не было ни жены, ни дочери. Старик был очень одинок. За внешней резкостью скрывалось разочарование в жизни. Филиппу казалось трагичным, что он молча ожидает смерти, но не зовет ее, не торопит, а, напротив, думает о ней с отвращением; ненавидя старость, он не желает ей поддаваться, но понимает, что смерть — единственное избавление от всех горестей. Филипп встретился на его пути, и потребность в человеческой привязанности, которую долгая разлука с дочерью, казалось, убила (дочь встала на сторону мужа в их ссоре, а внуков старик никогда не видел), проснулась в нем вновь. Сначала Саут злился, говоря себе, что это старческий маразм; но что-то в Филиппе его привлекало, и он вдруг поймал себя на том, что улыбается ему без всякой видимой причины. С Филиппом ему не было скучно. Раз два старый доктор даже положил ему руку на плечо — для него это было лаской, какой он не позволял себе много лет, с тех самых пор как его дочь покинула Англию. Когда Филиппу пришло время уезжать, доктор Саут проводил его на станцию; он был почему-то глубоко подавлен.

— Мне чудесно здесь жилось, — сказал Филипп. — Вы были ко мне необыкновенно добры.

— Небось рады, что уезжаете?

— Мне было у вас хорошо.

— Но вам хочется сбежать отсюда в большой мир? Ну, еще бы, вы ведь молоды. — Он неловко помолчал. — Помните, если почему-нибудь ваши планы изменятся, вы всегда можете принять мое предложение.

— Большое вам спасибо.

Филип пожал ему руку через окно вагона, и поезд, запыхтев, отошел. Филип думал о двух неделях, которые проведет на хмельнике, и радовался, что снова повидает друзей; у него было светло на душе и потому, что день выдался такой ясный. А в это время доктор Саут медленно брел домой. Он чувствовал себя очень старым и очень одиноким.

ГЛАВА 118

В Ферн Филип приехал поздно вечером. Миссис Ательни родилась в этой деревне: она с детства привыкла собирать тут хмель и каждый год приезжала сюда с мужем и детьми. Как и многие жители Кента, Ательни выходили на сбор хмеля, радуясь случаю заработать немножко денег, но прежде всего потому, что эту ежегодную поездку на лоно природы они считали самым лучшим летним отдыхом, о котором мечтали чуть не весь год. Работа была не тяжелая, делали ее сообща, на свежем воздухе; для детей это превращалось в долгий, увлекательный пикник; молодые пары встречались здесь с девушками, и длинными вечерами после работы они в общинку прогуливались по лугам; сезон сбора хмеля обычно кончался свадьбами. На хмельник выезжали на телегах, нагруженных подушками и одеялами, кастрюлями, стульями и столами, и, пока собирали хмель, Ферн словно вымирал. Местный люд не очень любил якшаться с «пришлыми», как звали тут людей, приехавших из Лондона; на них смотрели косо, их слегка побаивались: ведь это был народ буйный, и добропорядочные крестьяне не желали иметь с ними дела. В былые времена сборщики хмеля спали в амбарах, но десять лет назад на краю луга был построен ряд хижин, и Ательни, как и многие другие, каждый год занимали одну из них.

Ательни приехал за Филипом на станцию в повозке, которую попросил в трактире, где снял для него комнату. Трактир находился в четверти мили от хмельника. Оставив в комнате чемодан, они пошли пешком на лужайку, где

стояли хижины. Это были, попросту говоря, длинные, низкие сараи, разделенные на каморки по двенадцать футов. Перед каждой хижинкой был разложен костер, вокруг которого собиралась вся семья, с нетерпением ожидая ужина. Морской воздух и солнце закоптили лица детишек. Сама миссис Ательни казалась тут совсем другим человеком; видно было, что годы, прожитые в городе, ничуть ее не изменили: душой и телом она осталась деревенской женщиной и чувствовала себя здесь как рыба в воде. Она жарила сало, не спуская в то же время глаз с младших детей, и, приветливо улыбаясь, сердечно пожала руку Филипу. Ательни, захлебываясь, расписывал прелести буколической жизни.

— Мы, городские, просто вымираем от недостатка солнца и воздуха. Это не жизнь, а вечная тюрьма. Давай продадим все, что у нас есть, Бетти, и поселимся на ферме.

— Представляю, как ты будешь жить в деревне, — ответила она с незлобливой усмешкой. — В первый же дождливый зимний день заплачешь по Лондону. — Она обернулась к Филипу. — Стоит ему сюда приехать, он всегда так! В деревню! Да он не может отличить брюквы от свеклы.

— Папочка сегодня ленился, — заявила с присущей ей прямоотой Джейн, — он не собрал и одной корзины.

— Я, детка, набиваю руку: вот увидишь, завтра соберу больше, чем все вы, вместе взятые!

— Дети, садитесь ужинать, — сказала миссис Ательни. — А где Салли?

— Я здесь, мама...

Она вышла из хижины, и пламя костра, взметнувшись, бросило яркие блики на ее лицо. Последнее время Филип видел ее только в строгих платьях, которые она стала носить, поступив в мастерскую дамских нарядов; поэтому свободное ситцевое платьице, удобное для работы, показалось ему прелестным; рукава были закатаны, и сильные округлые руки обнажены. На голове у нее был надет чепец от солнца.

— Вы похожи на пастушку из волшебной сказки, — сказал, здороваясь с ней, Филип.

— Она у нас на хмельнике первая красавица! — воскликнул Ательни. — Клянусь Богом, если помещичий сын тебя увидит, он тут же сделает тебе предложение.

— У здешнего помещика нет сына, папа, — сказала Салли.

Она поискала глазами, куда бы ей сесть, и Филип подвинулся, чтобы дать ей место. Салли была удивительно хороша

ночью, при свете костра. Она была похожа на сельскую богиню и напоминала тех свежих, здоровых девушек, которых вечно воспевал старый Геррик¹. Ужин был простой: хлеб с маслом, ломтики жареного сала, чай для детей и пиво для родителей и Филипа. Ательни жадно ел и громко восхищался едой. Он язвительно бичевал Лукулла и поносил Брилья-Саварена².

— В одном тебе нельзя отказать, — сказала ему жена, — поесть ты мастер, уж будьте покойны!

— Люблю все, что приготовили твои ручки, — произнес он, красноречиво подняв указательный палец.

Филипу было хорошо. Он с радостью разглядывал вереницу зажженных костров, сидевших вокруг огня людей, отблески пламени на темном фоне ночи; на краю лужайки высились огромные вязы, а над ними раскинулось звездное небо. Рядом болтали и смеялись дети, а Ательни, такое же дитя, как и они, своими ужимками заставлял их корчиться от смеха.

— Тут у нас Ательни в большом фаворе, — сказала его жена. — Даже миссис Бриджес — и та мне сказала: «Прямо уж и не знаю, что бы мы делали без вашего мистера Ательни. Вечно он что-нибудь затеет, больше похож на мальчишку, чем на отца семейства».

Салли сидела молча, но заботливо следила, не нужно ли чего-нибудь Филипу; ему это было очень приятно. Как хорошо, что она села рядом; Филип то и дело поглядывал на ее загорелое юное лицо. Как-то раз он поймал ее взгляд, и она мягко ему улыбнулась. Когда семья поужинала, Джейн с младшим братишкой отправились к ручью, который протекал по низу луга, за водой для мытья посуды.

— Дети, покажите дяде Филипу, где мы спим, а потом пора вам на боковую.

Детские ручонки вцепились в Филипа и потащили его к хижине. Он вошел и зажег спичку. В домике не было мебели; кроме обитого жестью сундука, где лежала одежда, тут стояли только три постели, по одной у каждой стены. Вслед за Филипом вошел Ательни и сказал с гордостью:

— Вот на чем человеку нужно спать! К черту ваши пружинные матрацы и пуховые перины! Нигде так крепко

¹ Геррик Роберт (1591—1674) — английский поэт.

² Брилья-Саварен Ансельм (1755—1820) — французский гурман, автор «Физиологии вкуса».

не сплю, как здесь. Вы-то, бедняга, будете спать на простыне. И мне вас от души жаль.

Постель представляла собой толстую подстилку из стеблей хмеля, покрытую слоем соломы, поверх которой лежало одеяло. Проведя день на открытом воздухе, пропитанном ароматом хмеля, счастливые работники засыпали как убитые. К девяти часам вечера на лугу все стихало, люди отправлялись на боковую, если не считать одного или двух мужчин, застрявших в трактире, который закрывается в десять. Ательни проводил туда Филипа. Перед уходом миссис Ательни ему сказала:

— Мы завтракаем без четверти шесть, но вам, верно, не захочется так рано вставать. А нам приходится в шесть выходить на хмельник.

— Нет, и ему рано вставать! — закричал Ательни. — Да и работать, как и всем нам. Он должен добывать себе на хлеб. Кто не работает, милый мой, тот и не обедает!

— Дети до завтрака бегают купаться, они разбудят вас на обратном пути. Им все равно надо идти мимо «Веселого моряка».

— Если они меня разбудят, и я пойду с ними купаться. Джейн, Гарольд и Эдуард издали радостный клич, и на следующее утро они ворвались в комнату и разбудили крепко спавшего Филипа. Мальчишки вскочили к нему на кровать, и ему пришлось вооружиться шлепанцами, чтобы согнать их оттуда. Натянув брюки и пиджак, он спустился вниз. Только что рассвело, и воздух был еще холодный; но на небе не было ни облачка, а солнце золотило дорогу. Посреди дороги стояла Салли, держа Конни за руку; на плече у нее висели полотенце и купальный костюм. Чепец, которым она прикрывала от солнца голову, был бледно-сиреневый, цвета лаванды, и оттенял ее румяное, как яблоко, загорелое лицо. Она улыбнулась Филипу своей сдержанной ласковой улыбкой, и он заметил, что зубы у нее мелкие, ровные и очень белые. Удивительно, почему он никогда раньше не обращал на это внимания.

— Я их уговаривала, чтобы они дали вам еще поспать, — сказала она. Но им во что бы то ни стало нужно было вас разбудить. А я ведь сказала им, что вам совсем и не хочется с нами идти.

— Нет, очень хочется.

Они пошли по дороге, потом пересекли топкую низину. До моря было около мили. Вода в этот час была серая, холодная, и Филипа при виде ее одолела дрожь, однако

остальные быстро скинули одежду и, весело крича, побежали в воду. Салли все делала неторопливо и вошла в море тогда, когда все дети уже плескались вокруг Филипа. Единственный вид спорта, в котором Филип отличался, было плавание; в море он чувствовал себя как дома, и скоро дети стали ему подражать в том, как он изображает дельфина, утопленника или толстую даму, которая боится намочить прическу. В воде царило шумное веселье, и Салли пришлось строго приказать им вылезти на берег.

— Вы сами как маленький, — попрекнула она Филипа материнским тоном, который звучал у нее и комично, и трогательно. — Без вас они никогда не бывают такими непослушными.

Они отправились назад. Салли шла, перекинув свои распущенные, блестящие волосы на одно плечо и размахивая чепцом; когда они подошли к хижинам, оказалось, что миссис Ательни уже собралась на работу в хмельник. Ательни, вырядившись в самые старые штаны, какие видел мир, застегнул на все пуговицы пиджак, желая подчеркнуть, что он без рубашки, и покрыл голову широкополой мягкой шляпой; он жарил рыбу на костре из щепок. Ему безумно нравился этот наряд: разве он не похож на разбойника? Увидев приближающуюся компанию, он стал выкрикивать над аппетитно пахнущей рыбой стихи из хора ведьм в «Макбете».

— Не мешкайте с завтраком, а то мама рассердится, — сказал он детям.

Через несколько минут они шли по лугу к хмельнику; Гарольд и Джейн на ходу доедали хлеб с маслом. Все уже работали. Вид хмельника был привычен Филипу с детства, а сушилка для хмеля казалась ему самой характерной особенностью кентского пейзажа. Филип шел за Салли между длинных шпалер хмеля, словно он тут прожил всю жизнь. Солнце светило ярко и отбрасывало резкие тени. Сочная зелень листвы радовала глаз. Хмель начинал желтеть, и Филипу он казался таким же прекрасным и полным страсти, как пурпурные лозы — сицилийским поэтам. Филип шел и, глядя на безумную щедрость природы, чувствовал, как сердце его переполняется радостью. Плодородная земля Кента дышала ароматом; переменчивый сентябрьский ветер был напоен славным запахом хмеля. Ательстан — и тот почувствовал душевный подъем: он вдруг запел; голос у этого пятнадцатилетнего подростка был петушиный; Салли повернула к нему голову.

— Ты лучше помолчи, Ательстан, не то накличешь грозу.

Минуту спустя они услышали гул голосов, а еще через минуту подошли к сборщикам хмеля, которые прилежно работали, не переставая при этом болтать и смеяться. Они сидели на стульях, табуретках и ящиках, поставив возле себя корзины; кое-кто бросал шишки хмеля прямо в бункер. Вокруг бегало множество детей; в самодельных люльках, а то и прямо на мягкой бурой сухой земле лежали укутанные в одеяла младенцы. Ребятишки постарше понемножку щипали хмель, но куда больше шалили. Женщины работали усердно — они привыкли собирать хмель с детства и могли нарвать вдвое больше, чем приезжие из Лондона. Они хвастали, сколько бушелей собрали за день, но жаловались на то, что заработать стало куда труднее, чем прежде; в прошлые годы им платили по шиллингу за каждые пять бушелей, а теперь за тот же шиллинг надо собрать восемь или даже девять бушелей. В прежние времена хороший сборщик столько зарабатывал за сезон, что мог прожить припеваючи целый год, а теперь это — чистые гроши, разве что отдых свой оправдаешь. Миссис Хилл говорит, будто купила себе фортепьяны на свои заработки от сбора хмеля, но она женщина прижимистая, а кому интересно быть жмотиной, да люди к тому же поговаривают, что не всякому ее слову можно верить, а если покопаться, то деньги на фортепьяны она выложила из сберегательной кассы.

Сборщики делились на бригады по десять человек, не считая детей, и Ательни громко хвастал, что недалек тот день, когда его бригада будет состоять из одних только членов его семьи. В каждой бригаде был свой бункеровщик, обязанный снабжать ее побегам хмеля (бункер — огромный мешок на деревянной подставке, около семи футов высоты; ряды таких бункеров стояли между шпалерами хмеля); об этой должности мечтал Ательни, дожидаясь того времени, когда семья его подрастет и составит целую бригаду. Пока что он больше подгонял других, чем надрывался сам. Он не спеша с сигаретой во рту подошел к жене, которая работала уже полчаса и успела высыпать одну корзину в бункер, и стал обрывать листья. Ательни утверждал, что сегодня соберет больше всех, не считая, пожалуй, матери, но кто же сумеет перешеголять маму! Тут он почему-то вспомнил испытания, которым Афродита подвергла любопытную Психею, и стал рассказывать детям о ее любви к жениху, которого она никогда не видела. Рассказывал он отлично.

Филипу, слушавшему его с улыбкой, казалось, что древнее сказание как нельзя более подходит к окружавшему их пейзажу. Небо стало теперь совсем синим — прекраснее оно не могло быть даже в Элладе. Светлоголовые румяные дети, крепконогие и живые; тонкие завитки хмеля; изумрудная зелень листвы, дерзкая, как зов трубы; манящий лабиринт густых аллей, цветные чепцы сборщиц хмеля — все это дышало древней Элладой куда больше, чему ученые книги или музеи. Спасибо тебе, Англия, за то, что ты так прекрасна! Он мысленно видел вьющиеся белые ленты дорог, обсаженные цветущими изгородами, зеленые луга с высокими вязами; пленительные очертания холмов и поросших лесом пригорков; болотистые равнины и печальные серые просторы Северного моря. Он был счастлив, что ему доступна красота родной природы. Но вот Ательни прискучило работать и он заявил, что сходит узнать, как здоровье матери Роберта Кемпа. Ательни был знаком со всеми на хмельнике и каждого звал по имени; он знал все семейные дела и всю жизнь любого сборщика с самого рождения. В нем было много детского тщеславия, и он любил разыгрывать благородного джентльмена; его фамильярность чуть-чуть отдавала высокомерием. Филип отказался с ним идти.

— Я твердо намерен заработать себе на обед, — заявил он.

— Правильно, дорогой, — сказал Ательни, на ходу махнув ему рукой. — Кто не работает, тот не обедает.

ГЛАВА 119

У Филипа не было своей корзины, потому он работал вместе с Салли, Джейн возмутилась, что он помогает не ей, а старшей сестре, и ему пришлось пообещать, что он перейдет к ней, как только корзина Салли наполнится. У Салли были почти такие же проворные руки, как у матери.

— Вам ведь надо шить, руки у вас не загрубеют? — спросил Филип.

— Что вы! Для сбора хмеля нужны мягкие руки. Вот почему женщины успевают больше мужчин. Если ладони у вас жесткие, а пальцы потеряли гибкость от черной работы, вы не можете быстро обрывать хмель.

Ему нравилось следить за ее ловкими движениями, а она тоже поглядывала на него с той материнской заботливостью, которая казалась у нее такой забавной и в то же время прелестной. Сначала работа у него не ладилась, и Салли

над ним подшучивала. Она нагнулась, чтобы показать ему, с какого конца приняться за длинный побег, и руки их встретились. Филип был удивлен, что она покраснела. Он до сих пор не мог привыкнуть к мысли, что Салли уже выросла; он ведь знал ее подростком и по старой памяти относился к ней по-отечески; однако рой поклонников говорил о том, что она уже выросла; вот и тут, хотя она и приехала всего несколько дней назад, один из двоюродных братьев Салли оказывал ей такое внимание, что все кругом ее задрознили. Звали его Питер Гэнн, и был он сыном сестры миссис Ательни, вышедшей замуж за фермера, жившего поблизости от Ферна. Все понимали, зачем ему надо было каждый день проходить через хмельник.

В восемь часов утра рожок возвестил перерыв на завтрак и, хотя, по словам миссис Ательни, семья ее завтрак не заслужила, уписывали его за обе щеки. Потом взялись за работу снова и трудились до полудня, пока рожок не позвал обедать. От бункера к бункеру прохаживался замерщик в сопровождении счетовода, который заносил в свою книгу и в расчетную книжку сборщика число собранных бушелей хмеля. Когда бункер наполнялся, его перегружали корзинами в большой мешок, который замерщик вдвоем с возницей взваливали на телегу. Но вот вернулся Ательни с рассказом о том, сколько хмеля собрали миссис Джонс и миссис Хит; он стал заклинять свою семью посрамить этих дам; у него была страсть ставить рекорды, и порою, придя в азарт, он мог собирать хмель целый час кряду. Больше всего его увлекало то, что при этом он мог покрасоваться своими изящными руками, которыми очень гордился. Он тратил много времени на маникюр и рассказывал Филипу, шевеля своими узкими, длинными пальцами, что испанские гранды всегда спали в пропитанных жиром перчатках, оберегая белизну рук. «Длань, которая задушила Европу, — патетически восклицал он, — была изящной и тонкой, как у женщины», — и, глядя на свои руки, картинно обрывавшие хмель, он удовлетворенно вздыхал. Когда ему надоедало работать, он свертывал сигарету и беседовал с Филипом о литературе и искусстве. После полудня стало очень жарко. И работа шла вяло, и разговаривать не было охоты. Утренняя неумолчная болтовня стихла, только время от времени кто-нибудь отпускал отрывистое замечание. На верхней губе Салли выступили крошечные капельки пота, она работала, чуть-чуть приоткрыв рот. И была похожа на бутон, который вот-вот распустится.

Конец рабочего дня зависел от состояния сушилки. Иногда она наполнялась спозаранку, и к трем или четырем часам дня собирали столько хмеля, сколько можно было высушить за ночь. Тогда работа прекращалась. Но обычно последний дневной замер начинался в пять. Пока мерили содержимое бункера, бригады собирали свои пожитки и, весело болтая, отправлялись из хмельника. Женщины возвращались в хижину прибрать и приготовить ужин; большая часть мужчин шла в трактир. После трудового дня приятно было выпить кружку пива.

Бункер Ательни был самым последним в ряду. Когда к нему подошел замерщик, миссис Ательни вздохнула с облегчением и выпрямилась: она много часов просидела согнувшись и у нее занемела спина.

— Ну, давайте теперь сходим к «Веселому моряку», — предложил Ательни. — Весь дневной ритуал должен быть выполнен, а самый священный обряд — тем более.

— Захвати с собой кувшин, — сказала жена. — Принеси pinty полторы к ужину.

Она дала ему денег, сосчитав сумму точно, до последнего пенни. Пивная была полна. На посыпанном песком полу вдоль стен стояли скамьи, а над ними висели пожелтевшие портреты борцов. Хозяин знал всех своих посетителей по именам и, облокотившись на стойку, добродушно улыбался двум парням, кидавшим кольцо на шест, врытый в пол; каждый промах встречался веселыми насмешками всей компании. Люди подвинулись, освобождая место для вновь пришедших. Филип уселся между старым землекопом в грубых штанах, подвязанных у колен веревкой, и парнишкой лет семнадцати с блестящим от пота лицом и аккуратно зачесанным на загорелый лоб чубом. Ательни во что бы то ни стало захотелось попытать счастья в метании колец. Он побился об заклад на полпинты пива и выиграл. Выпив за здоровье проигравшего, он произнес:

— Знаешь, дружище, мне куда приятнее было выпить это пиво, чем выиграть на скачках.

В этой деревенской компании он производил странное впечатление — и широкополая шляпа, и борода клинышком; видно было, что здешние люди считают его чудаком; однако нрав у него был такой веселый, способность увлекаться такой заразной, что он располагал к себе все сердца. Беседа шла оживленно. Приятели обменивались шутками, кругом слышался медлительный грубоватый говор

уроженцев острова Танет; забавные выходки местного остряка встречались оглушительным хохотом. Веселое сборище! Надо было иметь черствое сердце, чтобы в эту минуту не радоваться за своих ближних. Взгляд Филипа упал на окно, за которым еще ярко сияло солнце: белые занавески были по-деревенски перевязаны красными лентами, на подоконнике стояли горшки с геранью. Постепенно, один за другим, посетители стали расходиться по своим хижинам, где готовился ужин.

— Подозреваю, что вы не прочь залечь в постель, — сказала миссис Ательни Филипу. — Вы ведь не привыкли вставать в пять часов и весь день проводить на свежем воздухе.

— Но вы же пойдете с нами купаться, дядя Фил, правда? — закричали мальчишки.

— Конечно.

Он чувствовал себя усталым, но счастливым. После ужина, покачиваясь на придвинутой к стене табуретке, он выкурил трубку. Была уже ночь. Салли не переставала хлопотать. Она то и дело проходила мимо него в хижину и обратно, и Филип лениво следил за ее проворными движениями. Он обратил внимание на ее походку: в ней не было особенной грации, зато она была легкой и уверенной; ступала Салли свободно, всей ногой, опираясь на землю твердо и решительно. Ательни ушел посплетничать с соседом, и Филип услышал, как жена его говорит самой себе:

— Эх, а чаю-то у меня больше нет, ведь собиралась послать Ательни к миссис Блэк... — Она помолчала, а потом сказала уже громче: — Салли, сбегай-ка к миссис Блэк и возьми полфунта чаю. У меня весь кончился.

— Сейчас, мама.

Миссис Блэк жила в полумиле отсюда и выполняла обязанности как почтмейстерши, как и поставщицы всякой всячины. Салли вышла из хижины, опуская засученные рукава.

— Хотите, я пойду с вами? — спросил Филип.

— Не беспокойтесь. Я не боюсь ходить одна.

— Я и не думал, что вы боитесь; но мне скоро пора спать, и я хотел немножко размяться.

Салли ничего не сказала, и они пустились в путь. Дорога белела в темноте; кругом было тихо. Летняя ночь казалась беззвучной. Они тоже молчали.

— Еще и сейчас жарко, правда? — спросил Филип.

— Погода удивительная для этого времени года.

Но молчание их не стесняло. Им было приятно идти рядом, и слова казались лишними. Вдруг у мостков через живую изгородь послышался тихий шепот и в темноте показались очертания двух фигур. Они близко прижались друг к другу и замерли, когда Филип и Салли проходили мимо.

— Интересно, кто это?— сказала Салли.

— Им, видно, неплохо, а?

— Они, наверно, и нас приняли за влюбленных.

Впереди показался свет в окне, и они вошли в маленькую лавчонку. Лампа на мгновение их ослепила.

— Поздновато, — сказала миссис Блэк. — Я уж совсем собралась закрывать. — Она взглянула на часы. — Скоро девять.

Салли спросила полфунта чаю (миссис Ательни никак не могла решиться купить больше полуфунта сразу). И они снова вышли на дорогу. Время от времени в тишине слышался короткий, резкий звук, издаваемый каким-нибудь животным, но от этого ночное безмолвие казалось еще более глубоким.

— Если постоять совсем тихо, можно, наверно, услышать море, — сказала Салли.

Они напрягли слух и вообразили, что до них доносится далекий плеск волн, набегающих на гальку. Когда они проходили мимо той же изгороди, влюбленные были еще там, но уже больше не разговаривали; они сидели обнявшись, и его губы были прижаты к ее губам.

— Эти времени не теряют, — сказала Салли.

Они завернули за угол; в лицо им ударил порыв теплого ветра. Земля отдавала ночи свою прохладу. В трепетной тьме было что-то таинственное, неведомое, словно подстерегавшее вас; безмолвие вдруг наполнилось каким-то глубоким смыслом. У Филипа было чудно на сердце, оно было полно до краев, таяло в груди (эти истертые фразы как нельзя более точно выражали его странные ощущения), он почувствовал себя счастливым, взволнованным, нетерпеливым. В памяти его возникли звучные слова, которые шептали друг другу Джессика и Лоренцо, подхватывая запев: «В такую ночь»¹; сквозь затейливую шутку ослепительно сверкала владеющая ими страсть. Он не понимал, чем дышит эта ночь, отчего все его чувства так обострены; ему чудилось, что весь он — душа, которая впитывает звуки, запахи и вкус

¹ Джессика и Лоренца — персонажи трагедии У. Шекспира «Венецианский купец».

земли. Он еще никогда так утонченно не воспринимал красоту. Он боялся, что Салли заговорит и нарушит очарование, но она не произносила ни слова, и ему захотелось услышать звук ее голоса — глубокие, грудные ноты, казалось, были голосом самой деревенской ночи.

Они дошли до поля, которое надо было перейти, чтобы вернуться к хижинам. Филип прошел первый, чтобы придержать калитку.

— Ну вот, тут я с вами, пожалуй, прощусь.

— Спасибо, что проводили меня до самого дома.

Она подала ему руку, и, пожимая ее, он попросил:

— Если бы вы были добрая, вы бы поцеловали меня на прощание, как все дети.

— Пожалуйста, — сказала она.

Филип шутил. Ему захотелось поцеловать ее просто потому, что у него было легко на сердце и она ему нравилась, а ночь была так прекрасна.

— Спокойной ночи, — сказал он, чуть слышно смеясь и притягивая ее к себе.

Она подставила ему губы: они были теплые, нежные, мягкие; он не отнял своего рта — ее губы были как цветок; потом, сам не зная как, не понимая, что делает, он обнял ее. Она молча ему покорилась. Тело у нее было крепкое, сильное. Он почувствовал, как у его груди бьется ее сердце. Тогда он потерял голову. Чувство хлынуло, словно прорвав плотину. Он увлек ее в густую тень изгороди.

ГЛАВА 120

Филип спал как убитый и с испугом вздрогнул, почувствовав, что Гарольд перышком щекочет его лицо. Когда он открыл глаза, раздался восторженный крик. Но Филип никак не мог проснуться.

— А ну-ка, лежебока, вставайте, — сказала Джейн. — Салли говорит, что, если вы не поторопитесь, она не будет вас ждать.

Тогда он припомнил все, что случилось. Сердце у него упало, и, приподнявшись на постели, он замер: он не знал, как посмотрит ей в глаза; его мучило раскаяние, и он горько, горько каялся в том, что наделал. Что она ему скажет сегодня утром? Он страшился встречи с ней и спрашивал себя, как он мог совершить такую глупость. Но дети не дали ему раздумывать: Эдуард схватил его купальные трусы

и полотенце, Ательстан стащил с него одеяло, и через три минуты все они скатились по лестнице на дорогу. Салли ему улыбнулась. И улыбка была такой же нежной и невинной, как и прежде.

— Ну и долго же вы одевались, — сказала она. — Я уж думала, вы никогда не придете.

В ее тоне не было и капли смущения. Филип ждал, что она изменится, резко или хотя бы едва заметно; ему казалось, что в ее словах он почувствует стыд, злобу, а может, и какую-то новую фамильярность, но ничего этого не произошло. Она была совершенно такой, как прежде. Болтая и смеясь, они все вместе пошли к морю. Салли была тиха (но она ведь и всегда была сдержанна, немногословна — он никогда ее другой не видел) и мила. Она не пыталась завести с ним разговор, но и не избегала его. Филип был поражен. Он думал, что ночное происшествие произведет в ней переворот, но у нее был такой вид, словно ничего не случилось; вчерашнее могло быть сном; он шел (за одну его руку цеплялась маленькая девочка, за другую — мальчик), разговаривал, делая вид, будто его ничто не тревожит, и все время старался объяснить себе ее поведение. Может быть, Салли хотела, чтобы этот эпизод был забыт? Может быть, чувства взяли над ней верх, как и над ним, и она отнесилась к тому, что произошло, как к несчастной случайности, о которой лучше забыть? Но мог ли он приписывать ей ту ясность мысли и зрелую мудрость, которые не соответствовали ни ее возрасту, ни ее натуре? Однако что он знает о ее натуре? В ней всегда было что-то загадочное.

В воде они играли в лапту, и купание было таким же веселым, как и накануне. Салли пеклась о них всех, не спуская с них заботливых глаз, звала, когда они заплывали слишком далеко. Она степенно плавала, пока остальные дурачились, и время от времени переворачивалась на спину, чтобы полежать на воде. Потом она вышла на берег и стала вытираться; она потребовала, чтобы вылезли и остальные; наконец в море остался один Филип. Он воспользовался случаем, чтобы поплавать всласть. Сегодня, во второй раз, он уже лучше чувствовал себя в холодной воде и наслаждался ее соленой свежестью; его радовало, что он может свободно владеть всем телом, и он плыл, широко и сильно взмахивая руками. Но Салли, завернувшись в полотенце, подошла к воде.

— А ну-ка, Филип, сию же минуту выходите! — закричала она, словно он был мальчишкой на ее попечении.

И, когда он подплыл поближе, смеясь над ее повелительным тоном, она его пробрала:

— Разве можно так долго купаться? Губы совсем синие — поглядите, у вас зуб на зуб не попадает!

— Ладно, выхожу.

Она никогда еще так с ним не разговаривала. Казалось, то, что между ними произошло, давало ей какую-то власть над ним, она стала относиться к нему как к ребенку, о котором надо заботиться. Через несколько минут они оделись и пошли домой. Салли посмотрела на его руки.

— Глядите, они у вас совсем синие.

— Ерунда. Просто кровообращение чуть-чуть нарушено. Через минуту все будет в порядке.

— Дайте-ка их мне.

Она взяла его руки в свои и стала их тереть, сначала одну, а потом другую, пока они не порозовели. Растроганный Филип, недоумевая, наблюдал за ней. Из-за детей он не мог ей ничего сказать, а поймать ее взгляд ему никак не удавалось; он был уверен, что она и не думает прятать от него глаза, просто так получалось. И в течение всего дня она ничем не показала, что ощущает новизну их отношений. Разве что была чуть-чуть разговорчивее обычного. Когда они пришли работать на хмельник. Салли пожаловалась матери, какой Филип непослушный: он не хотел вылезать из воды, пока не посинел от холода. Невероятно, но эта ночь ее ничуть не изменила; в ней появилось только какое-то покровительственное чувство к нему, родилась потребность его опекать, совсем как маленьких сестер и братьев.

Они остались наедине только вечером. Она готовила ужин, а Филип сидел на траве возле костра. Миссис Ательни ушла в деревню за покупками; дети побежали играть. Филип никак не решался заговорить. Он очень нервничал. Салли ловко хозяйничала с самым безмятежным видом, ее ничуть не смущало тяготившее его молчание. Он не знал, с чего начать. Салли редко разговаривала, разве что если к ней обращались или ей самой надо было сообщить что-нибудь особенное. Наконец Филип не выдержал.

— Салли, вы на меня не сердитесь? — выпалил он.

Она спокойно подняла глаза и поглядела на него.

— Я? Нет. А за что мне на вас сердиться?

Он опешил и не смог ничего ответить. Она сняла крышку с горшка, помешала его содержимое и снова накрыла крышкой. В воздухе вкусно запахло. Салли посмотрела на Филипа

с чуть приметной улыбкой в уголках рта: улыбка была у нее больше в глазах.

— Вы мне всегда нравились, — сказала она.

Сердце у него вдруг бешено забилося, и кровь прилила к щекам. Он неестественно ухмыльнулся.

— Вот не знал...

— Потому что глупый.

— Не пойму, что вам во мне нравится.

— Да я и сама не пойму. — Она подбросила щепок в огонь. — А вот сразу почувствовала, что вы мне нравитесь, в тот день, когда вы пришли, — помните, вы ночевали на улице и вам нечего было есть? Мы еще с мамой приготовили вам постель Торпа...

Филип покраснел снова — он не знал, что этот случай ей известен. Сам он о нем вспомнил с ужасом и глубочайшим стыдом.

— Вот почему никто другой мне не был нужен. Помните того молодого человека — мама думала, что я за него выйду замуж? Я разрешила ему зайти к нам выпить чаю, потому что он так ко мне приставал, но я ведь заранее знала, что откажу ему.

Филип был так поражен, что просто онемел. У него было какое-то странное чувство, он не понимал, какое именно, но, может быть, это и было счастье. Салли снова помешала в горшке.

— Хоть бы дети поскорей пришли. Куда они девались? Ужин совсем готов.

— Сходить мне их поискать? — спросил Филип.

Говорить о повседневных делах было большим облегчением.

— Пожалуй, сходите... Вот и мама идет.

И, когда он поднялся, она спросила без всякого смущения:

— Пойти мне сегодня с вами погулять, когда я уложу детей?

— Да.

— Тогда обождите меня возле мостков, я приду, когда освобожусь.

Он сидел на мостках под звездным небом и ждал ее; по бокам возвышалась живая изгородь с почти уже спелой черной смородиной на кустах. От земли поднимались дурманящие запахи ночи, а воздух был ласков и недвижим. Сердце его бешено билось. Он не мог понять, что с ним происхо-

дит. Страсть в его представлении была связана со стонами, слезами и одержимостью, но ничего подобного у Салли не было; тем не менее что же, кроме страсти, могло заставить ее отдаться ему? Но можно ли питать к нему страсть? Его нисколько не удивило бы, если бы она увлеклась своим двоюродным братом Питером Гэнном — высоким, сухощавым, стройным парнем с загорелым лицом и смелой, уверенной походкой. Филип не понимал, что Салли могла в нем найти. Да он и не знал, любит ли она его так, как умел любить он. Но что же тогда? Он ведь был уверен в ее чистоте. У него было подозрение, что тут сыграло роль многое, чего она, может быть, и не сознавала, — хмельной воздух летней ночи, здоровый, естественный инстинкт женщины, нежность, переполнявшая сердце, привязанность, в которой было что-то материнское или сестринское; она отдала все, что имела, потому что душа ее была щедра и милосердна.

Он услышал шаги на дороге; из тьмы появилась ее фигура.

— Салли! — прошептал он.

Она остановилась, а потом подошла к мосткам и принесла с собой чистые, благоуханные запахи природы. Казалось, что от нее исходит аромат только что скошенного сена, душистого зрелого хмеля, свежесть молодой травы. Губы ее были такими мягкими, когда они прикоснулись к его губам, а сильное, красивое тело — упругим под его ладонями.

— Мед и молоко, — прошептал он. — Ты как мед и молоко.

Он закрыл ей своими губами глаза и целовал ее веки — сначала одно, а потом другое. Ее сильная, мускулистая рука была обнажена до локтя; он провел по ней пальцами, поражаясь ее красоте — она словно светилась; кожа была такая, какую любил писать Рубенс, — поразительно белая, прозрачная, а сверху золотистый пушок. Это была рука саксонской богини, но у небожителей не бывает такой чарующей и такой земной естественности; Филипу она напомнила деревенский сад, где растут милые каждому сердцу цветы: мальвы, белые и красные розы, чернушки и турецкие гвоздики, жимолость, дельфиниумы и камнеломка.

— Как ты можешь меня любить? — спросил он. — Жалкого калеку, ничтожного уroda...

Она взяла его лицо руками и поцеловала в губы.

— Ты ужасно глупый, вот ты кто, — сказала она.

ГЛАВА 121

Когда сбор хмеля кончился, Филип вместе со всеми Ательни вернулся в Лондон; в кармане у него лежало извещение о том, что он принят ординатором терапевтического отделения в больницу Святого Луки. Он снял скромную квартиру в Вестминстере и в начале октября приступил к своим обязанностям. Работа была интересная и разнообразная, он каждый день узнавал что-то новое и чувствовал, что понемногу начинает приносить пользу; к тому же он часто виделся с Салли. Такая жизнь ему казалась необычайно приятной. К шести часам он уже был совершенно свободен — кроме тех дней, когда вел амбулаторный прием, — и отправлялся в мастерскую, где училась Салли, чтобы встретить ее после работы. Против «служебного входа» или чуть подальше, на углу, всегда дежурило несколько молодых людей, и девушки, выходявшие из мастерской попарно или маленькими группами, подталкивали друг друга локтями и хихикали, узнавая своих ухажеров. Салли в гладком черном платье была совсем не похожа на ту деревенскую девочку, которая собирала с ним хмель. Она быстро выходила из мастерской, но замедляла шаг, как только он ее нагонял, и улыбалась ему своей спокойной улыбкой. Они шли рядом по людной улице. Он рассказывал ей о своей работе в больнице, а она — о том, что делали сегодня в мастерской. Филип знал по именам девушек, с которыми она работала. Оказалось, что Салли обладает острым, хотя и сдержанным, чувством юмора: ее замечания по поводу товаров или их молодых людей были полны неожиданного комизма. У нее была способность подметить характерную деталь и рассказать о ней с самым серьезным видом, словно тут не было ничего смешного, но с такой убийственной точностью, что Филип покатывался со смеху. Тогда она поглядывала на него краешком глаза, который лучился от смеха — видно, она понимала комизм того, что рассказывает. Здоровались они за руку и прощались так же официально. Однажды Филип предложил ей зайти к нему выпить чаю, но она отказалась.

— Нет, не хочу. Это будет странно выглядеть.

Они никогда не заговаривали о любви. Ей, по-видимому, вполне хватало его общества во время этих прогулок. Однако Филип был убежден, что она рада с ним бывать. Она оставалась для него такой же загадкой, как и в начале их отношений. Ее поведение было ему непонятно, но, чем больше он

ее знал, тем больше к ней привязывался: она была расторопна и сдержанна, в ней было какое-то удивительное прямодушие; чувствовалось, что можно на нее положиться во всем.

— Ты необыкновенно хороший человек, — сказал он как-то ей ни с того ни с сего.

— Да небось ничуть не лучше других, — ответила она.

Филипп знал, что не любит ее. Он чувствовал к ней огромную симпатию; ему с ней было хорошо — удивительно, до чего ему с ней было покойно, — к тому же, как ни смешно это звучит, он питал уважение к этой девятнадцатилетней швейке. И его восхищало ее завидное здоровье. Она была великолепным образцом человеческой породы, без всякого изъяна, а физическое совершенство всегда вызывало у него благоговение. Он чувствовал себя недостойным ее.

Но вот однажды, недели через три после их возвращения в Лондон, они шли рядом, и он заметил, что она как-то особенно молчалива. На ее всегда таком ясном лбу пролегла тонкая черточка; казалось, она вот-вот нахмурится.

— Что случилось? — спросил он ее.

Она смотрела не на него, а прямо перед собой; щеки ее густо зарумянились.

— Не знаю.

Он мгновенно понял, что она хотела сказать. Сердце его вздрогнуло, и он почувствовал, что от лица отхлынула кровь.

— Ты думаешь? Ты боишься, что ты...

Он осекся. Слова застряли у него в горле. Такая возможность никогда не приходила ему в голову. Тут он увидел, что губы ее задрожали и она изо всех сил старается не заплакать.

— Я еще не уверена. Может, все и обойдется.

Они молча дошли до угла Чансери-лейн, где он всегда с ней прощался. Она протянула ему руку и улыбнулась.

— Рано еще беспокоиться. Будем надеяться, что все обойдется.

Он расстался с ней в полном смятении; в голове его беспорядочно теснились мысли. Ну и дурак! Безмозглый непроходимый дурак! Он злобно ругал себя, твердя одно и то же десятки раз. Как он себя презирал! Нужно же было попасть в такую петлю! Мысли его безудержно неслись, обгоняя друг друга, путаясь, словно части головоломки, в каком-то ужасном кошмаре, и он с отчаянием спрашивал себя, что же он будет делать. Будущее, казалось, было так ясно; все, о чем он долго мечтал, стало наконец осуществимым, а вот теперь его невообразимая глупость воздвигла

это новое препятствие. Филипу никогда не удавалось побороть в себе то, что, как он знал, мешало ему спокойно существовать, — своей страсти жить завтрашним днем; едва только успел он устроиться на работу в больнице, как все его помыслы уже были обращены на будущие странствия. Раньше он часто принуждал себя не думать о будущем — ведь от этих мыслей он только впадал в отчаяние; но теперь, когда цель была так близка, он не видел вреда в том, чтобы уступить непреодолимому влечению. Прежде всего он поедет в Испанию. Это была страна его мечты; он проникся ее духом, ее романтикой и величием ее истории; он чувствовал, что в ней он отыщет то, чего ему не может дать никакая другая страна. Он знал ее прекрасные старинные города так, словно с детства бродил по их кривым улочкам, — Кордову, Севилью, Толедо, Леон, Таррагону, Бургос. Самыми близкими ему художниками были великие испанские мастера; у него замирала душа, когда он представлял себе свой восторг перед теми творениями, которые столько говорили его наболевшему, беспокойному сердцу. Он прочел ее великих поэтов, куда лучше выразивших душу своего народа, чем поэты других стран, ибо вдохновение свое они черпали не из источников, общих для всей мировой литературы: их вдохновляли выжженные, напоенные горьким запахом равнины и суровые скалы родной земли. Еще несколько месяцев, и он услышит язык, который лучше всего выражает величие души и страсти. Природный вкус подсказывал ему, что Андалузия, быть может, слишком податлива, чувственна и даже вульгарна, чтобы утолить его пыл; Филиппа больше влекли открытые ветрам просторы Кастилии и каменистые громады Арагона и Леона. Он сам еще толком не знал, что он там встретит, но чувствовал: в Испании он обретет силу, которая поможет ему легче воспринять все чудеса еще более далеких и чуждых ему стран.

Ведь это будет только начало. Он связался с различными пароходными компаниями, которые нанимали на свои суда врачей; он знал пути этих судов, выяснил у плававших на них людей все преимущества и недостатки каждой линии. Он заранее отказался от службы на судах компании «Ориент» и «П. и О.», зная, как трудно получить на них место; к тому же на этих пассажирских линиях и у судового врача мало оставалось досуга; но были и другие компании — их большие торговые суда неторопливо плыли на Восток, заходя в самые различные порты и простаивая там от одного

дня до двух недель, — вам хватало времени, чтобы все осмотреть, а часто удавалось даже съездить в глубь страны. Жалование было маленькое и питание разве что сносное — вот почему на эти должности находилось немного желающих; врач с лондонским дипломом мог наверняка рассчитывать, что его возьмут. И, так как на этих судах не бывало пассажиров, кроме какого-нибудь случайного попутчика, плывшего по своим делам из одного Богом забытого места в другое, жизнь на борту шла мирно и привольно. Филип повторял наизусть список портов, куда они заходили, и перед ним вставали видения, озаренные тропическим солнцем, сверкающие волшебными красками и полные кипучей, таинственной, напряженной жизни. Жизнь — вот чего он жаждал! Наконец-то он столкнется с жизнью лицом к лицу. И, быть может, в Токио или Шанхае он поступит на другое судно и попадет на южные острова Тихого океана.

Врачи нужны повсюду. А вдруг ему удастся пройти в глубь лесов Бирмы, побывать в густых джунглях Суматры или Борнео? Он ведь еще молод, и времени у него сколько угодно. К Англии его ничто не привязывает, у него нет друзей; он может годами бродить по миру, познавая красоту, чудеса и щедрость жизни.

И вот — новая напасть. Он не верил, что Салли ошиблась; у него было какое-то странное убеждение, что она права; в конце концов тут не было ничего удивительного, слепому видно, что природа создала ее для материнства. Он знал, что ему делать. Он не может позволить глупой случайности сбить его хоть на шаг с избранного пути. Он вспомнил Гриффитса; легко себе представить, с каким безразличием этот молодой человек принял бы подобную весть: он сказал бы: «Какая досада!» — и тут же, как человек разумный, сбежал; он предоставил бы девушке самой выпутываться из неприятностей. Филип утешил себя, что, раз беда случилась, значит, ее нельзя было избежать. Он виноват не больше, чем Салли: она взрослая девушка и знала, что ей грозит, понимала, чем рискует. Нельзя позволить какой-то случайности разрушить все его жизненные планы. Он один из тех, кому дано остро ощущать скоротечность бытия; как же ему не пользоваться каждым мгновением! Он сделает для Салли все, что возможно; он сейчас в силах дать ей приличную сумму. Волевой человек ни за что не позволит, чтобы ему помешали достигнуть цели.

Филип убеждал себя, понимая, что не сможет так поступить. Ни за что. Он себя знал.

— Нет у меня воли, — бормотал он с отчаянием.

Она доверилась ему и была к нему так добра. Разве он мог совершить поступок, который, как бы он его ни оправдывал, все равно был подлым! Мысль о том, что Салли несчастна, не даст ему во время путешествия ни минуты покоя. А ее отец и мать! Они всегда относились к нему душевно, нельзя же платить им черной неблагодарностью! Единственное, что ему оставалось, — это как можно скорее жениться на Салли. Он напишет доктору Сауту, сообщит, что женится, и, если тот еще не раздумал, примет его предложение. Лечить бедноту — самое подходящее для него дело; там не будут обращать внимания на его хромоту и насмехаться над тем, что у него такая простенькая жена. Странно было думать о Салли как о жене — у него сразу просыпалось какое-то непривычное чувство нежности; к сердцу прилиwała горячая волна, когда он вспоминал о том, что у него скоро родится ребенок. Он не сомневался, что доктор Саут обрадуется его приезду, и представлял себе, как они с Салли заживут в рыбацкой деревушке. У них будет маленький домик у самого моря; сев у окна, он сможет смотреть на проходящие корабли — они поплывут в те страны, куда ему уже никогда не попасть. А вдруг в этом-то и есть высшая мудрость? Кроншоу говорил, что счастлив тот, кто силой воображения подчиняет своей власти державных близнецов — пространство и время. И он прав. «Навек твоя любовь, навек ее краса».

Свадебным подарком жене будут все его возвышенные мечты. Да, он принесет себя в жертву. Филип был упоен красотой своего подвига и думал о нем весь вечер. Он так разволновался, что не смог читать. Его потянуло из дома на улицу, и он зашагал по Бэрдкейдж-уок; на сердце у него было радостно, он был вне себя от нетерпения. Ему хотелось поскорее увидеть, какое счастливое лицо будет у Салли, когда она услышит предложение; если бы не было так поздно, он побежал бы к ней не мешкая. Он рисовал себе долгие вечера, которые они будут просиживать с ней в уютной гостиной — шторы они не опустят, чтобы можно было видеть море, — он с книгой, она с шитьем в руках; тень от абажура сделает ее милое лицо еще красивее. Они вместе будут растить своего ребенка, а когда ее глаза встретятся с его глазами, он увидит в них сияние любви. Рыбаки с их женами, которых он будет лечить, очень к ним привяжутся, а они с Салли в свою очередь разделят с этими простыми

людьми их радости и горести. Но мысли его все время возвращались к сыну — его ребенку и ее. Он уже чувствовал к этому ребенку страстную привязанность. Мысленно он глядел его стройные ножки; он знал, что ребенок будет красивым; он передаст ему по наследству все свои мечты о богатой, бурной жизни. И, вспоминая долгий искуc своей юности, он принимал его без сожаления. Он принимал свое уродство, которое так калечило его жизнь; он знал, что оно ожесточило его душу, но именно благодаря ему он приобрел благотворную способность к самопознанию. Без нее он не мог бы так остро ощущать красоту, страстно любить искусство и литературу, взволнованно следить за сложной драмой жизни. Издевки и презрение, которым он подвергался, заставили его углубиться в себя и вырастили цветы — теперь уже они никогда не утратят своего аромата. Он понял, что гармония, совершенство — редчайшее явление на свете. У каждого — свой недостаток, телесный или духовный; он перебрал в памяти всех, кого знал (весь мир — это больница, тщетно искать в нем гармонии): перед его мысленным взором прошла вереница изуродованных тел, искалеченных душ, больных физически — сердцем или легкими, больных психически — с атрофией воли, со страстью к алкоголю. Его охватило глубочайшее сострадание к ним всем. Они ведь были беспомощными орудиями слепого случая. Он прощал Гриффитсу его предательство и Милдред — муки, которые она ему причинила. Что они могли с собой поделать? Мудрость в том, чтобы брать от людей хорошее и быть терпимым к дурному. В памяти его возникли слова умирающего Бога: «Прости им, ибо не ведают, что творят».

ГЛАВА 122

Филип договорился с Салли встретиться в субботу в Национальной галерее. Она должна была прийти сразу же, как освободится в мастерской, и пообедать с ним. Филип не видел ее уже два дня, но состояние душевного подъема не оставляло его ни на минуту. Его так радовало это чувство, что он и не пытался увидеть Салли пораньше. Он сотни раз твердил себе, что он ей скажет и как он ей это скажет. Теперь его нетерпение достигло апогея. Он написал доктору Сауту, и в кармане у него лежала полученная утром телеграмма: «Выгоняю инфантильного идиота. Когда приедете?» Филип шел по Парламент-стрит.

День был ясный; морозное, яркое солнце бросало пляшущие блики на тротуар. Улица кишела людьми. Вдали висела нежная дымка, смягчавшая величественные контуры зданий. Филип пересек Трафальгар-сквер. Вдруг его словно что-то ударило: впереди шла женщина, которую он принял за Милдред. У нее была такая же фигура, и она так же чуть-чуть волочила ноги. Не рассуждая, задыхаясь, он кинулся ее догонять, пошел рядом, а когда женщина повернулась, увидел, что это не она. У этой лицо было куда старше, с морщинистой желтой кожей. Филип замедлил шаги. У него отлегло от сердца, но он тут же поймал себя на том, что почувствовал разочарование, и ужаснулся. Неужели он так и не избавится от своей страсти? Несмотря ни на что, где-то в глубине души навсегда притаилась непонятная, проклятая тяга к этой подлой женщине. Любовь к ней причинила ему столько страданий, что он уже никогда не избавится от этой любви. Только смерть наконец утолит его желание.

Но он сразу же взял себя в руки. Он вспомнил о Салли, о ее милых синих глазах, и его губы сами собой заулыбались. Он поднялся по ступеням Национальной галереи и сел в первом зале, чтобы увидеть ее, как только она войдет. У него всегда становилось покойно на душе, когда его окружали картины. Даже не разглядывая их в отдельности, он словно окунался во все это великолепие красок и линий. Но мысли его были поглощены Салли. Как приятно будет увезти ее из Лондона, где ей совсем не место, словно васильку в цветочном магазине среди орхидей и азалий; он понял это в Кенте, на хмельнике, и был уверен, что она расцветет под ласковым небом Дорсета. Но вот она вошла, и он встал ей навстречу. На ней было черное платье с белыми манжетами и круглым батистовым воротничком. Он поздоровался с ней за руку.

— Давно меня ждешь?

— Нет. Минут десять. Ты голодна?

— Не очень.

— Тогда давай немножко посидим, хорошо?

— Как хочешь.

Они сели рядышком и помолчали. Филипу было хорошо возле нее. Его согревала ее сияющая юность. Она словно излучала жизненную силу.

— Ну как твои дела? — спросил он наконец, чуть-чуть улыбаясь.

— О, все в порядке. Это была ложная тревога.

— Правда?

— Ты рад?

Филипом вдруг овладело странное чувство. Он был уверен, что опасения Салли не напрасны, ему даже и в голову не приходило, что тут может быть ошибка. Все его планы сразу рухнули, и будущая жизнь, которую он так ясно себе представлял, оказалась всего лишь несбыточным сном. Он опять был свободен. Свободен! Ему не нужно отказываться от своих планов, и он снова может распоряжаться своей жизнью, как ему заблагорассудится. Но он почему-то чувствовал не радость, а уныние. У него защемило сердце. Будущее мерещилось ему бесцельным и одиноким, словно он много лет носился по бурным морям, терпя опасности и лишения, и вот наконец вдали показалась тихая гавань, но стоило ему к ней подойти, как поднялся встречный ветер и снова погнал его в безбрежное море. И, так как все его помыслы были уже полны жизнью на суше, среди бархатных лугов и тенистых рощ, пустынные воды океана вызвали в нем только отчаяние. Салли поглядела на него своими ясными глазами.

— Неужели ты не рад? — повторила она. — А я думала, что ты ног под собой не будешь чують от радости.

Лицо его вытянулось; он поглядел на нее жалобно.

— Как ни странно, нет, — пробормотал он.

— Смешной! Почти все мужчины бывают рады.

И тут он понял, что обманывал себя: брак для него не был самопожертвованием, мысль о нем внушила тоска по дому, по жене, по любви, а теперь, когда все это ускользало от него, ему стало очень горько. Ему хотелось этого больше, чем чего бы то ни было на свете. Что ему Испания и все ее города — Кордова, Толедо, Леон; что ему пагоды Бирмы и лагуны южных морей? Обетованная земля была здесь, с ним рядом. Он вдруг подумал, что всю жизнь гонялся за тем, что внушали ему другие — устно и в книгах, — не понимая, чего жаждет его собственная душа. Всю жизнь он пытался поступать так, как велел ему рассудок, а не так, как требовало сердце. И вот теперь он с радостью отмахнулся бы от всех своих выдуманных идеалов. Он вечно жил будущим, завтрашним днем, а настоящее, сегодняшнее всегда уходило у него из-под рук. А чего стоят эти идеалы? Он подумал о своей мечте свести в стройный и прекрасный узор бессчетные и бессмысленные явления жизни; как же он не заметил, что самый простой узор человеческой жизни — человек рождается, трудится, женится, рождает детей и умирает —

и есть самый совершенный? Отказаться от всего ради личного счастья — может быть, и означает поражение, но это поражение лучше всяких побед.

Он быстро взглянул на Салли, спрашивая себя, о чем она сейчас думает, и сразу же отвел глаза.

— Я хотел попросить тебя выйти за меня замуж.

— Я так и думала, что ты меня об этом попросишь, но боялась встать у тебя поперек дороги.

— Как ты можешь встать у меня поперек дороги?

— А твои путешествия в Испанию и в разные другие страны?

— Откуда ты об этом знаешь?

— Как же мне не знать? Разве я глухая и не слышу, о чем вы кричите с папой до хрипоты?

— Ну их к черту, эти путешествия! Ничего мне не нужно. — Он замолчал, а потом буркнул: — Я не могу без тебя жить! Я не хочу с тобой расставаться.

Она ничего не ответила. Трудно было понять, что она сейчас думает.

— Ну, скажи, ты выйдешь за меня замуж?

Она не шевельнулась, и на лице ее не отразилось ни тени волнения; но глаза ее были опущены.

— Если хочешь.

— А ты-то хочешь?

— Ну, конечно, мне пора иметь свой дом, свою семью.

Он сдержал улыбку. Теперь он ее уже знал, и ответ насколько его не удивил.

— Но выйти замуж ты хочешь за меня?

— А я не выйду ни за кого другого.

— Ну, тогда все в порядке.

— Мама и папа даже не поверят, правда?

— Я ужасно счастлив.

— А я очень проголодалась.

— Милая...

Он улыбнулся, взял ее руку и сжал в своей. Они встали и вышли из галереи. Остановившись у балюстрады, они поглядели на Трафальгар-сквер. По площади сновали экипажи и omnibusы, спешили толпы людей. Светило солнце.

СОДЕРЖАНИЕ

Бремя страстей человеческих. Главы 60—122.

Перевод Е. Голышевой, Б. Изакова. 5

СОМЕРСЕТ МОЭМ

*Собрание сочинений
в 9 томах*

Том 2

Редактор *А. Шустов*

Художественный редактор *И. Марев*

Технический редактор *Т. Фатюхина*

ЛР № 071673 от 01.06.98 г. Изд. № 0599222.

Подписано в печать 06.05.99 г.

Гарнитура Таймс. Формат 84×108¹/₃₂.

Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48.

Уч.-изд. л. 20,67. Заказ № 553.

ТЕРРА—Книжный клуб.

113093, Москва, ул. Щипок, 2, а/я 27.

Оригинал-макет подготовлен ООО «Галатея».

Отпечатано в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».

150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

**Книжный клуб
Холдинговой компании «Терра»
выпускает в свет:**

Лот № 2602

Рафаэль Сабатини

Собрание сочинений в десяти томах

Рафаэль Сабатини — пользующийся мировой славой мастер исторического жанра. В Собрание сочинений войдут его знаменитые романы и хроники, поставившие писателя в один ряд с такими классиками, как А. Дюма, В. Скотт, Р. Стивенсон. В изображении Р. Сабатини история предстает не набором омертвевших фактов, а одной гигантской невыдуманной драмой, одним масштабным и цельным художественным полотном.

*Книги можно заказать по адресу:
150000, Ярославль, ул. Павлика Морозова,
д. 5, Почтамт, а/я 2.*

**В открытке не забудьте указать название книги,
количество экземпляров и ваш адрес
(обязательно с почтовым индексом).**

*Книги издательств и книжного клуба
Холдинговой компании «ТЕРРА»
вы можете купить в магазинах:*

113399, Москва, ул. Мартеновская, 9/13,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 1.
Тел. 304-57-98, 304-61-13

113216, Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 2, к. 1
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 2.
Тел. 712-34-54

123022, Москва, ул. Красная Пресня, 29,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 3.
Тел. 252-03-50

129110, Москва, пр. Мира, 79, стр. 1,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 4.
Тел. 281-81-01

113093, Москва, ул. Щипок, 2,
«ТЕРРА»—книжный клуб» № 5.
Тел. 737-04-78

или заказать по адресу:

150000, Ярославль, ул. Павлика Морозова,
д. 5, Почтамт, а/я 2

